Smert' Lande.

M. P. Artsybashev

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3453
.A8
S7

138

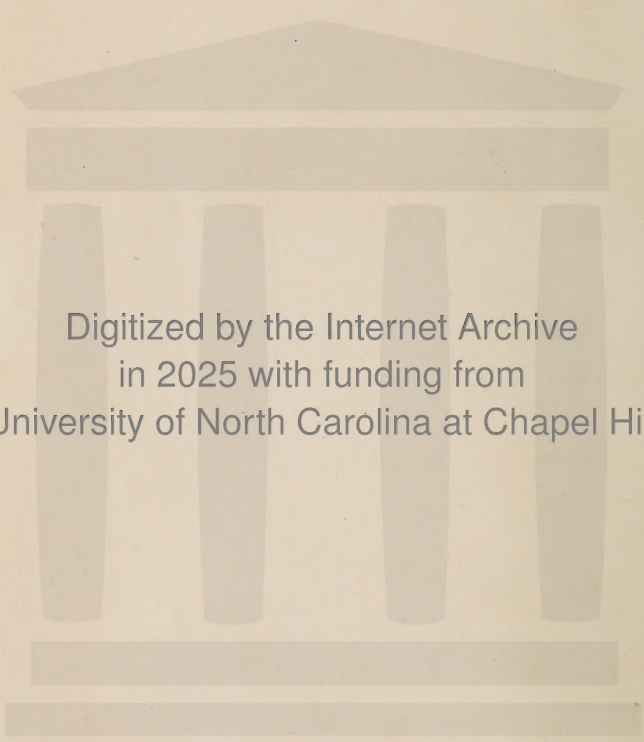
UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL

10000386333

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
JAN 1 7 1994			
	JAN 0 9 '94		

Form No. 513,
Rev. 1/84


Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/smertlande00arts

А — 88

М. АРЦЫБАШЕВ

PG3453
nc .A8
S7

СМЕРТЬ ЛАНДЕ

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА"
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

PRINTED in U.S.S.R.

Обложка художников Л. Воронова и М. Евстафьева.
Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий", Москва,
Пименовская улица, дом № 16,
в колич. 5000 экз., 20 л.
Главлит № А—13087
MCMXXVIII

М. Арцыбашев стяжал себе исключительную известность романом „Санин“, в котором возводилась на пьедестал животная сила и цинически обнажались физиологические стороны жизни. В упадочнической литературе после революции пятого года М. Арцыбашев выделялся сочетанием самого беспросветного пессимизма с разнузданностью воображения. Не удивительно, что он пользовался шумным успехом среди интеллигенции, запуганной революцией и перед лицом царской реакции поспешно сжигавшей свои прежние идеалы. М. Арцыбашев умер в белой эмиграции озлобленным врагом пролетарской революции. Случайны ли эти этапы его жизненного пути? Вяжутся ли с этим его ранние рассказы, в которых он ярко протестует против насилия, в которых звучат бунтарские нотки?

Ведь М. Арцыбашев начал с толстовской проповеди в повести „Смерть Ланде“, где официальная церковь, весь общественный порядок, державшийся на грубой силе, вся мораль буржуазного общества отвергались с точки зрения высших запросов духа, с точки зрения личного самосовершенствования. Ведь тот же М. Арцыбашев в рассказе „Кровавое пятно“ дал выразительнейшую картину кровавого произвола царизма. Его рассказы—„Паша Туманов“, „Рабочий Шевырев“ и „Из подвала“—варьируют одну и ту же тему: угнетение личности существующим порядком вещей. Казалось бы, отсюда один шаг до революционного мировоззрения. Но беда М. Арцыбашева в том, что он не мог порвать с индивидуалистическими, ставящими во главу угла отдельную личность, взглядами на жизнь. Исторический процесс, как выражение борьбы классов, участвуя в которой, человек может способствовать переустройству общества, выпадал из поля зрения писателя. Он не видел, что только этим путем могут быть созданы предпосылки для нового человека, освобожденного от уродливых черт, навязанных ему существующим общественным

строем. Поэтому сочувствие его неизбежно обращалось к личности, ищущей самоутверждения, будь то толстовец Ланде, мученически воспринимающий нелепую смерть, анархист Шевырев, исключенный гимназист Туманов или самец Санин. Взгляды М. Арцыбашева переживали значительную эволюцию, вполне закономерную. Вначале в грубой силе М. Арцыбашев видит источник надругательства над личностью, звериное начало жизни, которое следует преодолевать. Но уже в „Смерти Ланде" писатель колеблется между кротким, нелепым в своем беспочвенном идеализме Ланде и воплощением грубой физической силы, Молочаевым. Сцена столкновения Ланде и любимой им девушки с грабителями, где грубое вмешательство Молочаева оказывается действительнее всей кротости Ланде, содержит в себе уже некоторую долю насмешки над толстовским мировоззрением. Ланде погибает, не оплодотворив никого и ничего своими идеями. Когда к носителю христианского учения, к попику Павлу, он обращается с просьбой помочь умирающему человеку, чтобы не дать ему умереть в злобе и отчаянии, то попик разговаривает с ним ехидно и зло. Тот же грабитель, которого избил Молочаев, чувствует большее уважение к сильному врагу, чем к незлобивому толстовцу. Ланде сам не сознает своего тупика. Он умирает в глубочайшем убеждении, что был прав. Но на фоне суетливой, полной мирской злобы жизни эта фигура интеллигентского Дон-Кихота встает несуразной и неубедительной. После того, как М. Арцыбашев смог изобразить лишь безнадежный крах своих толстовских идеалов, он неизбежно должен был заняться переоценкой ценностей. Молочаев, принявший облик Санина, перевесил беспомощного Ланде.

Нечего говорить, что прославление Саниных, живущих для себя и во имя себя, не оставляло никаких путей для принятия пролетарской революции. Стихия индивидуализма не может примириться со всеми сторонами капиталистического общества, но, в конечном счете, только это общество, с его анархией производства, с подкармливанием богемы от щедрот капиталистов-меценатов, мыслимо для одиночки-художника, заботящегося о самоутверждении личности. Поверхностный анархизм во многих случаях прикрывает лишь нежелание вести борьбу за новый социалистический порядок. М. Арцыбашев, пережив пору такого поверхностного анархизма, легко сбросил его с себя, как изношенную рубашку, когда было поставлено на карту само существование капиталистического общества.

М. Арцыбашев и в своей художественной манере целиком отражал индивидуалистическое миросозерцание. На первом плане у него

неясные, смутные, еле подмечаемые движения души отдельного человека. Окружающий мир интересует его лишь постольку, поскольку он помогает ярче выявить эти индивидуальные переживания. Его герои всегда кажутся как бы изолированными от всего остального человечества. Правда, они сталкиваются со множеством лиц, выдерживают давление их взглядов, но внутренняя жизнь их проходит как-то стороной, обособленно, повинуясь своим собственным законам. Это приводит и к другому обстоятельству. Герои М. Арцыбашева всегда находятся в душевном смятении. Они всегда не в ладу с окружающим. В их глазах мир не может быть радостным, светлым. Даже у умиротворенного Ланде нет бодрости, крепости духа, которая дается прочным сознанием своего места в жизни и жизненной борьбе. Ведь Ланде натура не волевая, а пассивная, и его подвиг, при всей своей необычности, идет по линии наименьшего сопротивления. Но раз внутренний мир его героев омрачен, а он составляет главный объект художественного творчества Арцыбашева, то естественно, что и самую жизнь стремится изобразить писатель мрачными, темными, а подчас и грязными красками. Арцыбашев любит повествовать о смерти, об убийствах, изнасилованиях, драках. Он замечает зорче всего то, что грязно, неприятно, отвратительно. Поэтому в „Смерти Ланде" он пишет о том, что, когда мужики нашли труп Ланде, „сразу пахнуло таким ужасным, омерзительным запахом, что мужиков шатнуло". Этот штришок как-то сразу развенчивает мученическую смерть Ланде: один омерзительный запах напоминал о существовании прежнего идеалиста! Арцыбашев, таким образом, впадает иногда в ту разновидность натурализма, которая любит сводить все к физиологии и копаться в физиологических изощрениях.

Буржуазная литература имеет идеальные, светлые прорывы к революционному, хотя бы и со многими оговорками, мироощущению. Арцыбашев не принадлежит к подобным исключениям. Он — детище своего времени и своего класса, непонятный и необъяснимый вне буржуазного общества и буржуазной культуры. Но Арцыбашев также один из крупнейших художников нашей дооктябрьской литературы.

Что это означает?

Это означает, что он в наиболее сгущенной и яркой форме показал настроения буржуазной интеллигенции, выразил ряд проблем, которые в период упадочничества волновали и мучили эту интеллигенцию. В этой области — основная ценность творчества М. Арцыбашева.

Но была в его творчестве и побочная струя. Мы уже говорили, что индивидуализм не принимает безоговорочно существующего

порядка вещей. Наоборот, он смотрит на него сквозь черные очки Художник-индивидуалист терпит крах, главным образом, тогда, когда он ищет выражения своим положительным идеалам. В критике же буржуазного общества у него всегда много правды. Такие рассказы Арцыбашева, как „Кровавое пятно“ (изображающий зверское подавление забастовки), „Ужас“ (дающий картину неизмеримого морального падения отдельных слоев так называемой интеллигенции), „Куприян“ (рисующий без прикрас дореволюционную деревню с жуткими нравами, косностью, нищетой и „идиотизмом“ деревенской жизни), — сильны именно заложенными в них элементами критики. Наконец, обратимся к повести „Смерть Ланде“. Автор, как мы знаем, относился с живейшей симпатией к главному персонажу этой повести. Но он не мог отступиться от жизненной правды и показал не торжество, а крах толстовского идеализма. К чему это привело? К тому, что „Смерть Ланде“ из аргумента за толстовство превращается в обвинительный акт против всякого непротивленчества.

Таким образом, многие произведения интересны и сегодня—не только как образцы литературного творчества определенной эпохи, но и как правдивые раскрытия прошлого русской жизни. Индивидуалистическое мировоззрение автора вогнало их в узкие и подчас уродливые рамки, но яркий изобразительный талант Арцыбашева придает достаточную отчетливость тем образам, какие он мог передать на страницах своих произведений...

СМЕРТЬ ЛАНДЕ

I

Зимой городок затихал. Все, что было в нем молодого, беспокойного, разъезжалось по большим городам. Оставались одни старики духом и телом, жили по непоколебимому, однообразному порядку: играли в карты, служили, читали и думали, что это правильная жизнь. На улицах тихо лежал неподвижный холодный саван белого снега, а в домах тихо и сонно копошились конченные люди. А весной, когда черная, влажная земля начинала пахнуть и везде зеленело, и солнце радостно грело, высушивая каждый бугорок, и по вечерам было тихо и чутко,—каждый день с поездом кто-нибудь приезжал домой, и на улицах показывались оживленные, свежие лица, такие же молодые и радостные, как весна. И так же естественно, как прилетали на старые гнезда птицы, как росла на старых местах трава, было то, что именно весною все молодые, жизнерадостные люди возвращались в свой маленький, тихий, немного грустный городок.

Так, в мае приехал сын недавно умершего председателя уездной земской управы, студент-математик, Иван Ланде.

Целый день он просидел с матерью, все время с тусклыми, усталыми глазами рассказывавшей ему о

смерти отца, а когда стало смеркаться, взял фуражку и пошел на бульвар, над берегом большой реки, еще полной от весенней воды. Там в одном месте берег падал вниз крутым обрывом, и над ним были две лавочки из старых, зеленых и мягких от сырости досок.

За рекой стемнело. Даль ушла куда-то в темный простор. На потемневшем глубоком небе тихо и незаметно высветились звезды, и все было полно той торжественной тишиной, когда кажется, что кто-то незримый, величавый и спокойный стоит над землей.

Только далеко внизу, на реке, протяжно, с непонятной тревожной грустью, точно предостерегая и напоминая о чем-то печальном и неизбежном, кричал пароход, и на широком речном стекле, странно светлом, когда везде было темно и черно, видна была беспокойная черная точка, быстро оставлявшая за собой ровную, широкую серебряную полосу.

На бульваре было безлюдно и пусто. Только из окон клуба падали на землю желтые полосы света, и в них двигались беззвучные тени, да на самом обрыве смутно чернели фигуры, вспыхивали вздрагивающие огоньки папирос и еще издали слышались голоса и смех. Ланде спокойно и тихо шел туда и улыбался. Он был легкий и тонкий человек, и шагов его почти не было слышно на мягкой земле.

— ...Запоем песню, или закричим так, чтобы на том берегу было слышно!—говорил полный и звонкий женский голос, и слова мягко и радостно вспыхивали в густом, теплом воздухе.

— Начинайте!—задорно отвечал мужской голос, и кто-то смеялся.

Ланде подошел и сказал:

— Здравствуйте!

Он говорил тихо, но внятно и спокойно, и его всегда было слышно.

— А, Ланде!—обрадованно и так резко, что садилось в ушах, закричал маленький, угловатый студент и через головы других протягивал ему большую руку, торчавшую из коротких рукавов тужурки.

Ланде, мягко улыбаясь, с удовольствием крепко и долго пожал ему руку и так же любовно и ласково стал здороваться с другими. Все радостно и оживленно пожимали его холодную руку, и было что-то такое простое, искреннее, хорошее в этой общей радости, что ею заразился даже и никогда еще не видавший Ланде приезжий художник Молочаев, большой и сильный человек в широкой шляпе. Когда Ланде подошел к нему и сказал:

— Я—Ланде, познакомимся...

Художник ответил:

— С большим удовольствием!—и с улыбкою посмотрел ему в лицо, точно заглядывая в душу сквозь его чистые и спокойные глаза.

— Я уж о вас слышал!—прибавил он.

Голос у него был твердый и звучный, как будто он бил в медный колокол.

— Разве?—спросил Ланде, улыбнулся и сейчас же отвернулся. Но в этом не было равнодушия, а какая-то скрытая близость, точно он давно знал его.

— О чем вы тут?—спрашивал Ланде.

— Марья Николаевна хочет на луну прыгнуть!—смеясь, отозвался маленький студент.

— Это хорошо!—улыбнулся Ланде.

Больной студент Семенов хрипло закашлялся.

— А ты все болеешь?—ласково сказал Ланде и обнял его за плечи.

— Все...—грустно ответил Семенов,—попрежнему.

— Ну, ничего!—начал Ланде, и голос его задрожал.

— Нет, брат, мне уж капут!—возразил Семенов, неестественно искривив в улыбку свое, старчески сморщенное от болезни, лицо, и голос его против воли тонко и ярко прорезало острое отчаяние.—Скоро из меня хор-оший лопух вырастет!

Все притихли. Что-то холодное и чужое и страшно близкое всем встало внутри их. Оттого отчетливо был слышен тихий, как слабо натянутая струна, голос Ланде, когда он говорил:

— Полно, голубчик! Нельзя так говорить! Нельзя так говорить о том, чего никто не знает. Все мы умрем когда-нибудь, не я, не ты один, а все, и все вместе узнаем, конец ли, лопух ли, как ты сказал, или иная жизнь. Все! Неужели ты ничего не чувствуешь за этим словом?.. Не может такая сила страдания, любви и мысли не стать над землей, уйти в лопух. И все чувствуют это и верят, и ты веришь, а только не хочешь верить, потому что боишься, как ребенок, нового, непонятного. Ведь мы не знаем смерти, и страшно в ней нам именно то, что мы ее не знаем...

Та торжественная в своей простоте искренность, с которой он говорил свои спутанные, волнующиеся в воздухе слова, действовала на измученный мозг, как неуловимый, мягкий запах, как теплая струя, нежащая душу, успокаивающая, отвлекающая обостренную мысль к чему-то неопределенному и светлому, как далекая заря. Детски-доверчивая надежда робко засветилась в темной глубине дрожащего сердца, и, даже не вдумываясь в его слова, а только чувствуя их, Семенов улыбнулся спокойнее и светлее.

— Блажен, кто верует!—уже легко шутя, сказал он.

Тогда все свободнее вздохнули и снова заговорили, задвигались. Незримый холодный призрак тихо отступил и снял свою страшную, тяжелую руку.

По бульвару, чиркая длинными ногами по шуршащему песку, прошел высокий, черный, как тень, человек.

— Это Фирсов,—сказал Ланде и, напрягая голос, крикнул:—Фирсов!

— Кто такой?—тихо спросил Молочаев.

— Так, казначейский чин...—пренебрежительно и как будто досадуя на Ланде, махнул рукой Шишмарев.

Черная тень медленно остановилась.

— Это, кажется, вы, Иван Ферапонтович?—с неверным оттенком, так, что нельзя было понять, с каким чувством он говорит, спросил скрипучий деревянный голос.

— Я!—отозвался Ланде.

Чиркая ногами и из плоской тени превращаясь в длинного, костлявого человека, Фирсов подошел.

— Здравствуйте, Иван Ферапонтович, здравствуйте!—преувеличенно радостно заговорил он и, точно стараясь шуметь и волноваться как можно больше, лез по ногам сидевших к Ланде.

— Осторожней... вы!..—недружелюбно заметил Семенов.

— Здравствуйте, Фирсов! Как живете?—крепко пожимая ему руку, сказал Ланде.

— Что ж,—потирая руки, сказал Фирсов,—как я могу жить? Служба, служба—вот и вся жизнь! Только и живу духом в церкви, обновляюсь...

В его скрипучем голосе все время свистела тоненькая фальшивая нотка самоумиления, когда он говорил о своей жизни, и казалось, что он хвастается ею перед Ланде.

— Небогатая же у вас жизнь!—с открытой насмешкой сказал Шишмарев.

Медленным, как будто хрустящим движением Фирсов повернулся к нему.

— Вы думаете?—сквозь зубы спросил он и прибавил:—Большего богатства, как общение с богом, не знаю... Вы, конечно, иначе смотрите?

В голосе его тихо вздрогнула скрытая угроза. Шишмарев посмотрел на него презрительно и зло и отвернулся.

— Да...—протянул Фирсов, помолчав.—А я, Иван Ферапонтович, на-днях был в суде присяжным. Интересное дело попалось. Судили, знаете, за кражу со взломом одного мастерового... Он тут у нас на паровой ткацкой служил мастером. Да вы его, кажется, знаете: Ткачев по фамилии...

— Ткачев!—испуганно вскрикнул Ланде.—Да не может быть!

— Да,—с удовольствием сказал Фирсов,—за кражу. Дело-то само по себе пустое, но держал он себя... Можете себе представить: от защитника он отказался, сам говорил... «Я украл,—говорит,—конечно, но, господа присяжные, кто из вас без греха, пусть первый меня осудит!..» Кощунство, в сущности говоря! Но тут только я понял, какая сила в этих словах...

— Тут не в словах дело!—отозвался Семенов. Фирсов вдруг весь как-то взъерошился и надулся.

— Нет, именно в этих словах!.. В словах!

И он спутанно стал доказывать, что именно эти слова, как чудо, как «слово божие», независимо от того человека, который сказал их, применив к своей страшной и горькой жизни, «ударили по сердцам». И в том,

что он говорил, было что-то такое сухое, скучное,— его не стали слушать.

Марья Николаевна протянула руку в широком белом рукаве, точно крыло какой-то большой белой птицы, и громко сказала:

— Луна, луна всходит!

Фирсов круто замолчал и с выражением злой обиды посмотрел на нее.

— Да, конечно... луна важнее!—пробормотал он.

— Все важно,—ласково, успокаивая его, улыбаясь, сказал Ланде.

В глубоком мраке не то очень близко, не то страшно далеко, из-за черного горизонта осторожно выглянул кто-то красный и тихо стал круглиться и расти, и сейчас же в темной воде заблестели искры, и тоненький, дрожащий золотой мостик ровно протянулся от одного берега к другому, точно таинственно и безмолвно предлагая легко перейти на ту сторону, в какой-то лазурно-темный и серебряно-светлый мир.

— Какая красота!—полным, восхищенным голосом сказала Марья Николаевна, и голос ее, сильный и свежий, радостно прозвучал над обрывом.

Ланде поднял на нее глаза и долго, с радостью смотрел в молодое и красивое лицо, глубокими глазами глядевшее вдаль, мимо него.

— Иван Ферапонтович,—скрипучим, унылым голосом проговорил Фирсов и встал,—мы еще увидимся, конечно... А теперь я пойду.

— Конечно, увидимся,—мягко и слабо пожимая ему руку с холодными и влажными пальцами, сказал Ланде.

Фирсов молча попрощался с другими и ушел, чиркая ногами.

— Охота тебе с ним связываться,—холодно пожал плечом Шишмарев, когда он отошел.—Ханжа, скаред... по церквам шляется, а ребенка своего мучает.

— Он...—начал Ланде.

— Э, да оставь, пожалуйста!—с досадой перебил Шишмарев.

Ланде грустно улыбнулся и замолчал.

Луна всплыла над землею и повисла в воздухе, круглая, молчаливая и светлая.

— Вот, напишите что-нибудь такое, Молочаев!—не поворачивая головы, сказала Марья Николаевна.—Так я вас сразу в великие художники произведу!

Молочаев молча смотрел на луну, и глаза у него расширились, стали мягче и глубже, точно он видел что-то, не видимое никому, кроме него, таинственное и великое.

Шишмарев с пренебрежительным вниманием посмотрел на него.

— Напишет!—сказал он и, отвернувшись к Ланде, заговорил торопливо, резко и озабоченно:—Ланде, у нас тут была история на Вершиловской мельнице: Вершилов стал мясо гнилое выдавать, ну, они и того... побили стекла, управляющего помяли... Двадцать два человека взяли!

— А что, они правы, Ланде?—вдруг спросил Семенов с добродушной иронией.

— Да...—твердо ответил Ланде.

— Гм...—издал Семенов неопределенный звук и нахмурился.

— Семейства их в ужасном положении... Скверная история!—встряхнул головой Шишмарев.—Мы тут кое-что устроили для них,—да что!..

Все замолчали. Ланде смотрел в землю и слабо шевелил тонкими пальцами.

Семенов тихо кашлянул, и звук отчетливо отдался над обрывом. Луна незаметно, точно крадучись, поднималась все выше и выше над чем-то черным и непонятным, и чем выше она поднималась, тем понятнее и светлее становилось это черное, и скоро стали ясно, но призрачно видны противоположный берег и белые полосы тумана в лугах. От реки тихо вставал тот же белый, холодный туман, и над темной, глубокой водой заходили бледные и молчаливые призраки.

Стало сыро и холодно. Семенов застегнул пальто, глубоко надвинул на голову фуражку, так что уши жалко оттопырились, точно у летучей мыши, и встал.

— Я домой...—сказал он.—Холодно... А ты, Соня, пойдешь?

— Нет,—задумчиво ответила тоненькая, как былинка, девочка, все время неподвижно сидевшая над самым обрывом.

— Ну, как хочешь...—мутным голосом, равнодушно сказал Семенов.—Холодно. Приходи ко мне, Ланде!

— Хорошо,—ответил Ланде.

— До свиданья!

— Что?—машинально отозвался Молочаев.

— Задумался, художник! До свиданья!

Семенов болезненно сгорбил спину и медленно пошел вдоль бульвара.

—...Слушай, Леня...—тихо заговорил Ланде, и было видно, что думал он все время об этом.—Надо помочь тем...

— Да что можно было—сделали. Средств нет никаких!

Ланде встал.

— Где же никаких?..—сказал он задумчиво.—Ты приходи ко мне завтра... А теперь я пойду. Меня мама ждет.

Скоро стало совсем холодно. И земля, и небо, и вода, и лица людей—все голубело от холодного света луны и казалось прозрачным и холодным, как голубой лед. Шишмарев с Соней пошли в одну сторону, а Ланде, Молочаев и Марья Николаевна—в другую.

II

— Я с вас этюд напишу!—сказал Молочаев, близко наклоняясь к самому лицу Марьи Николаевны, ярко освещенному луной.

— Хоть два!—засмеялась она, и глаза у нее вспыхнули веселым, гордым удовольствием:

Ланде поднял голову, посмотрел на них и сказал:

— Это хорошо...

Ему хотелось сказать: «Это хорошо, что вы оба такие молодые, красивые и что вы влюблены друг в друга!»—но он не сказал и только улыбнулся.

— Что же вы думаете устроить для рабочих?—вспомнив и делая серьезное лицо, спросила Марья Николаевна.

Ланде слегка развел руками.

— Особенного ничего... а так, на первое время... у меня деньги есть.

Молочаев посмотрел на него, и от его освещенного луной, худого, некрасивого, с большими прекрасными глазами лица на художника повеяло простой и несокрушимой решимостью. Чувство неприятной, неопределенной зависти шевельнулось в Молочаеве, точно поежился под лучом света в глубине души его какой-то притаившийся мутный дух.

— Отдадите?—недоверчиво кривя губы, спросил он.

— Да,—ответил Ланде.

— Все?—с выражением нехорошей шутки опять спросил Молочаев.

— Не знаю, право, голубчик...—добродушно и раздумчиво, точно советуясь с ним, ответил Ланде.— Может, и все... как нужно будет.

— А у вас-то их много ли?—с деланной иронией сказал Молочаев.

«Оригинальничает тоже!»—подумал он и, чувствуя, что из зависти к чему-то думает неправду, озлобился.

Марья Николаевна внимательно смотрела на Ланде.

— У меня...

Ланде поправил фуражку и спокойно сказал:

— Не очень... четыре тысячи есть.

И опять Молочаев нехорошо подумал:

«А эффектную паузу выдержал!»

Потом нечаянно посмотрел на Марью Николаевну и забыл про Ланде.

— У вас лицо с картин Штука, когда вы смеетесь или задумываетесь!—сказал он восхищенным, искренним голосом, а глаза у него жадно заблестели.

Марья Николаевна засмеялась, и при луне на мгновение ярко и таинственно забелели белые зубы в резко очерченных полуоткрытых губах. Ланде посмотрел на нее и увидел, что лицо у нее, точно, белое, сильное и нежное, и жесткое, как на картинах Штука. И вся она была такая высокая, стройная и сильная, и пахло от нее чем-то свежим и возбуждающим.

— Так все им и отдадите?—пряча лицо от Молочаева, спросила Марья Николаевна Ланде.

— Так и отдам!—радостно и ласково улыбаясь ее красоте и ясным глазам, сказал Ланде.

И голос у него был такой спокойно и мягко душевный, что Марья Николаевна вдруг на мгновение задумалась. Какая-то глубокая, теплая и кроткая струнка чутко отозвалась где-то в самой глубине ее души.

«Милый он какой-то и странный... Блаженненький!— с улыбкой вспомнила она, как называл Ланде Семенов.—Нет, он не блаженный!»

Ей захотелось, чтобы это было не так. Не потому, что перед ней был именно Ланде, а потому, что теперь, в ночь, хотелось, чтобы тут близко, в живом и сознательном, засветилось торжественно и просто то могучее и прекрасное, что было вокруг, в лунном свете, в звездном небе, на торжественно-спокойно спящей земле.

— Мне сюда...—сказал Ланде нерешительно. Ему не хотелось уходить от них.

— Прощайте!—холодно и слишком быстро отозвался Молочаев.

Ланде подумал и, тихо улыбаясь, ушел.

— Пусть их!—сказал он себе, и в душе у него было что-то широкое и умиленное, как общее объятие.

Молочаев и Марья Николаевна долго шли молча, и торжественная тишина точно стояла в самой ее душе.

— Юродивый какой-то этот Ланде!—с нехорошим выражением сказал Молочаев.—Дурачок... А, может, напротив, далеко не дурачок!—скривившись, добавил он и неожиданно, просто и вдумчиво проговорил:

— У него лицо некрасивое, но очень интересное.

— Вы, кроме своего искусства, ничего не видите!— сказала Марья Николаевна, негромко засмеялась и повернула лицо к луне.

— Нет, я все красивое вижу!—возразил Молочаев, вкладывая в свои незначительные слова особый, близкий и понятный ей смысл.

— А кроме красивого?..

— А чорт его знает! Ничего!—вздернул широким плечом Молочаев.

Марья Николаевна смеялась. Под белой кофточкой от смеха колыхалась грудь и при луне, резко очерченная глубокими, влажными тенями, казалась точно голой. И вся она в ярком, синеватом свете была какая-то странная, резко красивая, не похожая на обыкновенную дневную женщину.

Молочаев широко открытыми глазами смотрел на нее, и что-то властно тянуло и толкало его к ней.

«Ого!»—вспыхнуло у него в мозгу. Давно знакомое и любимое им чувство силы и жадности задрожало у него в ногах и груди, и вдруг подняло над землей и отделило от всего мира. Как будто и луна не светила и не было холодно, было жарко и пусто, и только она одна, резко и таинственно красивая, стояла ярко и отдельно, как звезда во мраке, и страшно близкая и страшно далекая. Молочаев наклонился и сбоку видел темные, блестящие глаза, не смотревшие на него, как будто безмолвно ждущие и что-то таинственно обещающие.

Было тихо. Только где-то далеко за домами, то черными и мрачными, то белыми и холодными, одиноко, тоненько тявкнула маленькая собака:

«Гав... гав... гав... гав... гав!..»

И что-то общее, странное и напряженное стояло во всем.

— Жить хочется!—тихо, а потом все громче и сильнее заговорила Марья Николаевна.—Что-то сделать хочется, любить хочется...

И вдруг засмеялась неожиданно и звонко. «На луну прыгнуть хочется, как говорит Шишмарев!»—вспомнила она.

И все стало просто и обыкновенно красиво.

— Спать, спать пора!—певуче прибавила она.—Вот что! До свиданья!

— До свиданья...—еще дрожащим голосом ответил Молочаев и вздохнул глубоко и напряженно.

Они уже стояли возле калитки ее дома.

— До свиданья!..

Легкие шаги стихли за забором. Где-то раз и другой щелкнул запор; слышно было, как дверь тяжело осела внутрь, кто-то что-то сонно спросил, и опять стало тихо и пусто.

Молочаев долго шел по пустым улицам, залитым лунным светом, смотрел на далекий кружок луны и радостно ни о чем не думал.

III

Когда Ланде пришел домой, мать его сидела у стола и, видимо, давно ждала его ужинать.

В доме еще было уныло-пусто после смерти отца Ланде, и ей было скучно, страшно и жалко себя. Ей казалось, что все в мире кончилось, умерло и вся жизнь ее темной и роковой силой раскололась на две ровные половины. То, что было скучно и тяжело прежде, она забыла, и ей казалось, что позади, страшно далеко, было только мимолетное, радостное и теплое, все точно освещенное ярким и греющим светом, а теперь было пусто и холодно, впереди еще темнее и мрачнее, и хотелось иногда умереть. Только когда она вспоминала сына, что-то светлое мелькало перед нею и становилось осмысленнее все, что она делала.

— Ваня?—тихо спросила она из-за лампы.

— Я, мама!—отвечал Ланде, бросил фуражку на стол, подошел к ней и сел рядом, прижавшись головой к полному, но уже неупругому, теплому, как лежанка, плечу. Она погладила его по голове, по редким, очень мягким и светлым волосам и подумала, что в нем— все ее будущее, вера, радость и смысл, вся эта непонятная, страшная жизнь.

— Хочешь есть?—спросила она и положила ему руку на плечо.

— Хочу,—сказал Ланде и стал тихо и нежно целовать ее пухлую, с коротенькими, сморщенными пальцами руку.

— Милый мой мальчик!—со слезами на глазах сказала мать.

Что-то прочное, давно знакомое и дорогое им ощущение, протянулось между ними, и Ланде больше не мог не сказать того, о чем думал все время.

— Мама, что, собственно, осталось после папы... всего?

Мать нисколько не удивилась этому вопросу, потому что Ланде еще не знал, в состоянии ли он продолжать теперь университет, и она подумала, что это затем.

— Немного, Ваня...—грустно сказала она, думая о другом.—Вот дом, пенсию мне назначили, слава богу, недурную. А денег осталось всего четыре тысячи.

— Так я и думал. Мама, дом и пенсия, конечно, твои, а деньги позволь взять мне теперь—мне нужно...— сказал Ланде, и в ту же минуту в душе его появилось тяжелое, тревожное чувство.

— А, да... возьми, возьми... они ведь тебе и завещаны.

Мать задумчиво посмотрела на Ланде и провела рукой по его волосам.

— Что же ты с ними сделаешь?—тихо и ласково, как ребенка, улыбаясь, спросила она.

Ни на одну секунду у Ланде не было мысли не говорить ей. Он взглянул ей в глаза просто и ясно, лицо его посветлело, и ответил твердо и спокойно:

— Я, мама, хочу отдать их семьям тех рабочих, которых прогнал Вершилов.

— Что?—переспросила мать, улыбнулась и сказала:—Глупый ты еще у меня, как ребенок, хоть и борода уже выросла.

Ланде печально улыбнулся и промолчал.

— Ты и в самом деле не вздумай этого! С тебя ведь станется!—вдруг совсем другим, тревожным и предостерегающим голосом сказала она. И еще раньше, чем договорила, увидела по его ясно и как-то чересчур широко раскрытым глазкам, что он говорит правду. С минуту она молчала, с испугом глядя ему в лицо, а потом, больше стараясь уверить себя, проговорила:

— Глупости! А сам ты с чем останешься?

— Как-нибудь...—печально сказал Ланде, чувствуя, как между ними незримо встает непроницаемая холодная стена.

— Глупости!—упрямо, точно защищаясь против чего-то враждебного и злого, повторила мать. И было это, точно, враждебно и зло для нее, ибо стирало на-нет все, чем она прожила всю свою долгую, муравьино-кропотливую жизнь.

Ланде промолчал, и в сердце его точно оторвалось что-то кровавое.

Ночью, лежа в постели, он думал:

«Что делать? Мама не поймет и не захочет понять. Это будет для нее страшным горем; а я иначе не могу...

Мы будем становиться на дороге друг другу, и так как я люблю ее, то буду уступать ей... А этого не должно быть! Значит, надо уйти от нее!»

Огненное чувство отметило это решение; что-то больно сжалось в груди, и в глухой темноте он почувствовал себя одиноким, оторванным от всего. В первый раз в жизни он рвал с бесконечно любимым человеком, и перед разрывом стало ему холодно и страшно. Почему-то сгорбленный, умирающий Семенов встал перед ним, и в душе поднялась незнакомая тревога.

«Вот я здесь лежу,—вдруг подумал Ланде,—один с своей верой в то, что надо разорвать, причинить горе и боль; а быть-может, все-таки... ну, все-таки... кругом только пустота, только бесконечная пустота. Там где-то звезды, только звезды! И я не то, что песчинка, а меньше, бесконечно меньше, и жизнь моя в вечности не миг даже, а что-то... точно и нет ее совсем. А я живу, верю, сам ухожу от... Что же я делаю тогда?»

Волосы зашевелились на голове у Ланде; мелкая дрожь назойливо била в левой ноге. На мгновение показалось ему, что он висит в какой-то холодной, мертвой и величаво-страшной пустоте. И внизу и вверху темно и пусто. Потом ему вспомнился тот котенок, которого при нем взял за шиворот кучер Вершилова, подержал и бросил оземь и убил на месте,—и Ланде показалось, что он висит, взятый за шиворот, в пустоте, на один миг от смерти и беспомощно мотает лапками. И вот что-то швырнет его, страшно, как гром, ударит, и будет тихо, неподвижно, темно. Чувство одиночества стало нестерпимо для натянутых нервов, и мучительно хотелось, было нужно, чтобы кто-нибудь сказал, что он не один в огромном, как вечность, мире, что это не так.

Ланде судорожно откинул голову назад и, напряженно вытаращенными глазами глядя куда-то в черную бездну, повисшую над ним, напрягая все существо свое в страшном порыве, стал молиться кому-то:

— Господи, господи... господи, боже мой!

В голове у него в невообразимом хаосе крутились мысли, мелькали, сталкивались и путались между собою, и все тело и весь дух его томились, выливаясь в этой молитве. Кроме этих слов, ничего не приходило ему в голову, но он всем существом напрягался в них, и в громадности этого напряжения, доходящего до границ, какие может вынести человек, вырастало что-то могущественное, великое, что, казалось, не могло быть бесцельным.

— Господи, господи!..

Вдруг среди хаоса мыслей неожиданно, неведомо для него одна стала выделяться, крепнуть, освещаться.

«Я молюсь, лежа в теплой кровати, а рабочие Вершилова спят теперь, после тяжелого, беспросветного дня, на голом полу...»

Что-то остановилось и как будто выжидательно прислушивалось в нем и вокруг него. Было тихо, напряженно тихо, и Ланде сам слышал, как судорожно и тяжело дышал он.

«Ну, так что ж из этого? Что я должен делать?»— спрашивал Ланде кого-то внутри себя.

И где-то, в глубине его души, явилось сначала незаметное, а потом все сильнее и сильнее оборванное желание встать и лечь на холодный пол.

«Но ведь не в том дело!»—сказал себе Ланде.

Но чувство стало огромным и начало томить его тоской.

«Господи!..»—попробовал бороться с ним и молиться опять Ланде, но призыв отозвался в его душе пусто и мертво.

Тогда Ланде, с внезапным порывом, быстро встал с кровати и опустился сначала на колени, а потом положил горячий лоб на холодный пол. Кругом было так же тихо и темно.

Глаза у него вдруг стали мокрыми, и в душе стало тихо, точно все вздохнуло от разрешенного напряженного ожидания. И сейчас же Ланде вспомнил, что завтра он отдаст деньги рабочим, отдаст все, что может дать, всего себя, самое радостное и светлое своей души. Как это будет, Ланде не знал и не думал об этом, как не думал уже и о том, что огорчит этим мать, восстановит против себя многих, затруднит свою собственную жизнь.

Полное и радостное чувство встало в нем, и все вокруг наполнило чем-то громадным, светлым и ясным. Страх исчез, как дым. От пола было холодно, и все тело Ланде дрожало; но ему было приятно это, как будто этим он соединялся с кем-то и уже не был одиноким. А потом все вокруг—и твердость пола, и холод, и тьма, и собственное полуголое, смешно скорченное на полу тело,—все отошло куда-то и стало незаметным, ненужным.

— Господи, господи мой!—с неутомимой силой снова молился Ланде.

И в этом напряженном, радостном состоянии, похожем на величайшее и глубочайшее счастье, он точно застыл, успокоился, стал забываться и заснул на полу, когда в окна стало смотреть что-то светлое, серое и прозрачное.

Было это в последний раз в его жизни, когда в нем мелькнуло сомнение, когда он смутился на мгновение в предвидении тяжелого разрыва. Потом в душе его открылась светлая и прямая дорога.

IV

Утром, на другой день, Ланде пошел в острог. За городом, на нежно-зеленом лугу, по широкому откосу реки, резко белели белые стены и чернели одинокие солдаты, пронзая голубой воздух блестящими на солнце штыками.

Ланде проводили к смотрителю, у которого была борода по пояс, белая, седая, такая, какую пишут всегда на плоских суздальских иконах. Он вежливо уставился на Ланде и вопросительно пошевелил тонкими, недоверчивыми губами.

— Моя фамилия—Ланде. Вы меня, наверное, знаете?.. Я бы очень хотел повидать того Ткачева, которого третьего дня оправдали в суде. Я узнал, что он еще у вас...

Иконописный смотритель тюрьмы шевельнул костлявыми пальцами.

— Это можно... Он у нас еще. Видеть его, конечно, можно!—повторил он, как будто стараясь уверить себя самого.—Я вас велю проводить... Или, может, сюда позвать?

— Лучше я сам к нему пойду,—он, может, еще и не захочет ко мне. Я с ним, собственно, почти что не знаком.

Смотритель в упор посмотрел на Ланде.

— Сидоров, проводи!—вдруг сердито насупив брови, сказал он и перестал смотреть на Ланде.

— Что ж я буду распоряжаться им, знаете?..—доверчиво говорил Ланде.—Я хочу, видите ли, предложить ему...

— А это уж вы там с ним поговорите!—еще сердитее буркнул смотритель и стал трогать бумаги на столе.

Ланде стало стыдно за смотрителя, за его грубость и холодность, и он заторопился.

Старый, бритый и щетинистый солдат, в черном, мешковатом мундире, разорванном подмышками, шевельнул в сторону Ланде обшлагом с потертыми нашивками и сказал:

— Слушаю, ваше благородие!.. Пожалуйте, господин!

Ланде пошел за ним на двор.

Двор был чистый и большой, но на нем не росла трава, и было душно и жарко, несмотря на мягкое весеннее небо, сверкавшее вверху. Пахло кислыми щами, швальней и приторным, противно-нудным запахом отхожего места.

— Нехорошо у вас тут...—сказал Ланде.

Сидоров оглянул двор маленькими мужицкими глазками, как будто с веселым недоумением отыскивая, что же тут было нехорошего.

— Так точно!—сказал он все-таки, так быстро и охотно, как будто ему доставило большое удовольствие согласиться с Ланде.

Ланде посмотрел, как тяжело и крепко шагал он корявыми мужицкими ногами, и прибавил:

— Скверная у вас тут служба: людей стеречь!

— Так точно!—так же охотно ответил Сидоров.

— Лучше бы землю в деревне пахать!—продолжал Ланде, жалея его.

— Что ж,—сказал Сидоров,—и землю пахать хорошо.

От его охотного и веселого голоса и Ланде стало весело.

— Отчего Ткачева до сих пор не выпускают? Ведь его уже оправдали?

— Не идет он сам!—улыбаясь, ответил Сидоров.

— Почему?—удивился Ланде.

— «Некуда мне,—говорит,—итти»... История! Чудак человек!

Ланде задумался, и скорбная тень легла ему на лицо и на душу.

Они уже прошли двор и пошли по узкому сводчатому коридору; тут было странно темно после яркого солнечного света на дворе; везде был холодный, грязно-белый камень и зеленое старое железо.

Из двери в дверь безучастно и лениво ходили грязно и безобразно одетые люди, молодые и старые, но все с одинаково бескровными, нездоровыми, опухшими лицами. Недружелюбно наглыми глазами они провожали Ланде, останавливаясь у стен, а потом безучастно, как тени, уходили куда-то в глубь сырых коридоров, и было что-то опасное, страшное в этих бессмысленных, равнодушных движениях. В одной камере кто-то старался петь, и было видно, что он нарочно тратит на это больше сил, чем надо, и самое пение походило больше на проклятие,—такой дикий был мотив, и столько в нем скверных слов.

— Ткачев!—споро крикнул Сидоров вдоль по коридору.

— Эй, Ткачев!.. Эй... ты!.. Тебя!.. Чуешь!—нестройно закричало несколько голосов, точно обрадовавшись предлогу прокричать не зря, а для какой-то надобности.

На пороге одной камеры показался человек в большой, не по росту, арестантской куртке, худой, черный.

Смуглое, скуластое лицо его смотрело на Ланде сумрачно и недоверчиво.

— Я к вам...—доверчиво улыбаясь и точно стараясь этой улыбкой стать ближе и понятнее Ткачеву, сказал Ланде и протянул руку.

Ткачев неловко, как будто и не удивившись его приходу, подал свою.

— Я с вами хотел поговорить...—прибавил Ланде.

Ткачев еще недоверчивее посмотрел на него, прикусил тонкую, сухую губу, потом нехотя отступил в сторону и назад шага два и сказал надтреснутым, глуховатым голосом:

— Я тут живу... вот...

Ланде вошел за ним в одиночную камеру. Это была сводчатая комната, такая низкая, сырая и затхлая, что странно было думать, что в ней живет большой человек, а не какое-нибудь маленькое, трусливое животное.

Ткачев подумал, нахмурился и подставил Ланде табуретку.

— Садитесь, пожалуйста...—сказал он с неопределенным выражением.

Ланде сел и мягко смотрел на Ткачева.

— Что вам от меня угодно?—беспокойно хмурясь под его взглядом, спросил Ткачев.

Когда он хмурился, лицо его принимало не суровое, а жалкое выражение, какое бывает у обиженных детей.

— Мне ничего не угодно...—добродушно возразил Ланде.—Я просто узнал о вас и пришел.

— Зачем же?—недоверчиво пробормотал Ткачев.

— Так. Мне стало больно, что вы так озлоблены и несчастны; я и подумал, что, может-быть, вам будет легче, если я приду...

— Сострадание?.. Не нуждаюсь!—отрывисто и глухо возразил Ткачев и отвернулся к окну, перебирая по краю стола грязными, худыми пальцами.

Ланде тихо взял Ткачева за руку.

— Зачем вы так говорите?.. Ведь это неправда... Ведь вы и несчастны, и озлобились, и украли только потому, что мало видели сострадания и любви в своей жизни. Я пришел к вам без всякой задней мысли, с открытым сердцем, с искренним желанием вам чем-нибудь помочь... Зачем же вы меня обижаете?

Ткачев пугливо посмотрел на руку Ланде, которая мягко и доверчиво держала его за черные пальцы, и вдруг покраснел.

— Никого мне не надо...—тихо, но упорно ответил он и незаметно убрал руку.—Все это одни глупости...

— Почему? — болезненно подняв брови, спросил Ланде.

Ткачев повернул к нему голову и презрительно, через силу, усмехнулся.

— Ваш наивный вопрос ставит меня в глупое положение...—бравирующим тоном, в котором сквозь неестественную витиеватость ясно слышалось что-то озлобленное и горькое, сказал он.—Вам... а впрочем, с какой это стати я с вами разговаривать буду!—вздернул он плечами и отвернулся к окну, на котором, неслышно ворошась за стеклом и решеткой, гуллили голуби.

— Вот, кормлю их... друзья!—помолчав, неожиданно проговорил он и конфузливо улыбнулся одним краем тонких, страдальческих губ.

— Голубей?.. Да!..—обрадовался улыбке Ланде и широко улыбнулся сам.—Конечно, друзья! Это ведь неправда, что вечная вражда и необходимость истреблять... Такой необходимости не может быть, не должно

быть, не должно быть!.. Надо, напротив, защищать... все одного и один всех... и быть друзьями, братьями даже! Я, знаете, верю, что все ошибка, что все не так, и все надо поправить, докончить... и что это-то и есть миссия человека!.. Я верю...

— Не понимаю я вашего красноречия!—упрямо и угрюмо, но, как показалось Ланде, нарочно так ответил Ткачев.

Ланде улыбнулся.

— Я не умею говорить лучше... Разве вы меня, правда, не понимаете? Мне кажется, нет... Я хотел сказать, что нет злобы и ненависти самих по себе, что это только следствие работы над миром, и их надо устранить.

— Ишь,—насмешливо вставил Ткачев.—Легко.

— Нет, не легко... трудно, страшно трудно! Но не невозможно: нет такой ненависти и злобы, которых нельзя было бы победить!

— К чему вы мне все это говорите?—остро перебил Ткачев.

— Я к тому говорю,—заторопился Ланде, точно боясь, что Ткачев уйдет, и опять беря его за руку,—что вижу... мне кажется, что вы перестали верить в эту возможность, а поверили в то, что зло вечно, что зло везде торжествует и что надо не бороться с ним, а служить ему! А это ужасно!.. Это не так. Вы просто упали духом, озлобились, и теперь вы только искусственно сгущаете атмосферу вражды, воображая, что, наконец, научились дышать понастоящему... Ах, Ткачев, какая это ужасная ошибка! И ведь чувствуете ее вы: ведь вам тяжело дышать, трудно? Да?

Ткачев угрюмо молчал и дышал тяжело, через нос.

— Не надо вражды встречать враждою!—говорил Ланде, блестя открытыми глазами, как будто не думая

о том, что говорит, точно и не говорил, а пел, выливая песню прямо из сердца.—Этим она побеждается! И никогда не чувствуется такой радости, такой легкости, такого удовлетворения, как тогда, когда вы побеждаете вражду в себе, не отвечая ею на чужую вражду!.. Разве это чувство не указывает, где путь?.. Какая радость это чувствовать! Каких страшных мук нельзя перенести за эту радость!.. Ну, пусть к вам люди относятся дурно, жестоко даже, пусть условия вашей жизни тяжелы, пусть это так; но ведь внешние условия жизни и не могут быть совершенно одинаковыми у всех людей, и с этим так легко, в сущности, мириться, если...

— А вы были когда-нибудь голодны?—вдруг язвительно перебил Ткачев.—А, господин Ланде?

— Ах, боже мой, зачем вы говорите так?—с мольбой, вонзившейся в душу, заспешил Ланде.—Ведь вы же знаете, что и голод, и муку, и самую смерть можно перенести за идею... Мученики же умирали в страшных мучениях...

— Так то мученики!—вздернув головой, возразил Ткачев.

— Разве вы думаете, Ткачев, что все мученики были какими-то особенными людьми? Нет, и я, и вы, и всякий, самый маленький человек все перенесет за идею, раз только эта идея будет его идеей, его чувством! Правда ведь?

— Может, и правда...—угрюмо ответил Ткачев.

— Правда!—радостно подхватил Ланде, и все лицо его осветилось.—Правда есть в человеке, эта великая сила, именно в человеке она есть! А раз так, значит—он все может, всякий все может!.. Против любой силы может бороться и победить... Почему вы украли, Ткачев?

Ткачев вздрогнул, быстро стал бледнеть, так что ясно было видно, как постепенно кровь отливает от лица, и широко раскрытыми глазами, из которых выглянула страшная, мучительная рана, с бешенством уставился на Ланде.

— А вам какое дело?—хрипло проговорил он, вытягивая к нему худую, черную шею.

— Я знаю почему,—вздрогнувшими губами, но твердо проговорил Ланде,—и хочу об этом говорить...

Ткачев неподвижно и жутко смотрел ему прямо в глаза. Ланде близко видел его темные зрачки, ставшие совсем круглыми, и сквозь них смотрела на него бессильная, затаившаяся навсегда, вечная обида и ненависть. Ланде почему-то подумал, что если он моргнет, то Ткачев или ударит его, или плюнет в лицо. Но он не моргнул.

Ткачев вдруг опустил глаза.

— Ничего вы не знаете!—сказал он тихо, грубо и с вызовом.

— Нет, знаю!—твердо возразил Ланде.—Я ведь знаю всю вашу жизнь,—мне говорили о ней много... Да вы и сами рассказывали много, когда говорили в суде... Мне передавали. Вы так правильно и ярко описали ее, что трудно было бы...

Неумное, хвастливое выражение появилось на лице Ткачева.

— А вы думаете, только вы, господа студенты, говорить умеете? Нет, прошли те времена! Теперь...—некстати заговорил он.

— Ведь вы потому и украли, что никогда вором не были...—не слушая его, продолжал Ланде.—Я знаю, вы всегда жили страшно тяжело, но не только не крали, вы даже не пили никогда, не курили... Нашли же вы в

себе силы тогда все учиться? Я знаю... Я знаю, как вы изучали евангелие, как вы перестали мясо есть...

— Глупости все это!—с неестественным, деланным презрением возразил Ткачев.

— Нет, не глупости! Это великое дело, когда человек так работает над самим собой! На это надо большую, громадную силу. И она у вас была... Отчего же ее теперь нет, Ткачев?—с мольбой, хватая его за руки, заговорил Ланде.—Отчего вы не боролись до конца?

— До какого же такого конца, позвольте вас спросить, господин Ланде?—скривив все лицо в злорадную и вместе жалкую гримасу и вырывая руки, спросил Ткачев.

— До победы, Ткачев!—вставая к нему, ответил Ланде.—Человек все может победить за свою идею; а у вас была своя идея, что все люди одно, и жизнь и чувство должно быть одно и хорошо! И вы бы победили, Ткачев, вы сильный человек! Почему же вы упали духом? Что случилось?

Ткачев молчал. Замолчал и Ланде в странном трепете. Страшный подъем, с которым он говорил, обессилил его. Светлые волосы прилипли ко лбу, губы и руки дрожали, и только глаза попрежнему светились любовью и жалостью.

Ткачев довольно долго молчал.

— Слушайте, господин Ланде,—заговорил он, подняв голову, но не глядя на Ланде,—вы вот говорите, что знаете меня, и говорите верно... знаете... всю мою разнесчастную жизнь и все мои горькие страдания вы знаете... да... Только ведь и я вас знаю, господин Ланде, не хуже вашего! Вот-с! Вы, господин Ланде, очень хороший человек,—о вас все так говорят, и я знаю.

Лучше вас у нас в городе, а может, и нигде, нет... Я так полагаю, что вы, может, святой человек, потому что душа у вас чистая... ровно стекло! А позвольте вас спросить: где же вы-то были, когда... все это происходило со мной?

Ланде поднял руку.

— Нет, позвольте теперь мне сказать!—крепким, злым голосом перебил Ткачев.—Много вы в моей жизни значили, господин Ланде, если правду сказать: я вас давно знаю; мальчиком вы еще были, да и я не бог весть каким взрослым был, когда... Очень много вы для меня тогда значили! А вы помните, господин Ланде, как я к вам приходил за книгами? Еще вы ехать собирались, в передней чемодан увязывали... Я до того, чтобы увидеть вас, три года ждал, а что вы мне сказали?

Ланде весь задергался в мучительном волнении.

— Ткачев, Ткачев, это правда... только ведь...—жалобно закричал он.

Ткачев повернулся к нему черным, каменным лицом и режущим голосом, сквозь зубы, проговорил:

— А вы мне сказали, что, мол, едете... некогда вам, после обещали поговорить! Только и всего... А я от вас тогда слова на всю жизнь ждал... Что-нибудь одно: или вы меня не поняли, проглядели, что во мне было настоящее, или видели, да свой отъезд, дело, выше поставили. Так, господин Ланде? Или, может, я не понимаю?..

— Богом вам клянусь,—вскрикнул Ланде,—что если бы я понял тогда, я остался бы... Вы сами виноваты, Ткачев! Надо было приступить прямее, сильнее, постучаться в душу прямо! Ведь вы же видели, что я просто не понимаю!

Ткачев медленно и зло усмехнулся.

— Видел, в том-то и дело, что видел. Это-то меня, может, раз и навсегда и с дороги-то сбило.

Ланде широко раскрыл глаза.

— Если бы вы, господин Ланде, поставили свой отъезд по делу, интерес свой важнее того, что человек к вам со всею душою пришел, я просто, может, плюнул бы на вас и сказал: «Дрянь человечишко, такой, как и все, дрянь!» А то нет... Увидел я, что вы просто меня не понимаете, не видите моей муки...

Ланде мучительно сжал пальцы.

— Ведь это может со всяким человеком случиться! Ведь бывает такое состояние, точно душа в нем спит... Вот и я спал тогда. А вы... отчего вы не разбудили, не растолкали?

Опять Ткачев так же медленно и зло усмехнулся.

— А я подумал так, господин Ланде...—Его глухой голос зазвучал торжественностью, долгожданной, из души выболевшей исповедью.—Ведь вот человек—самый лучший, другого такого, может, во всю жизнь не встретишь, а достучаться в душу и к нему трудно...

— Не всегда же, Ткачев...

— Ну, не всегда... Так ведь это же во-о-н какой человек! А вот и его иной раз толкать нужно, чтобы он чужою болью поболел!.. А что ж тогда другие-то?.. Ведь, пожалуй, и не растолкаешь... а? Как вы думаете?— с насмешкой спросил Ткачев.

— Не может быть! Надо толкать... можно!

— Да ведь этак всякого человека расталкивать и сил не хватит... А жить же когда? А?..

Ткачев торжествующе замолчал.

Ланде светло улыбнулся и тихо заговорил.

— Ткачев, да ведь в этом же и жизнь!.. Отзвук этого стука и есть счастье, счастье, самое захватывающее,

великое счастье—слышать ответ и сознавать, что если даже мы и не достучимся во все сердца, в одно общее человеческое сердце, то ведь не умрет начатый нами стук, будут стучать другие, за ними, пройдет он из сердца в сердце, и когда-то... Ткачев...

— А, ха-а!—хрипло и громко не то захохотал, не то закричал от боли Ткачев.—Фью!—резко свистнул он.

— Вам кажется это смешно, Ткачев?—с широко открытыми глазами спросил Ланде.—Вы не верите?

— А вы как думали?.. Так это, значит, одной мечтой жить, в страдании счастье искать?.. А сам-то, сам... так и умирай, как жил? Как будто и не стучался? Го-го! И пить—умереть, и не пить—умереть! Нашли дурака, как же! Энто кой-кому—лучше не надо!

Голос у него стал какой-то гокающий, нахальный и пустой. И если у Ланде была надежда, что Ткачев поймет его, то в эту минуту, под звуки этого голоса, сразу, невидимая, неодолимая, стала между ними непроницаемая стена, и холод ее проник до самых сердец обоих. И то, что произошло дальше, было уже дико, нелепо и безобразно.

— Ткачев,—робко и растерянно заговорил Ланде,—опомнитесь... Разве вы не понимаете?.. Уйдите отсюда,—на вас эта ужасная обстановка повлияла!

— Куда итти-то?—издевался Ткачев.

— Куда-нибудь... ко мне... Я вам денег принес... Вы возьмете и уедете отсюда, забудете; а когда пройдет время, вы опомн...

— Де-нег?—сощурившись, переспросил Ткачев и вдруг страшно грубо, резко и отчаянно крикнул:—Не надо мне твоих денег! Деньгами заткнуть хочет! Убирайся!

— Ткачев, Ткачев... за что? Как вам стыдно будет потом! Милый Ткачев, ведь я...—с горькой мукой говорил Ланде и судорожно хватал его за руки.

Но Ткачев с силой вырвался, как-то с размаху повернулся, быстро вышел из камеры, но сейчас же и вернулся. Он остановился на пороге, несколько секунд неподвижно и пристально смотрел на Ланде, потом тихо проговорил, точно про себя:

— Блаженный...—И еще тише, но язвительно и зло, как будто источая тонкий яд, прибавил:—Святая душа на костылях... дурак!

Потом по-солдатски, резко повернулся и пошел вдоль коридора.

— Ткачев!—позвал Ланде.—Ткачев!

Но Ткачев не отозвался и ушел.

V

Поздно вечером Шишмарев пришел к Ланде. Маленький студент, с резким голосом и торопливыми движениями, весь находился под впечатлением решения Ланде отдать деньги. Но он чувствовал себя как-то странно: то, что хотел сделать Ланде, восхищало его и наполняло душу умилением, захватывающим чувством необыкновенного подъема; но в то же время ему было странно и неловко, точно сам он делал что-то дурное, чего не следовало бы делать.

— Да я-то, собственно, при чем?—успокаивал он себя; но все было так же неловко.

Он торопливо вошел в комнату, пожал Ланде руку и сказал, почему-то избегая смотреть ему прямо в глаза:

— Ну, вот и я...

Ланде сейчас же полез в стол и достал деньги,— четыре пачки длинных, красивых бумажек, сухо шелестевших в его тонких пальцах.

— Я хотел тебе сказать...—вдруг, точно его толкнуло, заговорил Шишмарев резким, но смущенным голосом.—Может, не все?..

Ланде, как будто думая о чем-то другом, просто сказал:

— Все равно, отдавать—так все...

Он помолчал, подумал и прибавил:

— Леня, я с тобой не пойду, ты сам раздай; я скажу тебе почему: мама страшно сердится на меня за эти деньги... надо успокоить, поговорить...

Шишмарев нерешительно взял деньги.

— Вот видишь, и твоя мать сердится...—неуверенно возразил он.

Ланде бледно, но твердо улыбнулся.

— В таких случаях не надо думать о матери!—серьезно ответил он.

Шишмарев все не двигался, и все более и более становилось ему неловко.

— Я, право, не знаю...—говорил он.—Как же я сам...

Ланде сам улыбнулся, но уже светло и ласково.

— Как-нибудь...—махнул он рукой.—Сердце подскажет. Да и не бог весть какое уж это трудное дело.

— Ну, как знаешь!—все так же нерешительно согласился Шишмарев и взял фуражку. Почему-то ему вдруг до слез стало жалко Ланде. В комнате было как-то неуютно, пусто и веяло чем-то монашеским, одиноким. У Ланде был больной и унылый вид. И против воли Шишмареву было странно и непонятно, что у человека, делавшего такое хорошее, большое дело, не было на лице радости и гордости.

«Странный он какой-то!»—подумал Шишмарев, и эта мысль, как-то незаметно для его сознания, ослабила в нем чувство к Ланде и его поступку.

— До свиданья,—сказал Ланде.

— Ваня!—крикнул за дверью дрожащий и странный голос матери Ланде.

Губы Ланде страдальчески вздрогнули.

— Иди лучше!—тихо, но твердо сказал он Шишмареву.

Шишмарев мялся. Деньги почти физически жгли ему руки, точно уворованные.

— Просто это надо оставить!—сказал он с легким оттенком смутной, неприятной досады.

Ланде покачал головой.

— Нет,—сказал он,—это надо сделать. Там страшная нужда, горе... а маме только кажется, что она страдает... Все равно эти деньги я должен был истратить на себя.

Мать Ланде вошла. Всегда мягкое, освещенное печалью и добродушием, старое лицо ее было возбуждено, зло и жестоко. Дышала она тяжело и часто, так что это дыхание было слышно по всей комнате.

Ланде быстро пошел ей навстречу, взял за обе руки и притянул их к груди.

— Мама...—твердо сказал он, заглядывая ей в глаза.—Не надо.

Шишмарев неловко поклонился.

Мать выдернула руки.

— Что не надо?—резко и громко озлобленным, срывающимся голосом, по которому было видно, как много она кричала и плакала, заговорила она.—Ты права не имеешь! Отец работал всю жизнь не для каких-то нищих! Дурак!

Шишмарев стоял красный и растерянный, машинально держа деньги перед собою.

— Иди, Леня!..—печально, но спокойно сказал ему Ланде.

Мать дико вскочила и загородила дорогу, хотя Шишмарев и не трогался с места. Седые волосы спутались у нее на лбу, и было что-то хищное, нечеловеческое в округлившихся, ополоумевших глазах.

— Это вы его сбиваете!—со страшной злобой закричала она.—Как вы смеете? Я жаловаться буду! Это грабеж... Обрадовались!

— Я...—растерянно и оскорбленно начал Шишмарев.

— Отдайте!—взвизгнула старуха и быстро выхватила из рук Шишмарева деньги, по-птичьи согнув пальцы, сразу ставшие костлявыми и крючковатыми, как когти.

Вдруг страшная злоба и обида вспыхнули на лице маленького студента.

— Да возьмите, пожалуйста!—вздернув плечами и сжав кулаки, резко вскрикнул он, так громко, что слышно было на улице.

И сразу все стихло. Старуха смотрела на него круглыми, странными и страшными глазами. Шишмарев повернулся к Ланде, пошевелил губами, задохнулся, и судорога задергала его левый глаз и щеку. Его душили обида и гнев, и были они против Ланде.

— Т... так нельзя... — проговорил он. — Прощай... я пойду... ххм...

— Иди, Леня...—так же печально и так же спокойно ответил Ланде.—Не сердись на меня!

Шишмарев двинулся, растерянно скривился, точно хотел еще что-то сказать, но не сказал и ушел.

Тихо стало в комнате. Мать Ланде крепко держала руку глубоко в кармане вместе с деньгами, зажатыми в ней, а Ланде смотрел на нее печально и ровно открытыми глазами. Их было двое в маленькой комнатке, но каждый чувствовал себя, как будто был один.

— Ты, пожалуйста, выкинь из головы эту дурь!— все еще сдавленным голосом наконец проговорила мать.

— Это не дурь...—покачал головой Ланде.

— Кого ты этим думаешь удивить?—язвительно продолжала мать.—Как тебе не стыдно,—до чего довел!— вдруг жалко и слезливо проговорила она, вынула руку из кармана и заплакала.

— Это не я довел...—возразил Ланде.

Мать плакала... Ланде молчал, горько сжав руки. В комнате было темно и грустно.

— Сам мне потом спасибо скажешь!—уже тихо проговорила мать.

— Не знаю. Слушай, мама, раз ты мне не даешь денег, я не буду требовать. Пусть они будут тебе...

Острая, горькая обида кольнула мать в сердце.

— Что ты говоришь?—со слезами негодования крикнула она, укоризненно всплеснув руками.—Да разве я для себя?.. Зачем они мне?.. Мне умирать пора... Что ты говоришь, опомнись!

Ланде помолчал.

— Я знаю...—сказал он.—Но я не то хочу сказать. Я ведь, мама, люблю вас, страшно люблю. Но вы думаете, что, сберегая для меня эти деньги, спасаете меня от гибели; а я думаю, что этим вы меня губите. Неужели вы думаете, что я возьму эти деньги для себя только?.. Все равно, этим или другим, а я отдал бы деньги тем, кому чувствовал бы, что их должен отдать... А потому...

— Да что ты, наконец, с ума сошел, что ли?—крикнула мать, и голос ее прозвучал негодующе и недоумело.—Да чем же ты жить будешь?

— Как-нибудь проживу,—об этом не надо думать!—убежденно ответил Ланде.

— На моей шее вечно будешь сидеть?—ядовито и грубо спросила она.

— Нет,—со спокойной печалью возразил Ланде,—я уйду от вас. Нам трудно жить вместе, не надо: вы не дадите жить мне так, как я хочу; а я буду мучить вас... Лучше я буду жить один.

Мать широко раскрыла глаза, и кровь медленно отлила с ее лица.

— Ваня... что ты говоришь?—с ужасом пробормотала она, и лицо и голос ее стали растерянными и жалкими.

Ланде тихо вздохнул, подошел к ней, стал на колени и нежно стал целовать ее мокрую от слез руку.

Она смотрела на его голову с мягкими слабыми волосами и чувствовала, что нечто громадное, неодолимое надвигается на нее.

— Не плачь, мама!.. Так лучше будет...—тихо говорил Ланде убежденным, ровным голосом.

VI

Марья Николаевна сидела на открытом окне и пристально, задумавшись, смотрела на длинную улицу, освещенную по одной стороне зеленовато-голубым светом луны и глубоко-темную по другой. Далеко-далеко ярко и холодно мерцали звезды, темные деревья, как окаменевшие, стояли в лунном свете. Было пусто и холодно.

Издалека послышались одинокие шаги, отчетливо и тихо постукивавшие по доскам тротуара. Кто-то

невидимый шел в ночи, ближе и ближе, и было странно и таинственно слышать эти шаги, точно звуки сами приближались к звонкой холодной тиши, неся какую-то свою одинокую тайну.

Марья Николаевна далеко высунулась в окно, и когда в темноте стала рождаться черная тень, пригляделась и, узнав, позвала:

— Иван Ферапонтович, это вы?

Ланде встрепенулся и остановился, потом радостно улыбнулся и подошел.

— Куда вы идете?—приглядываясь к нему, спросила девушка.

— Домой... к Семенову... Я ведь теперь у него живу... пока...—устало и слабо ответил Ланде.

Он стоял у самого окна, и девушка близко видела его осунувшееся, с неестественно большими глазами лицо. Чувство любопытной жалости, то чувство, которое Ланде постоянно пробуждал в ней, поднялось у нее в груди, такое же чистое, свежее и сильное, как и сама молодая грудь.

— Иван Ферапонтович...—мягко, боясь его, спросила она,—неужели это правда, что вы совсем разошлись с матерью?!

И сейчас же она испугалась и заторопилась, точно ей стало больно от вырвавшегося вопроса.

— Я потому вас спрашиваю, что мне так жаль и вас и вашу мать... и ведь вас можно спрашивать обо всем... правда?

— Меня можно спрашивать...—машинально ответил Ланде, видимо, не замечая ее испуга, и сказал грустно и вдумчиво:—Я не разошелся с нею,—я никогда ни с кем не расходился... Маму я люблю и теперь, может-быть, даже больше, потому что она несчастна...

Я только ушел жить один... Тут приходилось выбирать что-нибудь одно: или жить не так, как я верю, или уйти... Я думаю, и вы сделали бы тоже... так...

Марья Николаевна посмотрела на него задумчивыми и теплыми глазами.

— Нет, я так не могу... Куда же мне!—слабо улыбнулась она.

— Знаете,—не слушая, продолжал Ланде, и в голосе его звучала нота торжественной печали,—легче пожертвовать жизнью, чем... А впрочем, не умею я этого высказать!—вдруг засмеялся он коротко и печально и замолчал.

— А-а!..—вдруг тонко и протяжно закричал кто-то далеко за садами; а потом стало еще тише.

Ланде прислушился и вздохнул.

— Где же вы были?—спросила, помолчав, Марья Николаевна.

— В монастыре,—ответил Ланде.

— Богу молились?—шутливо спросила девушка.

— Нет, я так... там так тихо...—серьезно ответил Ланде, как будто не осуждая и не принимая участия в ее шутке.

— А вы в бога верите?—с молодым и девичьим легкомысленным любопытством спросила она.

Ланде посмотрел на нее.

— В него нельзя не верить!—тихо и убежденно, как бы удивляясь, возразил он.

— Почему нельзя? А вот я не верю!—немного склонив голову и прислушиваясь к красивым звукам своего голоса, сказала Марья Николаевна.

— Не говорите так!—печально и горячо возразил Ланде.—Это неправда. Все верят, и вы верите...

Он вдруг протянул руку и взял ее за тонкие, нежные пальцы.

— Вы только посмотрите и вы увидите, что нельзя не верить... Посмотрите на небо, посмотрите!—с какою-то горячей мольбой потребовал он.

Марья Николаевна невольно подняла голову, и большие глаза ее снизу казались Ланде молящими и прекрасными.

Не было конца небесной шири и не было дна сияющей глубине. Чем больше она вглядывалась, тем дальше и выше, бесконечно уходили звезды и уничтожались бессильно в необозримом просторе. Казалось, таинственно-торжественное молчание вечным холодом остановило и сковало какой-то неведомый, безграничный размах. Нечеловеческая сила подняла в пространстве ужасный, непроницаемый, прозрачный свод и застыла в страшном напряжении.

— Там страшно!—внезапно вздрогнувшим голосом проговорила Марья Николаевна.—И вдруг все это рухнет... Господи, можно ли вообразить, подумать, что бы было!..

Ланде ласково и тихо засмеялся и стал гладить ее по руке.

— Нет, не рухнет!—сказал он.—Посмотрите, какая ужасная, бесконечная громада, а мы такие маленькие, такие маленькие, что даже не можем видеть того бешеного вихря, в котором все несется!.. Вы поймите это: как мал должен быть человек! В каждый миг, в каждую миллионную часть мига страшное движение уносит громаду мира в непонятную даль; а мы видим мертвенную неподвижность... Какой должен быть ураган бесконечных звуков; а нам чудится торжественная тишина!.. И все-таки мы, крошечные, идем так

свободно, как будто все эти громады уступают нам дорогу! Как будто нас проводит рука, способная провести сквозь самое стремление! Самая малая частица его могла бы стереть нас, но человеческая история идет и развивается так свободно, как будто она—центр всего. Для того, чтобы такое маленькое, слабое, так шло по своему пути, так было уверено, что дойдет до конца,— надо, чтобы оно было нужно в мире и чтобы воля мировая охраняла его до той поры...

Ланде помолчал, посмотрел блестящими глазами вверх и сказал:

— Не кажется ли вам, что все застыло и ждет, пока здесь, на земле, не совершится то, чему должно быть?.. А когда совершится, то вдруг все двинется дальше, здесь разрушится, там создастся, засветит какой-то новый свет, появятся новые формы, новое движение.

— Иногда кажется...—тихо ответила Марья Николаевна.

Ей было странно жутко. Что-то встало перед нею огромное, как бы из вечности в вечность и из пространства в пространство. Тишина ночи казалась какой-то торжественно-страшной музыкой.

— Как это чудно, как это сложно!—с каким-то таинственным восторгом говорил Ланде.—Самая вечность и бесконечность, в которых нет ни малого, ни большого, в которых нет времени, которыми уравнивается миг жизни миров с мигом жизни одного человека!.. Разве это холодный, мертвый порядок машины, созданный бездушным физическим законом? Это страшный трагизм творчества, всеобъемлющего, в котором нет деления ни для чего! Есть дух этого творчества, душа мира... Нельзя не верить, нельзя не видеть... не слышать, не чувствовать!..

Откуда-то ледяной, мистический ужас стал заползать в душу Марьи Николаевны. Она нервно съежилась, и глаза у нее округлились, как у кошки, увидевшей что-то непонятное, страшное.

Ланде замолчал, и стало тихо, так тихо, что казалось, будто кто-то идет по земле, металлически, звонко ступая тяжкими, таинственными шагами.

— У меня в ушах звенит!—вся дрожа, проговорила Марья Николаевна.—Холодно... Прощайте!

Она откинулась в темную тьму комнаты и затворила окно, слепо блеснувшее тусклым стеклом.

Ланде остался один и долго стоял посреди пустой улицы, блестящими глазами глядя вверх между звездами, в темно-синюю холодную глубину.

VII

Закутанный в простыню, из-под которой виднелись тонкие голые ноги, и похожий на плохо наряженного привидением Семенов отворил дверь Ланде.

Для глаз Ланде, все еще как бы полных влажного простора и чистого блеска звезд, странен был желтый, сухой свет лампы, тоненькая, хрупкая мобель, сбитая кровать с тощими, горячими подушками и сухое, желтое, несчастное лицо Семенова и его тоненькие, как палочки, белые ноги.

Семенов сидел на кровати, и страшен был его вид. Землистое, сморщенное лицо его, жидкие волосы, смоченные потом и прилипшие к обтянутым сухой кожей вискам, тощее тело, напяленное на узких, острых лопатках,—все говорило простым и страшным языком об одинокой, никому не понятной во всей громадности своего горя, бессмысленной болезни, скрывшейся

внутри одного человека и заключившей там, возле места разрушения, весь его мир,—страдание, отчаяние и ужас.

Семенов посмотрел на Ланде расширенными, блестящими лихорадкой глазами, и когда Ланде сел возле него на постели, проговорил, путаясь:

— Хорошо, что пришел... Скверно... страшно чего-то... было. Скоро я умру уже, Ланде...

Казалось, что он говорит не Ланде, а кому-то страстному и огромному, томящемуся в глубине его больного, страдающего тела, убеждая его в неизбежном и еще не вообразимом конце.

Острая, как боль, жалость охватила Ланде; он всем телом повернулся к Семенову и обнял его обеими руками за худые, пахнущие холодным потом плечи. Сквозь истертую жидкую рубашку чувствовалось горячее, сухое тело и кости, острые и страшные.

— Вася... милый мой, бедный!—заговорил он и стал убеждать его в том, во что верил сам, любопытно и наивно: что не может быть жизни только для земли, что слишком громадны усилия и страдания, чтобы они умирали, не поднявшись от земли, что непонятно, убого и бессмысленно было бы тогда существование духа человеческого, с его светлым разумом и гибкой, богатой мыслью, в бесконечно великом, стройном и вечном мире.

Ланде говорил долго, торопясь, как будто боясь, что не успеет своими словами остановить, не успеет загромоздить пути тому темному, громадному, что неуклонно надвигается и медленно овладевает страдающей душой. Семенов сидел неподвижно, скорчившись и глядя в упор на огонь лампы. Тонкие, потрескавшиеся губы его были плотно сжаты. Сбоку Ланде был виден блестящий, круглый глаз его, отражавший желтый

огонь лампы, и по временам ему казалось, что Семенов его не слышит, и Ланде хотелось закричать ему в ухо, позвать, потрясти за плечо с великою скорбью и отчаянием. И с ужасом видел он, что это одинокое страдание остается глухо и замкнуто, как крышка железного гроба, холодного и немого, таящего в себе страшную тайну, ведомую ему одному.

— Вася, ведь я знаю, ты верил!—с мукой говорил Ланде.—Помнишь, как мы были счастливы и светлы, когда говорили о боге, о вечной жизни, о вечной радости!.. Что же ты молчишь, Вася?.. Скажи что-нибудь!

— Слушай, Ланде...—вдруг отозвался Семенов, не поворачивая головы, точно скрывая от него какое-то тайное выражение своего лица, и заговорил не так, как говорил всегда,—не несерьезно и иронически, как взрослый человек с ребенком, а жалким, беспомощным и растерянным голосом, с детскими всхлипывающими звуками.—Я хотел тебе сказать, Ланде... не хочется умирать!

Тоненькая острая тоска плакала и молила в том, что он говорил, и голос его мучительно входил в уши.

— Не хочется, Ланде... Пусть все так, может-быть... и я... только раньше вас прихожу к общей цели... Пусть и бог и все... а... не хочется умирать, Ланде!.. Жаль жизни, жаль тебя, себя, жаль солнца, травы... всего... Может, я больше никогда не увижу... Ланде!

Ланде плакал; крупные слезы текли по его худому, напряженному лицу, и руки бессильно шевелились.

Семенов замолчал. Потом встал, ероша жидкую, светлую бороду, подумал о чем-то и опять сел. Морщинистое лицо его сразу изменилось и стало сухим и желтым.

— Дурак ты, Ланде!—зло усмехаясь, сказал он.—Неужели ты думаешь, что все эти глупости о боге могут иметь какое-нибудь значение, когда и в самом деле приходится умирать?.. Все это очень красиво и приятно думать о бессмертии... необходимо думать, чтобы жить. А когда умираешь и не видишь ни впереди, ни позади никакого бога... не обманешь, да и не-зачем... Не говори ты мне ничего больше!.. Это меня только раздражает!..

Тоненьким и злым голосом крикнул он последнее слово, и нижняя челюсть у него неудержимо запрыгала.

— Вот я страдаю... Можешь поверить, что не на шутку страдаю,—криво усмехаясь, сказал он.—Жизнь уже кончена, все радости, смысл... все... кончено! Осталось одно страдание... кажется, тут уж и нужно бога... Тут страдание уже нелепое!.. А где же твой бог?.. Что же он не приходит?.. Ведь когда я буду в агонии, и ноги у меня будут холодеть... на глазах, на сознании моем будут холодеть... Ты это понимаешь!.. А... я все еще не буду знать, правда ли это, есть ли бог!.. Да на что же мне зна...

Голос Семенова, в нелепо страшном тоне, засвистел и завизжал, вонзился в землю и сорвался. Семенов побледнел, дико вытаращил глаза, весь затрясся, и вдруг мучительный, надорванный и мокрый кашель точно порвал в куски его исказившееся от страха, ненависти и боли лицо.

Ланде подхватил его и поддержал трясущимися руками. Семенов выкатывал прямо ему в лицо огромные, как страдание, глаза и силился что-то сказать.

— Т... так какая же цена твоему богу,—отдышавшись и дико косясь на платок, в котором были мокрота и кровь, проговорил он,—для живого человека? Человек,

значит, узнает его, если он и есть, только тогда, когда все человеческое в нем, все живое кончится... когда человека уже не будет, будет труп, а не человек... Ложись спать... Я лампу потушу...

Ланде ничего больше не ответил: слова Семенова падали, и безвредно, не возмущая, растворялись в чем-то огромном и глубоком, наполнявшем его душу; но слов не было в ответ, и бессилен он был передать чувство свое и веру свою другому, страдавшему от него в двух шагах человеку. И тяжкое чувство беспомощности надавило ему на сердце холодной, смертной тоской.

Семенов остро посмотрел на него и с мучительным наслаждением усмехнулся.

— Знаешь, о чем я думал сегодня, Ланде?—обычным своим тоном заговорил он, тонко кривя рот.— Что все люди—мне братья, а потому действительно придут и дадут мне последнее братское целование... Но только я тебе скажу,—продолжал он с напряженным чувством сдерживаемого возврата бешенства,—что меня если что и утешает, так это только то, что все сдохнут!..

Он лег на кровать, завернулся с головой в одеяло и, маленький, щуплый, как убитый цыпленок, застыл.

Ланде потушил лампу и лег ничком, не раздеваясь, лицом уткнувшись в подушку. В эту ночь он не спал; она прошла для него почти незаметно, как будто он был вне времени. Без сна и покоя думал он о том, что сам не проник и не углубился в свою радостную веру, ибо бессилен передать ее, ибо и сам страдает, хотя и чужим страданием, сам хочет милости, отмены и исцеления, хотя и для другого. Жалость, как молния, прорезала сверху донизу его незыблемую веру в великую правоту и предвечный, необъятный смысл бога. И тогда подумал он в первый раз, что

жизнь слишком сложна, велика и странна для его слабого ума, что среди блеска и треска ее огней он теряет истинный свет, и что только одиночество, сосредоточенное углубление в душу свою дали бы ему снова ясность и крепость в вере, пошатнувшейся в нем от жалости.

Мысль эта, еще смутная и неопределенная, легла ему на душу.

VIII

Всякий раз, когда Марья Николаевна видела Ланде, что-то чистое и кроткое овладевало ею и согревало душу, как ясный и тихий свет утра. Случалось ли ей раздражаться, скучать, смутно и жадно желать чего-то она успокаивалась тотчас же, как только встречала Ланде, с его детскими доверчивыми, добрыми и ясными глазами.

И это чувство доверчивого и ясного спокойствия с особенной силой овладело ею в один ясный и теплый вечер, почти через месяц после приезда Ланде, когда они вдвоем пошли гулять за город.

Сейчас же за последними, крепко придавленными к земле, домами окраины начинались волны сыпучего и белого песку. Солнце заходило где-то сзади, и их длинные тени, неестественно высоко поднимая длинные ноги, шагали впереди, точно указывая им дорогу, как бесконечные черные стрелы. Далеко на буграх, в пустом поле, отчетливо вырисовываясь на синем небе и ярко освещенный низким солнцем, сидел человек.

— Это Молочаев,—сказала Марья Николаевна.

Ясно было видно, как художник что-то делал над маленьким, комично стоявшим на тоненьких, колких ножках белым мольбертиком.

— Нравится вам Молочаев?—спросила Марья Николаевна, и чувство, которое было в ней, радостно ждало именно того спокойного и доброго ответа, какой, как ей казалось, мог давать всегда один Ланде.

Ланде улыбнулся.

— Мне все нравятся...—сказал он.—Все люди, в сущности, одинаковы, и кто любит человека вообще, тот любит всех и каждого...

— Но ведь бывают же люди хуже и лучше?

— Нет, не думаю... Это только так кажется тогда, когда мы начинаем оценивать человека не по хорошим чувствам, которые есть в каждом человеке, каков бы он ни был, а по отношению его к тем фактам, которые с нашей личной точки зрения представляются нам хорошими... Это ведь несправедливо... Надо быть очень уверенным в своей непогрешимости, чтобы так судить!.. Да... У всякого есть любовь, доброта, деликатность, честность, самоотвержение,—все, чем богата душа человека. Только условия жизни людей не одинаковы, и оттого чувства эти направляются не в одну сторону... Но никому не доставляет удовольствия быть так просто, ради чувства, злым, завистливым, жестоким, жадным...

— А мне иногда доставляет удовольствие быть жестокой...—задумчиво возразила Марья Николаевна.

Ланде с ласковой нежностью посмотрел сбоку на ее тонкую, выпуклую фигуру и нежный, прозрачный профиль, всегда казавшийся грустным, каким бы ни было в действительности выражение ее лица.

— Ведь это мучительное, болезненное наслаждение...—сказал он.—А истинной, спокойной и светлой радости от жестокости не испытывает самый закоренелый злодей, если он только не душевно-больной, то-есть уже

не человек. Всякому человеку надо что-нибудь любить, жалеть, для чего-нибудь жертвовать собою; вечно он создает себе бога, ибо бог в душе его. И не его вина, если жизнь направляет его чувство не по настоящему пути... Это все от внешних условий, от того русла, в которое вольется случайно жизнь. Вот и Молочаев... ведь он страстно любит свое искусство, красоту; я знаю, что он пойдет на всякие подвиги и жертвы для него. Значит, есть в нем способность, и даже громадная способность, любить. Другой случай, иной толчок—и его громадная любовь направится в другую сторону, и из этого же, на вид... с нашей точки зрения, узкого, пустого художника выйдет подвижник, человеколюбец... все!

— Вы верите в людей!—тихо сказала Марья Николаевна.

— Верю!—твердо ответил Ланде.

— Что вам дает такую веру?—тихо спросила Марья Николаевна, почему-то стыдясь своего вопроса.

— Вера в бога!—тем же тоном, как бы продолжая, ответил Ланде.—Я верю, чувствую, что дух божий, брошенный богом в хаос для создания себе подобного, проходит сквозь человека навстречу желанию божиему, проходит сквозь ужасную, титаническую творческую муку, проходит, чтобы облегчить великое одиночество божие... Я не могу этого выразить, но я верю в человека, как в начало Будущего... Верю!

Ланде замолчал в сильном волнении, нервно улыбаясь, светя глазами, влажными и блестящими, и ломая худые, слабые пальцы.

Волнение его странно сообщилось девушке.

— А смерть?—со смутной надеждой и тревогой спросила она, отвечая своим мыслям.

— Боитесь ли вы смерти?—спросил вместо ответа Ланде.

— Боюсь!—протяжно ответила Марья Николаевна; услышала свой голос и засмеялась.

И смех ее чисто и звонко отдался в маленьком, молодом бору, к темно-зеленой полосе которого они медленно подходили.

— Нет, не боитесь!—радостно засмеялся и Ланде.— И нельзя бояться самой смерти... Ничто в мире не боится самой смерти, боится только человек и боится не ее, а неизвестности... Страх смерти—это усталость слабого ума, измучившегося в бессильных страданиях преждевременно проникнуть в тайну. А он бы и не вынес ее, несовершенный... Смерти нет... я верю.

Они вошли в смолистый сумрак первых пушистых зеленых елочек. Под ними было темно и казалось, что уже вечер. Иглистые веточки тихо покачивались над зеленой травой у дороги. Какая-то птица неслышно порхнула вниз между корней.

— Вы, значит, верите в загробную жизнь?—с детским, непоследовательным любопытством спросила Марья Николаевна.

— Я только чувствую, что не могу бесследно уничтожиться...—ответил Ланде, не удивляясь ее вопросу.—Но что это будет, я не знаю. Рассуждать и представлять себе человек может только то, что в пределах его настоящего бытия, его теперешнего разума и ощущения. Нельзя представить себе вечную жизнь, ибо это вне нашей телесной жизни: тело не вместит и притянет к себе, умалит до своих размеров... Можно только предчувствовать.

— Я не понимаю...—робко отозвалась девушка.— Если она есть, то это странно...

— Нет, не странно. Что же странного в том, что вы не в силах объяснить себе великого предчувствия, когда даже чувства, заключенные в самом теле нашем, мы не можем объяснить себе?.. Что такое любовь?.. А ведь это не странно вам?

— Любовь?—чутко откликнулась девушка.—Да, любовь!..—тихо повторила она.

— Вечность и бесконечность—самые великие свойства духа божия...—мечтательно говорил Ланде.—Еще так далек человек от воспринятия этих последних тайн... А когда наст...

— Кто это?—испуганно сказала Марья Николаевна и остановилась.

Два человека вышли из-за кустов им навстречу. Их выпуклые, мягко-пестрые фигуры неслышно ступали по сырой земле в зеленом, влажном сумраке бора. Они подходили не торопясь, даже тихо и опустив руки, но было в них что-то особое, тревожное и страшное, как скрытая угроза. Ланде спокойно поднял голову и посмотрел на них.

— Ткачев!—громко и удивленно сказал он.

Не доходя нескольких шагов, люди остановились и исподлобья оглянулись назад и кругом. И это беспокойное оглядывание в ясном и тихом сумраке было неестественно и страшно.

— Бежим!—с ужасом шепнула Марья Николаевна над ухом Ланде.

Он не узнал ее голоса, приниженного и сухого, и с удивлением оглянулся на нее.

Ткачев, черный и сухой, в рваном пиджаке поверх рубахи, остался на месте; а другой, неизвестный, ловкими босыми ногами легко подошел к ним, и Марье Николаевне на всю жизнь почему-то ярко и страшно

врезались в глаза его босые, далеко расставленные пальцы, между которыми попадали иголки нежно-зеленой травы.

— Не будет ли на косушку?—развязно и хрипло сказал человек, протягивая большую руку.

Марья Николаевна судорожно ухватилась за локоть Ланде и прижалась к нему. Ткачев не шевелился.

— Ну?—угрожающе повторил босой.

Ланде с трудом достал свободной рукой кошелек.

— Нате...—печально и серьезно глядя в глаза босому, сказал он.

Ткачев издали язвительно улыбнулся.

— Что мало?—быстро спрятав куда-то кошелек, торопливо спросил босой.—Давай спинджак... Живо!.. Барышня, вы бы отошли... Нехорошо!—издеваясь, прибавил он.

Марья Николаевна, широко раскрыв на него глаза и вся дрожа, в пол-оборота стояла на дороге. Ланде опять печально улыбнулся, снял пиджак, и в одной старой рубахе, со складочками на груди, плохо заглаженными, стал худее и слабее.

— Портки хороши больно...—беспокойно оглядываясь и встряхивая пиджак перед самым носом, проговорил босой.—Снимай, что ли!..

— А вам они нужны?—спокойно возразил Ланде, но сейчас же сел на траву.—Уйдите, Марья Николаевна...—сказал он.—Бог с ними...

И вдруг Марья Николаевна почувствала прилив нервного, сумасшедшего смеха. Точно кто-то шутя, но сильно сдавил ее за горло: так было дико и страшно, но в то же время смешно. Полураздетый Ланде с серьезным и мягким лицом сидел на траве, а босой тянул его за ногу. Ткачев пошевелился и издал какой-то

странный, хриплый звук, на который никто не оглянулся, подернул плечом, точно ему стало холодно, и опять застыл, пристально глядя на Ланде.

— Идите, Марья Николаевна!..—повторил Ланде.

— Э... барышня! Постой-ка!—спохватился босой.— Это что?..—и он протянул руку к ее груди, на которой качалась длинная цепочка часов.

Ужасное, омерзительно-грубое почудилось девушке в этом движении. Изогнувшись, как змея, она скользнула в сторону и вдруг, подобрав высоко и дико-красиво платье, стремглав бросилась бежать по дороге, точно резкий ветер внезапно подхватил и понес большой белый разбитый цветок.

— Куда?—коротко крикнул босой и, бросив пиджак прямо на голову Ланде, прыгнул мимо него ловко и легко, как хищный лесной зверь.

И в тот же миг дикий, тонкий и острый, как игла, женский крик пронизал бор и высоко вонзился в потемневшее небо.

Крик этот услыхал подходивший за поворотом Молочаев. И так же быстро-инстинктивно, как всегда и во всем, соображая, он бросил ящик и мольберт и с места рванулся бежать. Босой увидел его прежде всех. С размаху остановившись и поскользнувшись в траве, он пригнулся к земле, с секунду смотрел на Молочаева круглыми, дикими зрачками и вдруг бросился прочь по кустам, с треском и шумом. Марья Николаевна налетела на дерево и, больно ударившись всем телом, остановилась, с разбившимися волосами и безумными глазами, не понимая, что с ней. Мимо, тяжело сопя, торопливыми скачками пробежал Молочаев и, минуя Ланде, который поднялся и, весь белый, тоненький и слабый, стоял на траве у края дороги, налетел на

Ткачева. Ткачев видел его еще издали, и одно мгновение показалось, что он побежит; но он не побежал, а только съежился и, черный и упрямый, стоял и ждал подбегавшего Молочаева. Он стучал зубами, и его темные глаза с опущенными веками горели мрачным и упорным огнем. Молочаев молча подбежал к нему и, прежде чем Ткачев пошевелился, размашисто вскинул кулаком и со страшной силой ударил его прямо в лицо. Ткачев тихо, испуганно охнул, взмахнул руками; шапка у него соскочила, прыгнув по спине, и он грузно и твердо сел. Другой удар пришелся сверху, по голове, и Ткачев, свернувшись на бок, странно и неуклюже свалился на дорогу, ударившись головой о землю.

— Молочаев, Молочаев!— пронзительно вскрикнул Ланде и, как был в одном белье, бросился к ним и ухватился за руку Молочаева.—Оставьте!

Марья Николаевна, с ужасом прижавшись к сосне, издали смотрела на них.

Молочаев, тяжело дыша, весь красный и возбужденный, опустил руки, а Ланде торопливо стал на колени и старался поднять Ткачева. Побитый не шевелился, и голова его на длинной и тонкой шее беспомощно ерзала по земле.

— Вы его убили!—с ужасом пробормотал Ланде.

— Ну... так ему и надо!—жестко ответил Молочаев.

Но Ткачев вдруг быстро поднялся на руки и встал. По лицу его текла густая кровь, на виске прилипла земля, и вся левая сторона лица и нос были страшного грязно-кровавого цвета.

— Ожил!.. Будет знать в другой раз!—безжалостно и возбужденно сказал Молочаев. Руки у него

вздрагивали и сжимались, точно ему хотелось еще бить и рвать.

Ланде его не слушал; он достал из кармана лежавших на траве брюк носовой платок и совал его Ткачеву.

— Вытрите... кровь... Ах, боже мой, что это такое!— бессвязно, с бесконечным ужасом и болью бормотал он.

Ткачев не двигался и платка не брал. Один глаз у него запух, а другой глядел одиноко и страшно. Кровь капала с подбородка и разбитой губы на засаленный отворот пиджака.

— Да что с ним разговаривать еще!..—в то же время говорил Молочаев.—Вот я его сведу куда следует, так... Эй, ты! Иди-ка, ну!—И Молочаев грубо схватил Ткачева за шиворот и дернул так, что тот уродливо и бессильно шагнул два раза вперед и поскользнулся.

— Да оставьте же!—пронзительно и гневно крикнул Ланде и всем своим слабым телом бросился на руку Молочаева.

Молочаев с удивлением и злостью посмотрел на него.

— А вы какого чорта дурака разыгрываете?!—вспылил он, но вдруг неожиданно опустил руку, молча поглядел на раздетого Ланде, прыснул и раскатисто захохотал. Марья Николаевна, сама не замечавшая, как подошла к ним, с удивлением взглянула на Молочаева, потом на Ланде, опомнилась, покраснела до ушей и, быстро отвернувшись, пошла прочь по дороге.

— Ах, вы, шут гороховый!—проговорил сквозь смех Молочаев.

Вдруг черная, кровавая маска Ткачева исказилась, и он хрипло и злобно засмеялся, брызгая кровью. И этот смех избитого был уродлив и страшен. Ланде

смотрел на них и улыбался спокойно и печально, как всегда.

— Да одевайтесь вы, чорт вас побери!—крикнул Молочаев, махнул рукой и пошел вслед за девушкой.

Ланде не обратил на него никакого внимания, точно Молочаева тут и не было.

Ткачев перестал смеяться, одним глазом посмотрел на Ланде, потом вслед Молочаеву, повернулся и медленно пошел.

— Ткачев!—крикнул Ланде.

Ткачев остановился и встал в пол-оборота. Ланде подошел.

— Ткачев,—умоляюще заговорил он, дотрогиваясь до его рукава,—вы нарочно это устроили: я по вашим глазам видел!.. Зачем это, Ткачев, зачем?

Ткачев тяжело и хмуро взглянул на него, точно не слыша и думая о другом.

— Видал ты настоящего человека?—хрипло спросил он.—Вон, смотри!..—дернул он худой и длинной шеей в сторону Молочаева.—Это человек... сила!.. А ты... так, мразь одна! Так, ни к чему ты!

— Может-быть,—согласился Ланде,—но только все-таки за что же вы меня ненавидите? Неужели только за то, что я хуже его?

Ткачев уныло помолчал, глядя в сторону.

— А за то, что я сколько лет в тебя верил. Сам вот до чего дошел...—горько ткнул он себя в разбитую щеку,—и вижу теперь, что дурак был, сладкой брехне верил... А жизнь-то где? И прошла... Мне теперь, может, человеком быть, а я... Ты-то понимаешь теперь?.. Ты?.. А ему... а ему я это отплачу-у!..—вдруг прибавил он и с бессильной злобой потряс черным кулаком.—Сам пропаду, а ему я это попомню!.. Подожди-и!

Ткачев быстро повернулся и пошел прочь. Ланде показалось, что он хрипло и тихо залаял; но больше Ткачев не обернулся и скоро затерялся в зеленом сумраке бора. Ланде долго смотрел ему вслед, потом с глубоким и растерянным отчаянием заломил руки, вздохнул и, одевшись, медленно повернулся догонять Марью Николаевну и Молочаева.

«Теперь он в ожесточении, а когда успокоится, я найду его...»—смутно мелькало в голове Ланде.

— Вот здесь я ваш крик услыхал!—оживленно рассказывает художник, подымая с дороги ящик и мольберт.—Я ведь вас давно заметил и хотел догнать, да уронил шпахтель и долго искал... Ну, слава богу, все-таки поспел во-время.

Марья Николаевна чуть-чуть оглянулась, почувствовав Ланде. Он улыбнулся ей доверчиво и ласково, но она быстро отвернулась, подавляя припадок все еще нервного смеха. В эту минуту Ланде казался ей только жалок и смешон.

Молочаев тоже посмотрел на него и с злорадным презрением сказал:

— Эх, вы!.. Герой!..

— Я не герой...—махнул рукой Ланде с редкой для него досадой.

— Оно и видно!—злорадно скривился Молочаев.

И всю дорогу, до самого дома он грубо и жестоко острил над Ланде и с хвастливым удовольствием рассказывал о своей страшной физической силе. Ланде печально улыбался, а Марья Николаевна искоса поглядывала на Молочаева со странным чувством физического любопытства, и ее тонкие, прозрачные, как у породистой лошади, ноздри чуть-чуть раздувались. Ей было и интересно и немного противно.

IX

Было уже темно, и луна еще не всходила, когда Ланде подходил к дому. Думал он все о Ткачеве, и думы его были упорны и мучительны.

«Когда он смеялся надо мной, он страдал больше, чем я сам; это я видел... Это—ужас, но кто в нем виноват: он, я... или кто-то вне нас?.. Я не знаю... Надо бороться, но как бороться, когда я не понимаю даже, откуда это?..»

Было темно. Ланде шел, упорно глядя невидящими глазами в темную землю, медленно уходившую из-под его ног назад.

— Па-а!..—отчаянно, с болезненной мольбой закричал где-то поблизости ребенок, и вся тихая, пустынная и темная улица вдруг вспыхнула и ожила дикими, безобразными звуками.

— Папа... не буду... папочка!—беспомощно кричал и как будто рвался ребенок.

— Не будешь?.. Не будешь?.. Не будешь?—методично, все повышая и напирая на звук, скрипел отрывистый и какой-то сухой бас. И чудилось, что в коротких промежутках между обрывками слов делается что-то безобразное и страшное.

Кто-то стоял под окном флигеля и чутко прислушивался. Тоненькая, бледная тень девочки, с белым личиком и большими, блестящими жутким чувством глазами, колебалась в сумраке странно и неясно.

— Это вы, Соня?—смутно узнавая сестру Семенова и хватая ее за худенькую руку, спросил Ланде.—Что это такое?..

— Слышите, он его убьет!—отозвалась она странным полудетским, полуженским голосом и с движением

жестокого и дикого любопытства вытянула шею к окну.

Ланде, с трудом оторвавшийся от своих дум, вдруг понял, охнул, опрометью, стукнувшись коленом о невидимый в темноте тротуарный столбик, вбежал во двор, вскочил на крыльцо и толкнул дверь в комнату.

Там горела лампа, большая и светлая, отражаясь снопом золотых искр в кучке образов, нагроможденных в углу до самого потолка. А посреди комнаты, лицом к двери, страшно и как-то сладострастно согнувшись, стоял Фирсов, в одном форменном жилете, с мелкими блестящими пуговицами, и равномерно, подергивая, стегал длинным тонким ремешком по покрасневшему маленькому телу, которое было крепко зажато между его длинными, костлявыми коленями в серых штанах.

— Не будешь! Не будешь!—режущим голосом, стиснув зубы, повторял он, и в каждом промежутке меж слов хлестко и с наслаждением стегал ремнем, прорезывавшим синими полосами нежно-розовое, округленное мягкое тело.

Что-то холодное и туманное ударило в голову Ланде, и прежде чем он успел сообразить, что делать, почти в бешенстве бросился к Фирсову, схватил тонкую, жилистую руку и изо всей силы толкнул его в грудь. Фирсов дрыгнул поскользнувшимися ногами, уронил ремень и ребенка и ухватился за стол... Что-то зазвенело и разбилось об пол.

— Это еще что такое! Вам что надо?—заревел он, сжимая кулаками.

Ланде прижал к себе навзрыд плачущего ребенка и смотрел ему навстречу огромными гневными глазами.

— Фирсов, опомнитесь!—дрожащими губами, но с странной неотвратимой силой выговорил он.

С минуту Фирсов безумно смотрел ему в глаза, точно не узнавая, а потом вдруг густо покраснел, и мрачный и дикий огонь, горевший в его круглых глазах, сразу потух. Он судорожно провел рукой по голове и пробормотал:

— Ах, это вы, Иван Ферапонтович!.. Извините... я...

— Опять, Фирсов, опять!—с напряженным укором сказал Ланде.—Как вам не стыдно, как вам не грех!

Он отвернулся и легонько толкнул ребенка к Соне, молча стоявшей в дверях.

Желтое длинное лицо Фирсова сделалось медным.

— Позвольте, Иван Ферапонтович...—хрипло заговорил он.—Вы не знаете... я не без причины...

— Какая может быть причина!—с тою же силой и гневным презрением крикнул Ланде.—Никакая причина не может оправдать этого ужаса!

Фирсов вдруг ступил к нему и поднял костлявую дрожащую руку.

— Нет есть!—как-то оскалив желтые корешки съеденных зубов и опять выкатив глаза, крикнул он.—Знаете, что он, пащенок, сделал? Знаете?—с нарастающим торжеством выкрикивал он.

— Что?

— А, «что»!.. Вот, полюбуйтесь!—с злобным торжеством отступил в сторону Фирсов и, вытянув длинный палец, ткнул им в образа.

Ланде недоуменно посмотрел и увидел сначала только ящик с красками, кисточку и стакан с грязной, зеленой водой.

— Что?—повторил он.

— А вот!—с тем же торжеством повторил Фирсов и дернул Ланде за руку к образам.

Тогда Ланде разобрал, что две напечатанные на бумаге сцены из священного писания грубо и нелепо раскрашены детскими красками, и к женским лицам пририсованы усы и бороды.

— А!—равнодушно сказал Ланде.

Ребенок тихо всхлипнул.

— Не плачь... Мы не дадим больше...—как-то машинально сказала Соня, не спуская глаз с Ланде.

— Да ведь это же ребенок, Фирсов!—беря его за руку и стараясь успокоить, говорил Ланде.

— Я знаю, что ребенок!—запальчиво и тяжело дыша, вздернул головой Фирсов.—Если бы это не ребенок, я, может, убил бы его.

— Что вы говорите!—с удивлением сказал Ланде, махнув рукой.

— Да... убил бы, убил!—стуча по столу костяшками пальцев, упрямо крикнул Фирсов.

— Оставьте, Фирсов,—властно приказал Ланде, беря его за руку и оглядываясь на Соню.—Оставьте,—из-за такого пустяка!..

Фирсов быстро выпрямился, как будто ждал именно этих слов.

— Пустяка-а?—неестественно растягивая слова, повторил он.

— Да разве можно придавать этому серьезное значение? Неужели вы не понимаете, что в бесконечное число раз больше грешите, чем бедный мальчуган?—убедительно и печально сказал Ланде.

— А!.. По-вашему, это пустяк? Так...—начал Фирсов, и вдруг, точно нарочно пришпоривая себя, тем же фальшиво-бешеным голосом закричал: — Пустяк? — и пронзительно завизжал и затопал ногами.—Вон, вон отсюда!.. Богохул, дьявол! Вон, чтоб духу твоего!..

— Фирсов,—удивленно проговорил Ланде,—что с вами?

— Вон!—нарочно не слушая, брызгая и топоча ногами и оттого в самом деле впадая в бешенство, кричал Фирсов.

Во второй раз в жизни Ланде показалось, что это кричит не человек, а кто-то хитрый и злой внутри его. Ему стало страшно и противно, и чувство это было так непривычно и мучительно для него, что он поскорее отвернулся и отступил.

— Я уйду...—поспешно сказал он.—Вы теперь какой-то странный... Лучше я завтра приду... Только я и Сережу возьму с собой, а то вы...

Фирсов задохнулся, вытаращил глаза и замолчал.

Ланде повернулся к Соне.

— Возьмем его к себе, Соня!—сказал он.

Соня вскинула на него глазами, молча кивнула головой, с усилием, сморщившись, подняла толстого заплаканного мальчика и отошла к двери.

— Мы уходим, Фирсов, и Сережу берем...—повторил Ланде.

— Скатертью дорога!—хрипло проговорил Фирсов, длинный и всклокоченный, точно прилипнув в углу около образов.

— Мы берем его только потому, что вы раздражены очень,—примиряюще говорил Ланде.

— Ладно! Ладно!—злорадно кивал головой Фирсов.—А назад приведете... тогда увидим!

Ланде с секунду стоял неподвижно, жутко и скорбно глядя прямо в глаза Фирсову. Но Фирсов отворачивался и бегал глазами по иконам, по полу, по сторонам.

— Да что же это с вами?—горько воскликнул Ланде.—Никогда вы таким со мной не были.

— Ладно, ладно!—бормотал Фирсов.—А вы и вообразили о себе... Не думайте!.. Есть и почище вас, хотя, конечно, не лезут вперед... как иные! Да-с, а... этому пащенку я покажу, как...

— Да ведь это прежде всего—сын ваш!—ударил себя кулаком в грудь Ланде.

— Не вам меня обязанностям к сыну учить!—опять дико огрызнулся Фирсов.—Понимаете?.. Не вам и не меня!.. Господь видит, где истинное!.. Сын,—я знаю, что сын!.. Нет у меня сына прежде бога моего!—вдруг повернувшись, опять крикнул он.—Вот...

Он не мог договорить и только судорожно стал цепляться за иконы, что-то роняя на пол и нелепо бормоча:

— Все здесь... все... вот!..

Ланде посмотрел на Фирсова недоумело, тяжело пожал плечами и пошел из комнаты.

— Я лучше уйду теперь... вас мое присутствие раздражает, должно-быть...—сокрушенно и мягко проговорил он.

Соня стояла у крыльца с ребенком на руках.

— Пойдемте, больше с ним говорить нельзя... Он какой-то сумасшедший сегодня!—сказал Ланде.

Он взял ребенка к себе на руки и понес, нежно прижав к щеке пухлую детскую щечку. Соня шла сзади и, машинально вытирая мокрую руку, смотрела в затылок Ланде каким-то неестественно-восторженным взглядом.

X

На другой день Фирсов, в сюртуке и высоком воротничке, сухой и прямой, как палка, вошел в комнату Семенова. Ланде, одетый, сидел у окна и, склонив

голову набок, усердно, немного детским, аккуратным почерком переписывал большую рукопись, которую достал ему для переписки Семенов. Больной студент еще лежал на кровати и курил.

— А, Фирсов!—радостно вскрикнул Ланде, подымаясь ему навстречу и роняя кляксу на чисто переписанный лист. Семенов издали посмотрел на эту кляксу и ничего не сказал.

Фирсов устремил на Ланде оловянный взгляд и не подал руки.

— Я пришел за сыном!—сухо, неестественно-официально сказал он.

— Сережа давно уже в сад убежал...

— Соня его гулять повела...—отозвался Семенов безучастным тоном.

— Благодарю вас!—так же неестественно поклонился в его сторону Фирсов.—А засим извините...

И он повернулся.

— Что это значит, Фирсов?—с огорчением спросил Ланде.

— Ничего-с!—с каким-то проворным удовольствием пожал плечами Фирсов.

— Да будет вам!—болезненно морщась от его тона, возразил Ланде, подходя.

— Ломается, как дурак!—сердито отозвался Семенов.

Фирсов быстро повернулся к нему и из сухого, как палка, стал вдруг гибким, как змея.

— Не знаю, кто дурак!—язвительно и уязвленно ответил он.—Но раз уже так... извольте, я объяснюсь...

Он быстро положил палку и фуражку на стул и так же быстро и порывисто сел рядом.

— Очень нужно!—фыркнул Семенов.—Шут гороховый!

— Оставь, Вася!—сказал Ланде просительно.

Фирсов притворился, что не слышит, и повернулся к Ланде в упор.

— Я принужден начать несколько издалека...—витиевато, с явным внутренним упоением приготовленной речью заговорил он.—Вы... Иван Ферапонтович, имели на меня когда-то огромное влияние, признаюсь... да, чистосердечно признаюсь... Что ж, я все-таки могу сказать, что мы были даже друзьями...

На сухих, дряблых щеках Фирсова выступил кирпичный румянец, и на одну секунду казалось, что он запнулся, как будто боясь, чтобы Ланде не отверг этого.

— Я всегда был расположен к вам, Фирсов...—с ласковым чувством отозвался Ланде.

Что-то похожее на тайное несознаваемо-унизительное удовлетворение мелькнуло в глазах Фирсова, а потом он сейчас же стал груб и дерзок.

— Вы обольстили меня внешностью своих поступков, в истинном смысле которых я не мог тогда по молодости разобраться...

— Я ведь вас знаю, кажется, уже пожилым человеком...—наивно перебил Ланде, чрезвычайно заинтересованный.

Фирсов опять покраснел бледным, кирпичным румянцем.

— Да-с... Конечно, я... Я хотел сказать, что когда вы, еще юношей, посещали бедных и больных, раздавали все... и тому подобное,—я возомнил, что вижу истинного христианина... и ваши беседы меня в том укрепляли... И я чувствовал к вам большую приязнь. Я и теперь сознаюсь в этом... Увлекая своим

красноречием доверчивую молодежь, вы становились, так сказать, центром... и... и кумиром многих. Даже я, человек, без гордости скажу, твердый и твердых убеждений, долго не мог увидать истинного смысла ваших речей и поступков...

— А какой же смысл, по-вашему, был?—с интересом спросил Ланде.

— Вы сами знаете, какой...—слегка останавливая его поднятыми пальцами, позразил Фирсов, с хитрым и острым взглядом.

— Ну, все-таки?..

— А вот-с какой... если вы непременно этого желаете... Не принимая никакого участия в службах церковных, как бы хотели подчеркнуть и... и оттенить, что истинная христианская религия вне церкви... Да-с! И многих увлекали так, что многие перестали бывать в церкви и даже впадали в критику догматов!.. Многие, но не я... Вам это, конечно, очень было не по нутру, но я вам не мальчишка-студент, и не вам меня совратить. Скорее я вас направлю на путь истинный!..

— О, господи!—страдальчески вздохнул Ланде.—Что вы только наговорили, Фирсов!..

Семенов со сдержанным раздражением тяжело ворошился на кровати.

— Да-с, да-с!—торжествующе, упрямо повторил Фирсов.—Не меня-с!

— И опять-таки я не понимаю, к чему все это?—развел руками Ланде.

— А вот к чему!—громко и грубо сказал Фирсов, и темно-серые баки его встопорщились. Было очевидно, что он запутался и страдал, сознавая это, в уязвленной гордости. — Позвольте вас, наконец, прямо спросить: христианин вы или нет?

Семенов фыркнул.

— Я, право, не знаю... и лучше мы в другой раз поговорим...—мягко, страдая за Фирсова, пытался заговорить Ланде.

— Так-с!..—сухо и коротко рубя слова и как бы подхваченный какою-то силой, продолжал Фирсов.—Верите ли вы в православную церковь?

Ланде волновался и двигался по комнате.

— Что за вопрос, Фирсов?.. К чему это?.. Впрочем, если вам это нужно, в церковь я совсем не верю, это само...

— Так-с!—перебил Фирсов, вставая и с узким торжеством потирая руки.—Этот разговор и многое другое в связи с вашим отречением от матери...

Ланде широко раскрыл глаза.

— Это неправда, я никогда не отрекался от мамы... а только я решил жить отдельно от нее, потому что...

— Да охота тебе с этой дрянью говорить!—вдруг сердито крикнул Семенов и сел на кровати, взъерошенный и желтый.—С какой стати ты позволяешь всякой сволочи копаться в своей душе!

— Пони-ма-аю!..—сквозь зубы, так же фальшиво, сдержанно сказал Фирсов и опасливо потянул фуражку.—Больше мне нечего спрашивать, хотя я и хотел сказать еще что-то... что, может-быть,—прибавил он с потупленной гордой скромностью,—может-быть, принесло бы вам некоторую пользу... Но раз так... Довольно!.. Теперь я знаю, что мне делать... и будьте уверены, что я поступлю, как повелевают мне долг и совесть!.. Да-с...

И Фирсов торжествующе поднялся.

— Ах, ты, старая скотина!—с бешенством крикнул Семенов, хотел вскочить, но страшно, хрипло

закашлялся и упал лицом в подушку, обливаясь холодным потом. Тонкая босая нога, высунувшаяся из-под одеяла, судорожно дергалась от усилий.

Фирсов, злорадно оскалив зубы, посмотрел на него.

— Так-то-с!—торжествующе протянул он и повернулся опять к Ланде.

— А вам я вот еще скажу: все ваши поступки—только ложь и притворство... Истинную веру вы не понимаете, а, может, люди, которых вы воображаете нижестоящими... А вы слуга антихриста и...

— Убирайся к чорту!—в исступлении завопил Семенов, и больной, напряженный голос его хлестко разрезал воздух.—Вон отсюда!..

Фирсов гордо посмотрел на него, надел фуражку и отворил дверь.

— Дохлая собака!—с бесконечной ненавистью и злорадством процедил он за дверью.—Молчал бы, коли уж бог убил!.. Туда же!..

Ланде, бледный и растерянный, стоял посреди комнаты и беспомощно улыбался. Семенов посмотрел на него и, как будто стыдясь своего взрыва, все еще дрожа и задыхаясь, стал одеваться.

Ланде всплеснул руками и схватился за голову.

— Господи!.. Сколько ненависти и злобы, за что?.. Разве я...

Семенов, не глядя, тихо отозвался:

— Охота тебе обращать внимание...

Но Ланде, не слушая его и чувствуя только одну неодолимую потребность сейчас, немедля потушить те ненависть и злобу, которые вспыхнули возле него, как ему казалось, по его вине, потому что он не сумел их предупредить, и которые нестерпимо жгли его сердце,—вдруг повернулся и опрометью бросился из комнаты.

— Куда ты?—испуганно крикнул Семенов, пугаясь того ненужного и унизительного, по его убеждению, что, подумал он, хочет сделать Ланде.

— Я сейчас...—пробормотал Ланде, сбежал с крыльца и побежал к флигелю Фирсова. Дверь была заперта и твердо оттолкнула Ланде.

— Фирсов!.. Отоприте!..—прокричал Ланде, хватаясь за ручку двери.

За дверью ничего не было слышно, кроме тупого, торжествующего молчания, и чудилось, что кто-то злорадно затаился тут, сейчас же за дверью, затаился и молчал, наслаждаясь. Ланде вертел и дергал ручку двери.

— Фирсов!.. Это ошибка! Отворите! Я все вам объясню... Отоприте!

Фирсов не отзывался. Ланде печальными глазами посмотрел вокруг, закусил губу,чтобы не выразить страдания, и отошел.

Из садика вышла и подошла к нему тоненькая, стройная Соня, прикрывшаяся от солнца прозрачной белой косынкой, из-под которой смотрели пытливо и сумрачно большие глаза.

— Ваня,—строго и серьезно сказала она,—уйдите отсюда, вы себя унижаете.

— Сонечка,—серьезно возразила Ланде,—но разве можно это так оставить? Ведь это ужасно, нелепо... Зачем, к чему такая злоба?

— Он—подлец, дрянь, ничтожество!—убежденно сказала Соня.—Он вас давно ненавидит за то, что вы лучше его...

— Ах, какие вы глупости говорите, Соня!—махнул рукой Ланде.

— Это правда!—настойчиво крикнула Соня и сдернула с головы косынку.

— Ну, пусть... Не в том дело, Соня, кто лучше, кто хуже... Не это важно.

На крыльцо вышел Семенов, полуодетый, нечесаный и желтый, как шафран.

— Ланде,—крикнул он сурово,—иди сюда, сейчас! А то я тебя побью, ей-богу!..

В голосе его ясно слышались любовь и жалость и какое-то светлое удивление.

XI

Вечером во флигеле Фирсова горел огонь, и при его мертвом, неподвижно-желтом свете Фирсов сидел, прямо и неудобно, перед столом и писал донос на Ланде архиерею. Перо скребло по бумаге, как грызущая мышь; было душно, жарко и от спертого воздуха и от тяжелой злобы, наполнявшей уязвленную душу Фирсова.

За окном светил белый месяц и легко дышала прохладная, чистая, голубая ночь. На бульваре можно было читать при лунном свете, и все казалось прозрачно-глубоким и чистым, точно покрытое зеленовато-синей эмалью. Гуляли люди, и их черные тени легко и резко ложились на гладкой земле.

Ланде и Семенов, один—в своей старой тужурке, другой—в застегнутом на все пуговицы студенческом пальто, прошли в общей толпе и сели на скамейку над обрывом.

— А я тебе говорю,—сказал Семенов, решительно размахивая палкой,—что люди уже достаточно намучились в исканиях какого-то счастья, и давно пора им плюнуть и разойтись...

— Нет,—печально, но твердо возразил Ланде,—это отчаяние, а отчаяние—грех, потому что оно обозначает

упадок духа. Мы не знаем воли бога, а потому и не можем самовольно выйти из нее. Так или иначе, а мы сотворим волю пославшего нас, и я думаю, что не отчаиваться, не озлобляться надо, а думать о том, чтобы как можно лучше выполнить то, чего мы не можем не выполнить, жизнь!—вот самое лучшее для человека...

Семенов пренебрежительно махнул палкой, и его черная тень повторила его движение.

— А кто нам скажет, как лучше выполнить?

— Сердце,—убежденно ответил Ланде,—совесть.

— Ну, брат, совесть у людей бывает разная...

— Об этом не надо думать, Вася... Никто нас и не призывает к тому, чтобы оценивать и сравнивать совести: каждому человеку надо думать только о своей... Это гордость, Вася... непременно сейчас же оценивать и выяснять, даже приговор постановлять надо всем. Надо только, чтобы всякий человек искренно считал себя правым во всех делах своих.

— Все это прекрасно...—возразил Семенов и усмехнулся.—Да толку от этого мало... Так-то!

К ним подошли, ярко вырезанные лунным светом на темном фоне домов и деревьев, Шишмарев, Молочаев, Марья Николаевна и Соня, прижавшаяся к ней с тем восторгом и влюбленностью, с которой девочки всегда относятся ко взрослой, красивой и смелой девушке.

Марья Николаевна нерешительно и неловко пожала руку Ланде и невольно улыбнулась, вспомнив его фигуру в вечер нападения. Она отвернулась к обрыву и обняла Соню мягкой, полной рукой. Молочаев стал на обрыве, окованный холодным серебром лунного света, красивый и большой; а маленький Шишмарев торопливо обратился к Ланде.

— Слушай, Ваня, это чорт знает что такое!—резким голосом, нервно двигая руками и потирая их, заговорил он.—Неужели ты окончательно не умеешь разбирать людей? Ведь этот Фирсов—дрянь известная, ханжа, доносчик, член русского собрания, а ты с ним возишься... Мне Соня рассказывала, что ты у него чуть ли не прощения вымаливал...

— Он не такой дурной человек...—тихо ответил Ланде.

— Да ведь он гадости делает на каждом шагу!

— Он не понимает, что делает, и как вредит этим себе самому. Если бы понимал, не стал бы этого делать... Надо объяснить ему, больше жалеть его,—он поймет...

— Тьфу!—плюнул Семенов.

Шишмарев с молчаливым недоумением воззрился на Ланде.

— Не сердись, милый!..—кротко сказал Ланде Семенову.—Я тебя все раздражаю, а я, право...

— Если хочешь знать,—резко и пылко заговорил Шишмарев, перебивая,—так такая любовь просто бессмысленна... Любить надо того, кто достоин любви или хоть жалости; а кто достоин одного презрения, того надо презирать и уничтожать, как уничтожают болезнетворные начала, для того, чтобы очистить и оздоровить воздух, которым дышат все. Эта знаменитая любовь к ближним, безразличная, бессмысленная любовь, повела к тому, что культивируется и поддерживается масса безусловно обреченного на уничтожение, вредного, злого!

— Есть ммного людей, для которых ты и я—вредные люди... Я не верю, чтобы между людьми были вредные...

— Ты не можешь в это не верить!—вспыльчиво возразил Шишмарев, одергивая рукава короткой тужурки.

Тоненькая Соня напряженно вздохнула и опять затаилась, не спуская глаз с Ланде.

— Нет, не верю!—покачал головой Ланде.—Если и есть злые люди, то они не вредные люди. Не будь их зла, не могли бы проявиться и вырасти самые лучшие и святые стороны человеческого духа: самоотвержение, прощение, самопожертвование, чистая любовь... то, что должно было явиться и без чего жизнь была бы бессмысленным существованием.

— Благодарю покорно!—с раздражением возразил Шишмарев.—Значит, и зловоние полезно, потому что дает почувствовать свежий воздух?

— Может-быть...—улыбнулся Ланде.—Только это совсем не то... и не так просто: человек слишком сложнее, сильнее и прекраснее, чтобы к нему можно было прилагать такие мерки, которые годны для навоза.

— О, господи... Он еще каламбурит!—с комическим ужасом засмеялся Семенов.

— Я... не каламбурю; это так, случайно вышло,—наивно растерялся Ланде.

— Милый Ваня!..—тихо шепнула Марье Николаевне Соня и вся расцвела не свойственной ее всегда экзальтированному лицу светлой улыбкой.

Марья Николаевна свободно вздохнула. То смешное и жалкое, что она видела в Ланде в последнее время и что было бессознательно, страшно тяжело ей,—в этот вечер все отступало и отступало от сердца и вдруг ушло куда-то. И выступило тихое и легкое, радостно-нежное чувство. Она повернула голову к Ланде, посмотрела на его худое, бледное от луны и напряженной думы лицо и сказала себе:

«Это все правда, что он говорит! Одному ему здесь понятна правда!.. Этого нельзя объяснить словами, но это правда... Милый, славный!»

Она покраснела, отвернулась и крепко прижала Соню к себе.

— И когда вам, господа, надоест спорить?—с самоуверенной небрежностью отозвался Молочаев.—Этак вы всю жизнь проспорите... Пойдемте лучше на лодке кататься... Пусть себе каждый живет, как ему вздумается!..

— Святую истину глаголете!—отозвался Семенов и махнул рукой.—Только, именно в силу вашего справедливого замечания, я на лодке не поеду, а пойду спать.

— И я не могу,—сказал Шишмарев,—надо кое-что почитать.

Ланде улыбнулся.

— Вы поедете одни, Марья Николаевна, ибо я тоже иду... Мне нездоровится что-то.

Они ушли.

Когда лодка выехала на середину реки, стало как-то особенно светло и просторно и легко дышать. Соня неподвижно сидела на дне лодки и оттуда смотрела, не отрываясь, на луну.

Вода около лодки казалась черною, тяжелою и бездонною; в темной глубине таился холодный ужас. Марья Николаевна наклонилась через борт, и ей в лицо пахнуло холодным и хищным дыханием глубины. Смутно отразилось ее лицо, казавшееся там бледным и мертвым.

— Ух, страшно!—сказала она, откидываясь.

Молочаев тряхнул головой, засмеялся и запел. Голос, казалось, с вызовом ударился о гладкую, мрачную поверхность и отдался где-то далеко на просторе.

— Пароход...—тихо сказала Соня.

Они оглянулись и совсем близко от себя увидели что-то огромное, тяжелое, черное, как бы выросшее из мрака. Черный дым валил колоссальным подавляющим столбом, пачкая небо и звезды. Красный огонь зорко и хищно смотрел на них.

Слышно было уже, как мрачно и зло бурлила вода.

Резкий, медный свист пронизал воздух, наполняя небо, воду, все вокруг и, казалось, даже внутри, и в ту же минуту огромная тень закрыла от них луну, все покрыла мраком, ударила тяжелой и холодной волной и окутала удушливым дымом, смешанным с брызгами и волнами взбаламученной глубины. Лодку бросило, ударило, накренило в какую-то страшную влажную бездну, и одну минуту казалось, что они тонут. Но в то же время тень пролетела, луна выскочила и опять остановилась, светло и неподвижно, над водой, теперь крутившейся и сверкавшей в диком веселье.

— Хорошо!—с восторгом крикнул Молочаев.

— Хорошо!—звонко отозвалась Марья Николаевна, прижала руки к груди и, сверкая молодостью и свежей силой, прибавила:—Сердце так и упало... Я думала, тонем... Смерть!..

— А я не испугалась!—неожиданно и спокойно отозвалась Соня.—Не все ли равно, когда умирать!.. Я не испугалась.

Молочаев с комическим удивлением вытаращил глаза.

— О, господи... Маленький Ланде! Довольно и одного!..

Марья Николаевна взглянула на него, и он показался ей таким сильным и красивым, что она глубоко вздохнула и засмеялась ему в тон.

— Вы не можете понять Ланде!—возразила враждебно и уверенно Соня.

Молочаев презрительно тряхнул головой.

— Может-быть... Еще бы! А зато жизнь, любовь, красоту я понимаю... всем существом своим... Да здравствует жизнь, сила, молодость, красота!.. Марья Николаевна, правда?

Марья Николаевна напряженно вздохнула и со счастливою тоской жадной и ждущей молодости тихо и сильно потянулась.

— Да... правда...—ответила она тихо и странно.

— Ау!..—дико, страстно и бессмысленно-счастливо крикнул Молочаев, и бесконечно далеко понесся над водою его зовущий, таинственный крик.

Волны медленно и плавно, блестя и колыхая лунный столб, подымались и опускались вокруг лодки.

XII

В саду было темно и крепко пахло теплой сыростью. Не было видно отдельных деревьев и кустов: они были слеплены в одну глубокую, темную массу, в которой тихо и таинственно, неподвижно светились светляки, точно крошечные белые свечечки перед темным престолом ночи.

Молочаев и Марья Николаевна прошли в темноте, нащупывая ногами невидимую твердую дорожку.

— Сядем; здесь лавочка...—сказала Марья Николаевна, и голос ее резко отделился от напряженной тишины сада.

Они так же ощупью, как шли, нашли скамью и сели рядом.

Белые свечечки попрежнему тихо светились в глубине мрака. Молочаев наклонился и в мокрой, теплой траве нашел и поднял светлячка. Голубоватый фосфорический

свет, исходивший из изумрудной бриллиантовой точки, осветил его широкую и сильную ладонь. Марья Николаевна наклонилась, и головы их сблизились в слабом свете.

— Не потух...—тихо сказала Марья Николаевна, точно боясь испугать неподвижно лежавшего и тихо светившего червячка.

Тихое дуновение ее слов мягко и слабо коснулось щеки Молочаева. Он поднял глаза и в прозрачном свете увидел ее тонкий и нежный профиль и верхнюю часть выпуклой груди.

Что-то мягко и близко упало где-то в траву, и слышно было, как чуть-чуть закачалась ветка. Они вздрогнули и оглянулись. Молочаев осторожно стряхнул светлячка в траву, и снова стало темно, и еще гуще пахло теплыми, влажными травами.

Мягко вздрогнуло и сладко заныло в груди Молочаева властное, таинственное влекущее чувство, и ему показалось, что он слышит напряженные, зовущие удары ее сердца. Перед ним смутно белела тонкая склоненная женщина, и в темноте казалось, что она далеко; но тонкий, раздражающий запах ее тела и сухих волос близко и горячо обдавал лицо Молочаева. Тишина становилась все напряженнее, мрак сгущался, и все отодвигалось куда-то, окружая их тьмой и пустотой, в которой были только они, их тянущиеся друг к другу сильные, раздраженные, томящиеся тела. Все ближе и ближе сокращалось расстояние между ними, и из мрака выступали они, точно окруженные своим таинственным, одуряющим светом, тихим, как ночь, напряженным и дрожащим, как желание. Белые свечечки светили где-то далеко-далеко, в глубине обступившего мрака. Молочаев тихо протянул руку, скользнул по

вздрогнувшему мягкому телу и обнял его, тонкое, нежное, жгучее и бессильное. Она медленно закинула голову, так что невидимые, мягкие волосы упали на плечи и на руку Молочаева. В сумраке мутно и близко-близко блеснули полузакрытые глаза и задрожали влажные, горячие губы. И, казалось, неодолимая сила слила их в одно, и нет между ними ничего, кроме бесконечного, сладкого и мучительно-трепетного желания.

И вдруг мрак блеснул тысячью огней, загудел звуками, отступил и пропал среди выступавших деревьев, кустов и насмешливых ночных огоньков; Марья Николаевна вырвалась из рук Молочаева, извившись, как красивая и злая змея, и звонко, насмешливо засмеялась, отскочив в сторону. Дробные и звонкие звуки ее смеха, прыгая, понеслись далеко по саду и резко разбудили его.

Молочаев недоумело и сконфуженно встал и медленно расправил свое огромное, тяжелое, еще сладко нывшее и дрожащее тело.

— Марья Николаевна...—глухо и дрожа сказал он.— Что за шутки?..

— Что?—притворным и, как показалось ему, злым и насмешливым голосом спросила Марья Николаевна.— Какие шутки? Что случилось?..

Звонкий русалочный смех ее опять задробился и зазвенел в темноте, и слышны были в нем дикая боязнь и любопытное желание.

Тяжелое, мстительное и животное чувство выдавилось откуда-то снизу в голову Молочаева. Волосы слиплись на его горячем лбу, в глазах поплыл туман, голова тихо и тупо пошла кругом.

— А!..—хрипло сказал он, упрямо опустил голову, как бык, и двинулся к ней, все забывая, уходя от всего

и видя только ее одну, манящую, изгибающуюся, дразнящую. Все существо его знало, что она хочет так же, как и он, и только боится, дразнит, упрямится. И жгучее желание смешалось с внезапной сладострастной ненавистью, жаждой грубого насилия, бесконечного унижения и бесстыдной боли.

— Ну, ну, ну!..—испуганно и задорно крикнула девушка и ударила его по руке какой-то мокрой, колючей веткой, брызнувшей ему в лицо холодными каплями.

— Идем лучше домой... Вы сегодня чересчур... опасны!—дрожа еще и торжествуя уже над ним, сказала она; и с тем жгучим наслаждением, с каким человек заглядывает в пропасть, девушка, издеваясь, взяла его под руку.

И они пошли. Она снизу заглядывала ему в лицо, насмехалась над его бессилием, брызгая на него росой и искрами нервного, раздражающего смеха, а он покорно, трусливо, сдавливая в себе желание смять, бросить ее на траву, подчинить, уничтожить своей силой и страстью,—шел неловкий, распаленный и дикий.

XIII

Ночь прошла жаркая, душная, полная странных, томительных снов, разгоряченной, властной, неудовлетворенной крови. Только на рассвете заснула девушка спокойным, тихим, мягким сном, но проснулась рано, в солнечное утро. Целый поток ясного света, свежего воздуха, омытой росой, радостной зелени рвался в окно, наполняя комнату бесконечно легким, ослепительным светом радостного утра.

Подушки были смяты, простыни свесились на пол, рубашка сбилась с плеч, открыла нежные, мягкие ноги, туго обвилась вокруг круглого и полного, тонкого, подымающего ее белыми волнами, молодого тела. Черные волосы разбились, руки закинулись за голову нежащимися, гибкими движениями. Глаза смотрели радостно и вопросительно, и было в темной глубине их какое-то смутное и в то же время определенное ожидание.

Ей было стыдно и странно и жгуче интересно то, что произошло вчера; розовые пальцы маленьких полных ног тихо шевелились, и в том, что это было одно, чуть заметное движение во всем замершем, напряженном воспоминанием, роскошном, свежем, гибком теле,—было что-то сильное и упрямое.

Она медленно опустила глаза, увидела все свое тело, медленно скользнула по нем и вдруг, сама не зная почему, с приятно и пугливо толкнувшимся сердцем, вздрогнула, вскочила и, стоя во весь рост, полуголая, нежная, розовая и белая, гибко и страстно потянулась.

Ночевавшая у нее Соня открыла глаза и, не двигаясь, маленькая и щуплая под сереньким одеялом, посмотрела на нее пытливо и серьезно, как будто знала и обсуждала то, что в ней происходило.

Марья Николаевна увидела ее открытые и строгие глаза, вздрогнула уже испуганно и больно, и также, сама не зная почему, бросилась к ней, обхватила ее худенькое тело полными голыми руками и придавила мягкой, упругой грудью.

— Ах, Сонька, Сонька,—пряча лицо, сказала она радостно и стыдливо,—хорошо жить!

Соня подняла бледную, растрепанную голову, подумала и серьезно сказала:

— Не знаю...

Марья Николаевна посмотрела на нее невидящим, углубленным внутрь себя взглядом, потом засмеялась с сожалением и превосходством.

— Глупая ты еще, Сонька!.. И ничего ты не понимаешь!

Соня поднялась и села, опустив тоненькие голые руки.

— Все я понимаю,—с непоколебимым убеждением возразила она,—а только не умею сказать иногда!.. В жизни важно только великое!

Марья Николаевна стала раскачивать ее за плечи, глядя не на нее, а на то, как переливалась и двигалась тонкая, голубоватая кожа на сгибах ее вытянутых розовых рук.

— И чего ты, Сонька, такая смешная... серьезная?

— Серьезная—не значит смешная... То и другое вместе быть не может,—со снисходительным превосходством, точно говоря с шаловливым ребенком, возразила Соня.

— Нет, может! Смешная, серьезная... милая!—вся сияя страстной радостью, нараспев говорила Марья Николаевна.—Ты, верно, никогда другой не будешь... И жить не будешь!

— Я знаю, как буду жить...—задумчиво ответила Соня.

— Как?

— Я знаю... Особенно... как только и стоит жить, чтобы... подвиг... Буду жить, как Ваня...—торжествующе докончила Соня, и вдруг страшно, до слез покраснела и стала удивительно нежной, хорошенькой, милой девочкой, которую хотелось целовать с теплыми слезами и смехом.

И Марья Николаевна целовала, смеялась, тормошила ее, и обе они валялись и путались в белых простынях,

полуголые,—одна гибкая, сильная и упругая, другая тоненькая и хрупкая,—как две расшалившиеся дикие, прекрасные самочки какого-то сильного счастливого зверя.

XIV

В этот день Семенов с дневным поездом уезжал в Ялту, где было, как говорили доктора, которым он не верил, но хотел верить,—его спасение. Все собрались его проводить.

Семенов чувствовал себя очень плохо. Его уже не веселили ни солнце, ни тепло, ни люди, ни небо, ни зелень. Ноющее, бесконечное страдание наполняло и окружало его, как какой-то особый, тяжелый туман, сквозь который плохо и тускло видел он все окружающее. Он уезжал равнодушный и холодный, как будто тело его уже умерло, а дух был погружен куда-то внутрь, в бездонную глубину одинокого страдания. Он не был рад, но и не раздражался оттого, что его собирались провожать. Ему было все равно. Один Ланде его заботил, и так странно было видеть это непонятное, озабоченное внимание, как улыбку на лице неподвижного, холодного покойника.

— Ты, Ланде, оставайся и живи тут!—сухо покашливая, говорил он.—А что же ты есть будешь?

— Как-нибудь...—улыбаясь, успокаивал его Ланде и шутя прибавил:—Взгляните на птиц небесных: не сеют...

— Ты дурак!—сердито возразил Семенов.—Ты не птица... Ведь тебя не покорми, так ты с голоду подохнешь. Удивительное дело!.. На месте господа бога я бы тебя давно взял живым... и посадил в сумасшедший дом.

Ланде смеялся заразительно весело и добродушно.

— Милый Вася, ты лучше всех людей, каких я встречал...

— А ты глупей...—болезненно и нетерпеливо махнул рукой Семенов.

Он помолчал.

— Шишмарев обещал тебе урок достать.

— Ну, вот и хорошо!—обрадовался Ланде.

— Только это очень трудно: ты ведь уже на весь город прославился...

Пришли Шишмарев и Молочаев.

— Едете?—безразлично спросил художник.

— Конечно!—с тусклой неприязнью ответил Семенов.

— Урок для Ланде я нашел,—сказал Шишмарев таким голосом, точно сомневался в чем-то.

— Ну, вот... слышишь?—посмотрел на Ланде Семенов.

— Скоро пора и на вокзал...—заметил Шишмарев, озабоченно посмотрев на часы.

Когда Семенов вышел куда-то, Молочаев равнодушно спросил:

— Куда он едет? В Ялту? На какие средства?

— На кондицию...—ответил Шишмарев, пожав плечами.—Дело студенческое!

— На урок?—удивился Молочаев, и на минуту тень жалости налетела на его лицо.—Куда ж ему на урок? Его ветер с ног валит!

Ланде встал, схватился за щеку, как от внезапной боли, потом опять сел.

— Э, что!—сказал Шишмарев, точно ему было даже приятно это сказать.—Нашему брату, голяку, нельзя такими нежностями заниматься! Пока еще не свалил—ну, и ладно!

Под окном мелькнул черный ажурный зонтик и другой, розовый.

— Марья Николаевна и Соня идут,—сказал Ланде.

Они вошли вместе с Семеновым. Соня вошла серьезно, тихо и, сложив зонтик, чинно села против Ланде, в уголок. Марья Николаевна возбужденно и смущенно смеялась, мельком поздоровалась и осталась посреди комнаты, вертя по полу раскрытый зонтик, смеясь, блестя глазами и голыми руками, тепло розовевшими в белых, холодных, широких рукавах, и не глядя на Молочаева.

Когда она вошла, Молочаев почувствовал, как стала дрожать под коленом какая-то нервная жилка. Он тоже встал и прислонился к окну, только изредка взглядывая на нее быстрыми и жадными глазами.

Приехал извозчик. Слышно было, как дребезжал тарантас и фыркали лошади.

— Ну, идем!—сказал Семенов равнодушно.

Все вышли гурьбой на солнце и воздух, слепивший глаза. Марья Николаевна раскрыла зонтик.

Ланде хотел было нести чемодан, но Молочаев сказал:—Куда вам!—взял чемодан, как перо, и, с наслаждением выказывая свою страшную силу, понес его. Марья Николаевна мельком взглянула на него и опять стала смотреть на Семенова. Сутулый, больной студент уже сидел в тарантасе, в своем выцветшем, зеленоватом, с тусклыми, позеленевшими пуговицами пальто, надвинув фуражку на уши.

— Ну, прощайте!—сказал он уныло.

— До свиданья! До свиданья!—кричали ему молодые, оживленные голоса.

— Да, стой!—остановил он извозчика.—Так ты, Ланде... А впрочем, какое мне дело? Как хочешь! Прощай!—

вдруг раздраженно и неприятно перебил он сам себя и поехал.

Его сутулая, неказистая фигура долго тряслась по улицам, темная и странная, и казалось, что среди яркого дня, блеска и радости на него одного не светит яркое, теплое солнце... Соня тихо плакала.

— Я вас провожу, Марья Николаевна!—сказал Молочаев, и в голосе его почудилось ей что-то властное, уверенное.

Какой-то особенный, странный, шаловливый и в то же время искренний испуг овладел ею.

— Я останусь здесь с Соней...—растерянно ответила она, хотя вовсе не думала раньше об этом.

Молочаев густо покраснел, и опять сладострастно-мстительное чувство медленно поднялось в нем.

— Вот хорошо!—радостно сказал Ланде.—Мне именно с вами хочется теперь говорить!

Молочаев быстро посмотрел на него, и вдруг тошная и внезапная ревность заставила его сжаться всем своим могучим, красивым телом в бессильную и безобразную злобу.

— Как хотите... До свиданья!—хрипло, не своим голосом проговорил он.—Идемте, Шишмарев!

Они ушли по яркой, жаркой улице.

В комнате Семенова было пусто и прохладно. Марья Николаевна села на окно в сад. Соня обняла ее за мягкие колени, а Ланде стал возле.

— Почему вы именно со мной хотели говорить?—спросила Марья Николаевна, улыбаясь.

Ланде тоже смущенно и радостно улыбнулся.

— Потому, что вы такая молодая, красивая, добрая, именно с вами хочется говорить теперь... Солнце светит так тепло, так хорошо...

Марья Николаевна счастливо и светло засмеялась.

— Будто я такая?

— Конечно, такая!—с наивным убеждением повторил Ланде.—И как это хорошо!

— Что?

— То, что есть такие, как вы, красивые, нежные молодые женщины!—восторженно говорил Ланде.—Мне всегда кажется, что бог дал людям женскую молодость, красоту и нежность, чтобы они не забывали о радости и любви, пока еще тянется их ужасная, тяжелая, беспросветная работа над жизнью.

Соня не спускала с него глаз, и бледные щеки ее розовели и оживали под звуки его голоса.

— Значит, когда закончится эта работа, тогда уже не будет таких женщин?—задумчиво и с нежным вниманием спросила Марья Николаевна.

— Нет, почему?—радостно возразил Ланде.—Они останутся... такие же прекрасные, только тогда все они и все будет такое же прекрасное, молодое и нежное. Тогда уже все будет ясно, светло, а теперь они—только луч оттуда, из светлого будущего.

Ланде помолчал и прибавил печально:

— Мне жаль почему-то... не знаю, может, это дурное чувство... когда молодая, радостная девушка сходится с одним мужчиной... таким жадным, грубым... Мне и радостно за его счастье и жаль. Точно кто-то взял, потушил или унес яркий огонек, светивший всем... Я, впрочем, думаю, что это не от дурного чувства... это потому мне жаль, что слишком мало таких огоньков у людей...

— Да ведь иначе же и быть не может!—тихо возразила Марья Николаевна, опуская голову. Ей казалось, что он именно о ней говорит.

— Да, да,—торопливо согласился Ланде,—не может!.. Мне только жаль, что эта молодость и красота не могут быть общим достоянием. Впрочем, люди думают, что это дурно... Я не знаю... может-быть...

Было тихо и светло. Чистый, прозрачный воздух серебрил каждый звук и облекал радостью каждое дыхание. Марья Николаевна подняла на Ланде глаза, и что-то странное мелькнуло в ней: на одно мгновение ей страстно и радостно, как никогда, захотелось жизни и показалось, что она может и будет любить всех, всем давать наслаждение, радость, свет и веселье, свою молодость и красоту, свое прекрасное, сильное тело. Это мелькнуло и исчезло, а осталась, как глубокая борозда, задумчивая нежность, тихое влечение к тонкому, тихому, прекрасному глазами, слабому человеку, стоявшему перед ней. Ланде ясно и радостно смотрел на нее, и в это мгновение в ней первый раз появилось смутное, тихое и таинственное желание слиться с ним. Легкая, стыдливая и светлая мысль скользнула вперед и осветила, как солнце, это грядущее слияние ее богатого тела с тем странным и мечтательно-прекрасным, что было в его душе. Предчувствие бесконечного счастья неудержимой волной нахлынуло на нее умилением и истомой.

Марья Николаевна гибко повела полными, круглыми плечами. Соня вдруг чуть-чуть, точно хрустнула, пошевелилась внизу у ее колен.

— Никогда в жизни мне не было так странно и хорошо!—невольно вслух проговорила Марья Николаевна.

— Вам всегда должно быть так хорошо!—сказал Ланде с влажными глазами.—Ведь это такое счастье

чувствовать в себе такую красоту, чувствовать ту радость, которую доставляешь всем!

— Не всегда!—чуть слышно возразила Марья Николаевна, закидывая голову и опираясь затылком о холодный, твердый косяк окна.

— Это потому,—сказал Ланде,—что люди, на свое же горе, не понимают, какое это богатство и радость—женская молодость и красота. Они относятся к ней грубо, небрежно... Если бы они понимали, они бы всю силу употребили, все лучшие силы своей души, чтобы не было горя, ничего грубого, жестокого и злого вокруг нее. И как бы это облагородило, осветило их жизнь, как было бы легко работать и ждать!

— Ланде!—резко крикнул со двора Шишмарев.—Где ты?

Все вздрогнули, и всем было тяжело и странно очнуться. Ланде торопливо вышел. Слышно было, как Шишмарев резко, точно торгуясь, говорил ему:

— Мы пришли за тобой. Мать того гимназиста, которого я тебе нашел, просила привести тебя сейчас поговорить.

— Я сейчас...—машинально и как будто грустно ответил Ланде.

Марья Николаевна глубоко вздохнула, тихо обняла Соню за тоненькую шею и притянула к себе.

— Маня...—значительно и торжественно позвала Соня.

Марья Николаевна молча посмотрела ей в глаза. Они были близко от нее. Темные, решительные, полные неестественного подъема и восторга.

— Я хотела тебе сказать...—так же торжественно продолжала Соня.—Выйди замуж за Ваню!

Легкий, приятный и быстро растаявший румянец покрыл щеки девушки. Она молча и нежно поцеловала Соню в высокий, холодный лоб с гладко причесанными, легкими, как воздух, волосами.

Вошел Ланде.

— Надо итти!—с сожалением сказал он.

— Я с вами...—как-то особенно, долго и глубоко посмотрев ему в лицо, отозвалась Марья Николаевна и встала, поправляя волосы. В ней было решительное, спокойное и полное чувство.

На крыльцо она вышла за Ланде и вдруг увидела рядом с Шишмаревым красивое, жесткое и немного бледное лицо Молочаева, упорно, прямо смотревшего на нее. Она отвернулась с досадой и сожалением.

«Как это я могла вчера!..»—с досадой мелькнуло у нее в голове.

Соня, оставшись одна, долго, неподвижно смотрела в окно, и зелень сада расплывалась у нее в глазах. Потом она встала, судорожно вздохнула, отвернула легонький рукав платья и изо всей силы укусила свою бледную, тоненькую руку. На бледной, тонкой коже выступили два ряда белых пятен. Соня долго и упрямо смотрела, как белые пятнышки быстро наливались кровью и образовался маленький багровый венчик.

XV

Поздно вечером, когда синие сумерки уже затихли за городом и пыль улеглась, было тихо и хорошо. Ланде один шел с урока, опустив голову, и думал:

«Пятнадцать рублей... Пять мне совершенно достаточно, а десять надо послать Васе... Только он сердиться будет!..»

Ланде мучительно потер лоб.

«Надо написать ему, что у меня два урока...»—придумал он и обрадовался.

Совсем уже стемнело и все казалось мягким и милым. У открытого окна, черневшего черной пустотой, сидела мать Ланде. Скорбь и одиночество были в ее чуть видной, расплывающейся в темноте комнаты фигуре—старой и унылой. Ланде узнал ее еще издали, и сердце его больно сжалось. Он видел ее в первый раз после того, как она сказала, что не желает знать его до тех пор, пока он не переменит своих дурацких взглядов на жизнь. Когда она кричала это пронзительным, чужим голосом, Ланде было больно и неприятно смотреть на нее. Он ушел от нее с великой скорбью и с каким-то испугом, и все ему чудилось, что кричит не она, а кто-то другой, внутри ее, злой и мелкий. И после этого он боялся итти к ней,—ему казалось, что она опять будет кричать не своим голосом, и что от этого ей самой будет мучительно и страшно.

Но когда он увидел ее, одинокую и согнутую, все существо его переполнилось светлой нежностью и жгучей жалостью. Ланде перепрыгнул канаву и, вскочив на карниз, молча обнял мать. И она не сказала ни слова, только радостно заплакала и стала целовать его голову, прижимать ее к мягкой старческой груди и мочить теплыми слезами его лицо.

— Мама моя, мама!—тихо прошептал Ланде, и губы его ловили дрожащую от нежности и радости руку.

— Милый мой, золотой мой мальчик!—ответил ему на ухо бесконечно дорогой, всхлипывающий голос.

И тесно слились их души в любви.

— Ты не уйдешь больше... не бросишь свою маму?..— спрашивала она его.

— Не уйду, никуда не уйду, мама!—всем сердцем отвечал он.

Ночь наступала тихо и незаметно. Ланде все стоял на карнизе, и ему было хорошо, тепло и казалось, что больше ничего, кроме этой тихой, сладкой любви и ласки, не нужно ему во всем свете.

Кто-то черный, большой подошел с другой стороны канавы и спросил:

— Иван Ферапонтович, это вы?

Ланде оглянулся, узнал Молочаева и соскочил на тротуар.

— Я сейчас, мама!..—торопливо сказал он и, перескочив канаву, спросил:

— Я... Что такое?

Молочаев дышал глухо и тяжело и казался мрачным и смущенным.

— Мне надо сказать вам два слова!—с усилием сказал он.—Пройдемся!

— Пожалуйста!—охотно согласился Ланде.

Они пошли по темной и пустой улице. Молочаев все так же тяжело дышал и напряженно смотрел перед собой.

— Я хотел вам сказать... Вы помирились с матерью?—неожиданно для самого себя спросил он.

Ланде улыбнулся.

— Я с ней и не ссорился.

— Ах, да... я и забыл,—зло кривя губы, сказал Молочаев,—что вы ни с кем не ссоритесь, никому не мешаете, никогда... А вот я хотел сказать именно, что вы мне мешаете!—с усилием, но со все возрастающей злобой сказал он.

— Разве?—печально спросил Ланде.

Звук его голоса, тихий и серьезный, раздражал Молочаева каким-то смутным стыдом.

— Не ломайте, пожалуйста, дурака!—грубо крикнул он, останавливаясь.—Отлично вы знаете, о чем я говорю!

Ланде тоже остановился.

— Не кричите на меня...—страдальчески сморщившись, возразил он.—Я, право, не хотел...

Но мутная и бешеная волна злобы, неловкости и стыда подхватила Молочаева и завертела, как щепку.

— А я вам скажу,—зловеще, сквозь стиснутые до скрипа зубы, все громче и громче заговорил он, размахивая перед лицом Ланде ручкой хлыста,—что... если вы станете у меня на дороге, я вас... как тряпку сброшу!..—Молочаев задохнулся, быстро повернулся и пошел прочь.

— Я ничего не понимаю...—тихо и печально сказал Ланде.

XVI

В городском саду было гулянье. В темно-зеленой массе деревьев, как сказочные огненные цветы, неподвижно пламенели разноцветные пятна фонарей. Играла военная музыка. И медные звуки ее наполнили зеленую тьму крутящимися в диком танце звонкими призраками. Они отдавались под деревьями, и в самом конце сада отдельные, звонкие торопливо проносились по темным, пустым аллеям, догоняя друг друга, то в воющей металлической тоске, то в бешено-резком веселье. Людей было мало, и в длинных аллеях было пусто, и казалось, что неподвижные огненные цветы освещают дорогу только одиноким звукам, невидимо несущимся мимо.

На главной аллее и на площадке около оркестра и буфета было светлее, проще и спокойнее. Музыка здесь гремела так близко, что в ее оглушительном реве не было слышно ничего, кроме шума. Огни сливались в яркий желтый свет. Толпа ходила тесно, со смехом, говором и пестротою. Пахло пудрой, стеариновой гарью и духами.

Марья Николаевна и Ланде пришли вместе. Эти две недели она почти не отпускала его от себя. В его присутствии ей было так просто, ясно и тихо, и ей казалось, что она любит его нежно и спокойно. Ланде всегда говорил без умолку, тихо и хорошо, и никогда не видно было в нем желания и страсти. И она никогда не заговаривала с ним о любви, но в глубине ее души, где-то внутри роскошного сильного тела тихо и смущенно тлело томительно-сладкое ожидание чего-то светлого и прекрасного. И в глазах ее, когда она смотрела на Ланде, видно было это кристально-чистое, покорное и радостное чувство.

Она давно не видела Молочаева. Сначала он пытался заговорить с ней, напоминая грубо и сильно ту страшную и жгучую ночь; а потом, когда она пугливо отшатнулась от него, он стал грозить своим отъездом, и в самом деле уехал куда-то. Она вздохнула тогда свободнее, но когда узнала, что он вернулся, что-то похожее на тревожную радость и любопытство проснулось в ней. Она беспокойно смотрела вокруг, точно желая увериться, что этого чувства никто не видит.

«Что же такое! Неужели я такая развратная?— мелькнуло у ней в голове мучительно и наивно.— Ведь я люблю Ланде... милого, светлого, чистого. Не того же... зверя!»

Она вспомнила Молочаева, и он представился ей грубо-красивым, отталкивающе-разнузданным зверем. Это было страшно интересно, хотя, казалось ей, только гадко. Она думала о нем с отвращением и страхом, в которых было томительное любопытство, раздувавшее ноздри, подымавшее и напрягавшее грудь, расширявшее страстные глаза.

В тот вечер, когда он ушел, угрожая отъездом, после спутанного, странного разговора, похожего на горячечный бред, в котором слова бросались обрывками, намеками, острыми, раздраженными, лживыми, а глаза говорили правду,—Марье Николаевне смутно казалось, что в самом теле ее происходит какая-то борьба: что-то чистое и светлое бессильно захлебывалось в горячих, безумно-стремительных и могучих волнах ярко-красной крови. Ночью, когда она раздевалась, у нее явилось неодолимое и стыдливое, жгучее желание раздеться донага и долго, с тем же беспокойным любопытством, смотреть на свое стройное, бесстыдно голое тело, ярким изгибом выступавшее из холодно-темной глубины большого зеркала.

На утро после этого ей было холодно, до боли и ужаса стыдно, и в одиноком испуге, в бессильном недоумении она искала Ланде, звала его, заглядывала в чистые, спокойные глаза и тихо успокаивалась под его радостную бессвязную речь.

Она знала, что Молочаев приехал, и что он придет в сад. Последнее она чувствовала по тому тревожному холоду, который подступал к груди и заставлял нервно дрожать ее полные колени под строгой, твердой юбкой.

«Он придет... Надо уйти! Надо уйти!..»—полубессознательно думала она и не уходила, и ждала, обманывая себя.

«Это оттого, что мне нет никакого дела до него!.. Я только боюсь его... грубости!»—оправдывалась она перед собою и чувствовала, что лжет.

Музыка замолчала. Тишина выступила из-под молчаливых, неподвижных деревьев, и слышно было только, как раздраженно и оборванно шаркали по песку аллей шаги гуляющих.

— Вы знаете,—говорил Ланде,—что Соня идет пешком на богомолье?

На секунду Марья Николаевна оторвалась от себя и с удивлением посмотрела на него.

— Не может быть? Куда?

— За сто верст... Нашла себе попутчицу, старушку простую, и идет. Она моего совета спрашивала.

— И вы посоветовали?

— Нет. Она так спрашивала, что я видел, что это ей не нужно. Я ничего не сказал,— серьезно ответил Ланде.

— Она в вас влюблена!—с нехорошим, но незаметным ей самой чувством сказала Марья Николаевна.

— Нет!—решительно и спокойно возразил Ланде.— Ей, может быть, и кажется, что она в меня влюблена... Я это заметил. Но это неправда,—она не в меня влюблена, а в... я не знаю, как это выразить...—бессильно улыбаясь, задвигал рукой Ланде.—Она в великое влюблена... Она удивительная девочка, эта Соня! В ней большое сердце и мало любви. Есть такие люди; они несчастные: им все хочется охватить своим сердцем что-то огромное, весь мир, подвиги, муки, и у них не хватает любви, чтобы обнять то маленькое, что возле них...

С того места, где они сидели под неподвижно пламенеющим, мрачно-красным шаром, виден был в конце аллеи бездонный, черный прорез ворот. Иногда из

их мрака вытягивались, как черные щупальцы, длинные черные тени и вдруг пропадали, а в круге света появлялись темные силуэты людей. Марья Николаевна слушала Ланде и неподвижно, напряженно смотрела туда. Она увидела Молочаева, как только он вошел в сад, видела, как он, не видя их, пошел в другую аллею, но не двигалась.

— Молочаев, вот они!—близко сбоку резко прозвенел голос Шишмарева, и они подошли.

Молочаев молча пожал узкую, мягкую руку девушки.

Шишмарев сейчас же резко и бойко заговорил с Ланде. Марья Николаевна не слушала их... Она часто дышала, высоко и нервно подымая грудь, и решительно смотрела перед собой. Кончик зонтика бился о землю, напоминая судорожное движение хвоста насторожившейся кошки.

«Что со мной делается?»—спрашивала она себя, с капризной досадой закусывая нижнюю губу.

— Мне представляется,—услышала она как-то вдруг слова Ланде,—что люди в погоне за счастьем толпятся у какой-то двери, как толпа во время пожара. Каждому кажется, что спасение в том, чтобы силой, как можно скорее, раньше всех пробиться к выходу, и в страшной давке все гибнут!

— Борьба за существование!—сказал Шишмарев.

— Не должно быть никакой борьбы!—твердо возразил Ланде.—Нельзя выйти, навалив перед собой кучу трупов... Надо опомниться, остановиться, не мешать друг другу, уступая.

— Как те два вежливые француза, что уступали друг другу дорожку и оба шли по грязи!—с холодной злостью, в которой слышалась насмешка не над словами Ланде, а над ним самим, вставил Молочаев и коротко засмеялся.

Музыка заиграла тихо и плавно, точно устав после недавнего вихря звуков.

— Все это сантиментальности!—повышая голос, жестко и грубо продолжал Молочаев.—Жизнь—так жизнь... Не я виноват, если кто слабее меня...

Он помолчал и прибавил:

— Брошу в грязь, на голову стану, а перейду...

Ланде грустно покачал головой.

— Довольно слякоть разводить... Не жизнь, а сонное болото!—упорно проговорил Молочаев.

— А если на вашу голову станут?—не глядя на него, холодно спросила Марья Николаевна.

Молочаев повернулся к ней.

— Пускай... Посмотрим!—мрачно сказал он и, помолчав, прибавил:—И то жизнь... Марья Николаевна, мне с вами надо поговорить.

Он неверно улыбнулся, и голос у него зазвучал фальшиво.

— Я вам одну сплетню расскажу про... него!—кивнул он головой на Ланде.

Ланде удивленно поднял глаза.

— Говорите здесь!—пожала плечом девушка.

Молочаев опять фальшиво засмеялся.

— Не могу я при нем... Да вы меня боитесь, что ли?—тихо прибавил он, вызывающе и близко заглядывая ей в глаза.

Марья Николаевна высокомерно и тревожно улыбнулась.

— Идемте!—она встала.—Ланде, вы приходите туда, сейчас!—сказала она.

— Хорошо!—ответил Ланде спокойно и опять повернулся к Шишмареву.

Марья Николаевна больно и холодно почувствовала себя одинокой. Ей сделалось страшно. Когда они уходили в дальнюю аллею, бесконечно тонувшую в пустоте и мраке, она услышала, как Ланде говорил:

— Человек не тогда будет счастлив, когда заставит уважать свои права, а когда научит любить себя. Но до этого далеко!

Они ушли в глубь сада. Звуки музыки глухо и как-то пусто долетали сюда. Фонари мертво и тускло светили здесь уже обыкновенным ламповым светом. Деревья поредели, и между ними просвечивали звездное небо и холод.

— Что же вы хотели мне сказать?—спросила Марья Николаевна.

Молочаев тяжело дышал.

То, что он решил сделать с ней и что представлялось ему мрачно-красивым и быстрым, под ее намеренно холодным взглядом, перед прямой, одетой в строгое, твердое платье фигурой показалось вдруг невозможным, нелепо-тяжелым и безобразно-грязным.

— Я...—проговорил он и не знал, что говорить дальше; челюсти невольно смыкались, как железные, точно здесь, теперь именно нужно было тяжелое молчание.

Марья Николаевна чувствовала, как приближалась к ней огромная, страшная опасность. И странно было то, что именно от этого чувства исчез в ней страх; ей стало легко, было захватывающе приятно и интересно, как над пропастью, хотелось еще ближе заглянуть, почувствовать, и бессознательная мысль яркой вспышкой обожгла ей голову, облив щеки ярким румянцем.

— Ах, как интересна жизнь!..

Молочаев, как бы повинуясь какой-то посторонней силе, низко нагнулся, хрипло засмеялся и вытянул

вперед руки. Марья Николаевна машинально отступила шаг назад, быстро, неровно, так что большая черная шляпа сдвинулась на глаза. Ей показалось, что все ухнуло куда-то и сердце упало.

— Марья Николаевна, где вы?—весело позвал Ланде.

Молочаев вздрогнул, опустил руки и растерянно оглянулся.

Марья Николаевна насмешливо взглянула на него и, как бы откидываясь от пропасти, подняла руки к шляпе.

XVII

Было около девяти часов вечера, но еще светло, прозрачным, легким светом, и от яркой зари, и от рано вставшей, еще бледной луны, и от широкой, гладкой реки.

Ланде позже других пришел на обрыв, непривычно грустный и молчаливый.

Шишмарев встретил его резким, раздраженным голосом:

— Иди сюда! Я получил письмо от Семенова... Это, ей-богу, глупо! Какого же ты чорта чудишь! Семенов пишет, что ты ему прислал десять рублей.

Ланде поднял на него большие, печальные глаза.

— Оставь, Леня,—сказал он просто и отвернулся к реке. На его худое лицо ложились ее холодные, бледные отблески.

— Как оставь!—вспылил Шишмарев.

Ланде страдальчески улыбнулся, не поворачиваясь. Шишмарев посмотрел на него, пошевелил губами и отвернулся, чувствуя неловкость и холодную досаду.

«Ну и чорт с тобой!»—подумал он.

— Что с вами? Чего вы такой грустный?—мягко и любовно спросила Марья Николаевна, слабо дотрогиваясь пальцами до рукава серой тужурки Ланде.

Ланде быстро обернулся, и глаза его засветились мягкой и ласковой улыбкой.

— Меня мать мучает!—страдальчески сказал он.

Странно просвечивало это страдание сквозь ясную, тихую улыбку.

Молочаев с холодной ненавистью скользнул по руке Марьи Николаевны, лежавшей на рукаве Ланде, отвернулся и стал закуривать папиросу.

— Чем?—тихо спросила девушка.

— А она все требует от меня той жизни, на которую я не способен... Пристает, чтобы я деньги взял и ехал за границу, а я не хочу. Мне нечего делать там. Люди везде одинаковы...

— Жизнь другая!—возразил Шишмарев.

— Нет, и жизнь та же,—ответил Ланде,—потому что люди все одинаковы. Я не думаю, чтобы от количества железных дорог, университетов и тому подобного зависела жизнь. Жизнь внутри человека, ее надо только уметь использовать. А впрочем... если бы и была какая-то другая жизнь там, зачем я туда поеду? Я ею и жить-то не сумею...

— Хоть посмотреть!—с внутренним оживлением и прорвавшейся страстной мечтой сказал Шишмарев.

— Ну, это было бы дурно с моей стороны,—кротко возразил Ланде, улыбнулся виноватой улыбкой и прибавил:—Нет, вот я бы так просто... ушел куда-нибудь...

— Куда?.. В каком, то-есть, смысле: от людей, или так: куда-нибудь отсюда?—с недоверчивым недоумением спросил Шишмарев.

Ланде задумчиво помолчал, подняв глаза к небу и тихо приподняв брови.

— И так куда-нибудь, и от людей... Не совсем, а на время... Мне часто приходит мысль, что каждому человеку надо по временам уходить куда-нибудь от всех, в пустыню, что ли... Я так думал всегда, какая огромная штука жизнь, и как легко и просто мы к ней приступаем. Оттого, должно быть, она так редко и удается людям. Надо было бы, чтобы каждый человек в известном периоде развития уединялся и сосредоточивался на время в себе самом.

— Вот вы бы сами первый и уединились бы!..— грубо перебил Молочаев и вдруг весь зло искривился.— Право, хорошо бы сделали!

Ланде долго и серьезно смотрел на него. Потом вздохнул, перевел узкими плечами и тихо сказал:

— Я знаю, что мешаю вам. Мне очень жаль это.

Марья Николаевна быстро и исподлобья посмотрела на него своими блестящими из-под ресниц глазами. Рука ее, мявшая растрепанный букет полузавядших, бледных уже цветов, остановилась, а потом опять задвигалась нервно и неверно.

— Мне тоже очень жаль!—вызывающе ответил Молочаев своим обычным, твердым и неумолимым голосом.

Как раз в эту минуту шедший по тротуару тонкий, черный человек неожиданно, быстро свернул с дорожки на траву и, сделав за спиной Молочаева два странные, крадущиеся шага, стремительно взмахнул тонкой, длинной палкой и ударил ею художника по голове.

Острый, как лезвее, ужас сверкнул в мозгу у всех, Марья Николаевна дико и пронзительно вскрикнула, путаясь в длинной юбке, отскочила к обрыву и едва

удержалась там, ёся изогнувшись над ним и закрывая лицо руками. Шишмарев уронил фуражку и беспомощно встал. Ланде вскочил, почему-то схватил Соню за руку; а девочка выпрямилась и широко открыла заблестевшие диким любопытством и каким-то жадным чувством глаза. Молочаев не потерялся. Его красивое лицо исказилось от боли, удивления и захватывающего бешенства. Стремительно и ловко он левой рукой перехватил палку, дернул ее книзу так, что Ткачев едва не упал вперед, вырвал и, оскалив зубы, ударил его поперек лица, по голове и по руке.

Обезумевший от боли и бессильной ненависти Ткачев зашатался, роняя шапку и прикрываясь руками. Показалось, что брызнула кровь.

Четвертый, резкий и страшный удар попал уже по руке Ланде. Вытянув, словно в припадке какой-то странной болезни, руки к Молочаеву, бледный, он твердо и властно говорил:

— Не надо... не смейте!

И заслонял Ткачева без усилия и сопротивления.

Одну секунду Молочаев бешено смотрел ему в глаза.

— Да ты что же это, наконец!—хрипло проговорил он, судорожно опустив и сжимая палку, и вдруг коротко размахнулся и омерзительно, хлестко и страшно ударил его по щеке.

Ланде покачнулся и страшно побледнел. На глазах у него выступили светлые, крупные капли слез, и глаза так широко раскрылись, что все лицо пропало за их влажным, страдальческим блеском.

— Ну, пусть... так...—слабо уронил он концами мокрых, дрожащих губ и, непоколебимо прямо глядя в глаза Молочаеву, не двинулся, не отвернулся. Со слепой, бессмысленной жестокостью Молочаев, выпустив

палку, широко размахнулся, ударил его левой рукой, ступил шаг вперед и ударил в третий раз. Последняя пощечина ляскнула еще страшнее, отчетливо и плоско. Ланде пошатнулся назад, споткнулся о скамейку и тяжело, безобразно, как-то боком, бессильно повалился через нее, высоко задрав ноги.

Молочаев круто повернулся, со страшной силой оттолкнул Ткачева и быстрыми, твердыми шагами пошел прочь, ни на кого не глядя.

То, что потом произошло, было похоже на тяжелый бред: все сразу дико и нестройно закричали и толпой кинулись к Ланде. Ткачев, с выражением ужаса и мольбы на черном, мрачном лице, поднял его трясущимися руками. Марья Николаевна целовала его бледные, дрожащие пальцы. Шишмарев пробовал надеть фуражку, что-то бессвязно крича. Соня обхватывала его тоненькими, прозрачными руками. Они метались на краю обрыва, растерянные, как стая странных, вспугнутых выстрелом птиц.

— Господи! Что же это такое?—с бесконечным ужасом спрашивала всех Марья Николаевна и ползала у него в ногах с бессознательным, но ослепительно-ярким чувством вины, с беспредельным восторгом и жалостью, любовью и возмущением. Ее красивое лицо исказилось, волосы разбились, шляпа свалилась на спину, серая юбка беспомощно билась в пыли.

— Иван Ферапонтович... простите... простите!—лепетал Ткачев.

Ланде поворачивал к ним сразу опухшее, страшное лицо, силился улыбнуться и бессознательно гладил и хватал руки всех своими дрожащими и ослабевшими руками. Глаза у него запухли, из носа и рта текла

кровь, на виске грубо налипла земля и раздавленная зеленая трава.

— Это ничего...—с трудом двигая раздутой губой, проговорил он.—Он не хотел меня... Он потом сам будет страдать... Я к нему пойду... подождите...

Соня дико всплеснула тоненькими ладонями, отступила на шаг и, вся засветившись счастливым восторгом, ярким голосом вскрикнула:

— Ваня, вы святой!

Ланде слабо махнул рукой.

— Ах, какие глупости вы говорите, Соня!

Ткачев отчаянно схватился за волосы.

Ланде торопливо улыбнулся ему, встал и, протянув руки, пошел. И тут только все увидели, что Молочаев не ушел. Он стоял в десяти шагах от них, заложив руки в карманы, и, криво, упрямо усмехаясь, смотрел на Ланде.

Марья Николаевна вздрогнула всем телом и судорожным движением загородила дорогу Ланде.

— Не смейте, не смейте!—с болезненным, мучительным напряжением, зазвеневшим голосом закричала она Ланде.

Но Ланде серьезно отстранил ее.

— Вы не знаете, что говорите!—просто сказал он.

А Соня, с тем же выражением восторга и наслаждения на лице, оттянула ее за рукав.

Ланде подошел к неподвижно стоявшему и в упор смотревшему на него Молочаеву и протянул ему руку.

На его обезображенном лице была жалость. Молочаев туго и густо покраснел. В глазах у него мрачно вспыхнула задыхающаяся ненависть, и с холодной насмешкой и злостью он проговорил сквозь зубы:

— Трогательная комедия!

Потом быстро и решительно повернулся и, не останавливаясь, ушел.

Ланде долго смотрел ему вслед, потом сразу весь опустился, сел на лавочку и закрыл лицо руками движением горьким и тоскливым.

— Да что же это, в самом деле!—с возмущением, пронзительно-резко вскрикнул Шишмарев.—Дурак ты, что ли?

В собравшейся возле них пестрой кучке народу захихикали радостно и любопытно. Шишмарев опомнился, быстро оглянулся, с бешенством повернулся и торопливо пошел прочь.

— Чорт с тобой, болван... блаженный!—с мучительным ему самому озлоблением бормотал он.

Ткачев, опустив руки, точно его вдруг облили холодной водой и он опомнился от непонятного кошмара, странно посмотрел на Ланде, и его тонкие, злые губы кривились;

— Ни-и к чему все это...—с тонкой язвительностью, неожиданно проговорил он, как будто отвечая и предостерегая Ланде.

Все молчали и стояли вокруг Ланде. Страстный порыв, охвативший всех, бессильно упал, стало холодно, неловко, нелепо, захотелось уйти, прекратить эту, уже казавшуюся безобразной, сцену.

XVIII

К ночи у Ланде начался жар. Избитая голова мучительно ныла и кружилась. Шишмарев думал, что можно ожидать нервной горячки, а потому Марья Николаевна и Соня решили просидеть над ним всю ночь. Ланде ласково смотрел на них и молчал, потому что душа

его была переполнена огромным, ему одному понятным чувством. Они долго сидели обе по сторонам стола, положив перед собой книги, которых не читали, и тоскливо глядя на огонь лампы. Уже поздно ночью Соня ушла, а Марья Николаевна осталась одна.

Соня остановилась в темном коридоре. Ее никто не гнал, но ей хотелось муки и умиления, и потому она прижала руки к груди и тихо, одними губами прошептала:

— Пусть она, пусть... я уйду!—И что-то торжествующее и сладко-мучительное оборвалось в ее сердце.

В комнате было полутемно и как-то глухо. Лампа тускло освещала ровный круг, и Марье Николаевне он казался почему-то магическим. Она сидела, сложив руки на коленях и опустив голову. Сидела неподвижно, но в этой неподвижности клубился целый ураган тяжелых и нестройных мыслей. Она думала о том, что теперь все кончено: весь город завтра узнает, что она всю ночь просидела здесь, и тогда будет что-то ужасное, холодное и грязное. Ей долго было только страшно и стыдно, но потом все ярче и торжественнее стала определяться мысль, согревающая душу: отныне, наконец, она навсегда связана с Ланде, с милым Ланде, лучшим из всех людей, которых она знала. Она будет такою же чужой всем, как и он, но ему будет принадлежать всем телом и всею душою своею, и жизнь новая, прекрасная, полная страдания и радости, опустится на них светлым облаком. И мысль эта была так тепла и так просто и властно выводила ее из тяжелого хаоса, что сердце задрожало в ней любовью и счастьем.

Марья Николаевна повернулась к Ланде и долго, с теплыми слезами на прекрасных, лучистых глазах, смотрела на него.

Ланде лежал, как его заставили, на кровати, бледный, худой, с длинными белыми руками, вытянутыми поверх одеяла. Свет лампы не доходил до него, и вокруг кровати стоял прозрачный сумрак, в котором лицо Ланде казалось светлым и красивым. Разбитая, обезображенная щека была в тени.

И вдруг, повинуясь какой-то неодолимой силе, тянущей душу и тело в жаркой тоске, Марья Николаевна медленно опустилась перед кроватью на колени, наклонилась над ним, тихо положила свою красивую черную голову ему на грудь и закрыла заблестевшие темным огнем глаза.

«Вот оно!»—почему-то подумала она, и показалось ей, что вся прежняя половина ее жизни, пустая и бессмысленная, сразу, словно высохший лист, отвалилась от нее. Все поплыло вокруг нее в светлом облаке, и слезы градом покатились по нежной, пухлой щеке. Сердце Ланде билось где-то близко, слабо и глухо. Она слышала незнакомый, странный запах его тела и чувствовала костлявую, твердую грудь.

Ланде открыл глаза и как будто не удивился. Он тихо и осторожно взял ее за маленький, выпуклый и мягкий подбородок и поднял ее голову к себе. Она уже не плакала, слезы сразу высохли на блестящих глазах, и она счастливо и смущенно смотрела на него в ожидании того, что он сделает с ней. Еще немного потянулась она, и мягкие, горячие губы прижались к губам Ланде. Ланде ласково и нежно поцеловал ее, как ребенка.

Девушка чувствовала, как внутри ее загорается что-то огненное, сильное, безграничное. Это новое, но уже как будто знакомое и приятное чувство наполнило ее давно ждущее, горящее от силы тело. Она закрыла глаза и

сначала робко, точно узнавая что-то, а потом все крепче и длиннее, вся в наслаждении и томлении, стала целовать его. Мягкое, упругое тело ее вздрагивало и жалось к нему покорно и требовательно.

Вдруг она быстро открыла глаза, потускневшие, вопросительные, и пристально взглянула в глаза Ланде. У него было холодное, испуганное, уничтожающее лицо, казавшееся теперь безобразным.

— Не... не надо... так!—растерянно улыбаясь бессильной улыбкой, проговорил он.

Сознание непоправимой, омерзительной ошибки острым светом вошло в мозг девушки. С секунду она смотрела на Ланде пристальными, полными стыда и отчаяния глазами, и яркая, резкая краска быстро стала заливать ее лицо. Щеки, лоб, шея ее вспыхнули, и, казалось, нет конца красному огню стыда и обиды. Она глухо охнула, откинулась назад и порывисто встала, закрывшись руками.

Ланде растерянно поднялся на кровати.

— Марья Николаевна, разве это... непременно нужно?.. Я люблю вас... только не так! Зачем это?—жалко и мучительно бормотал он, простирая к ней дрожащие руки.

Девушка отступила от них к столу и тяжело села на стул, не опуская рук. Потом она стала биться, как подстреленная птица, то хотела встать и уйти, то опять садилась, бессмысленно улыбаясь; и глаза ее, то с отчаянием и стыдом, то с каким-то внутренним недоумением, то виновато, то с ненавистью, скользили по Ланде.

— Ничего... Это так... Ошибка... я пошут... не знаю...— старалась говорить она, чувствуя, как все дальше и дальше отодвигается от него в пустоту одинокого стыда и холодной ненависти.

Соня тихо вошла на шум и остановилась на пороге, глядя большими, суровыми глазами.

— Маня, что с тобой?—строго, как будто предостерегая, спросила она.

— Ничего, ничего, Соне-чка!—обрываясь, выговорила девушка.—Я ухожу... мне пора...

Путаясь в юбке и неловко стукнувшись плечом о дверь, она вышла из комнаты и как призрак побежала по пустым, холодным улицам, сквозь ветер и тьму. Соня, выпустив ее, осторожно заперла дверь и подошла к Ланде.

— Соня, милая... как я виноват! Что мне теперь делать? Как я не предусмотрел этого!—говорил Ланде, хватая ее за руки.

Соня крепко сжала зубы, так что на ее призрачном личике жестко выдвинулись тоненькие скулы, и чувство недоброй радости засветилось в ее глазах.

— Вы ни в чем не виноваты!—твердо и решительно проговорила она и с злым торжеством прибавила:— Они все—твари, звери... и она такая же тварь!

Ланде с отчаянием всплеснул руками.

— Соня, что вы говорите!—вскрикнул он.

— Я всех их ненавижу!—мстительно прищурив глаза, сказала Соня.—Какие они все пошлые, грязные... как собаки!..

Ланде, широко раскрыв глаза и рот, с нескрываемым страхом смотрел на нее, и ему казалось, что это не Соня, а какой-то маленький, злобный дух.

2.

Скандал на бульваре взмыл слюнявую, грязную и липкую, как болотный дух, волну возбужденной сплетни. Имя Марьи Николаевны трепалось по всему городу в

связи с именем Ланде, и куда бы она ни приходила, ее встречали с острым любопытством и худо затаенным радостным презрением. Загнанная, потерявшаяся девушка металась из стороны в сторону, бессильно стараясь победить что-то грязное и холодное, невидимо окружившее ее. Иногда наступало молчаливое отчаяние, ей казалось, что вся жизнь пропала, и тогда в наступившей тишине, вырастая, как огненный цветок, из стыда, отчаяния и чувственной обиды, в ней подымалась жгучая ненависть к Ланде.

Но когда он в первый раз пришел к ней, все-таки в душе ее шевельнулась смутная надежда на то, что все еще изменится, пройдет, как гадкий сон, и тогда снова будет так хорошо, светло и радостно, как прежде.

Ланде вошел тихо; голова у него, через щеку и глаз, была повязана толстым белым бинтом и казалась уродливо-громадной, как исполинский белый одуванчик, покачивающийся на тоненьком, шатком стебельке.

— Здравствуйте!..—тихо сказал он.

Марья Николаевна растерянно встала и, не здороваясь, перебирала дрожащими пальцами по краю стола. Было в ней что-то прекрасное, беспомощное и жалкое.

— Я пришел сказать вам...—начал Ланде, подходя и беря ее за руку. Рука задрожала, и девушка подняла на него большие влажные глаза.

— Я пришел...—повторил Ланде.—Если бы вы знали, как я люблю вас, Марья Николаевна!..—с неожиданным напряжением вскрикнул он.—Вы мне кажетесь такой светлой, такой прекрасной, такой святой, как ангел!..

Глаза девушки трогательно просветлели, нежные, выпуклые губы чуть-чуть вздрогнули в попытке несмелой улыбки. Сердце глухо и радостно стало биться в груди.

Ланде было трудно говорить, он тяжело передохнул и сжал пальцы.

— Только я не могу быть вашим мужем...—вдруг упавшим голосом докончил он.

Марья Николаевна вздрогнула, как будто что-то тяжелое ударило ее по лицу. Нарождавшаяся радость и надежда вдруг упали в какую-то бездну, а из нее выросло с быстротой молнии сознание омерзительно-грубой, смертельной обиды.

— Что это... насмешка?—звонким и в то же время зловеще-тихим голосом проговорила она, вся выпрямляясь, как змея, которой наступили на хвост.

Холод и горе обняли Ланде; с печальной укоризной он посмотрел ей в глаза.

— Вы же знаете, что нет... Никогда я ни над кем не смеялся, а тем более над вами... Зачем же так говорить?.. Я сказал то, что чувствую: я вас люблю, только не так... Я ведь никогда не любил женщину так... Я не знаю, может-быть, я урод... Но неужели нет другой любви... и непременно надо это?.. Я не могу... Поймите меня!..

Ланде путался в бессвязных, нелепых словах, напрасно стараясь облечь в них горячее чувство мучительной жалости и горя, но Марья Николаевна уже не понимала его: между ними и ею как бы захлопнулась тяжелая дверь, сквозь которую слова пролетали искаженные, утратившие свой смысл и приобретавшие особое, оскорбительное, злое значение. Стыд и ненависть к нему встали в ней с потрясающей силой. У нее на минуту замерло сердце и закружилась голова. Слов она не слышала, в ушах стоял какой-то гул, и белый шар на тоненьком стебельке кошмарным, безобразным комком лез ей в глаза.

— Я и не прошу вас... Уйдите!..—сквозь стиснутые от внутренней боли зубы проговорила она.

Ланде машинально держал ее за руку, и это было ей уже противно. Бессвязные слова прыгали на его дрожащих губах, и он вкладывал в них всю душу, полную страдания и любви; но девушка, с неестественным выражением тупой злобы и омерзения, закусив нижнюю губу, молча вырвала руку.

— Оставьте... меня!—повторила она не своим голосом.

Ланде машинально тянул ее руку к себе и вниз, и глазами, полными муки, старался заглянуть ей в душу. Она, как глухая, не отвечала ему, не смотрела на него. То светлое чувство, которое Ланде возбуждал в ней и которое пробудило требовательную, жадную любовь, теперь обратилось в слепую ненависть, и чем больше старался Ланде победить ее, тем больше обострялась она. Огромное напряжение его бессильно ударялось и скользило по этой ненависти, не проникая в душу, как обнаженное кровавое сердце, брошенное с размаху на твердый, холодный лед.

— Милая, поймите меня... Ведь есть же другая любовь... есть?—сжимая ей пальцы, говорил Ланде.

— Да пустите же!—с дикой, тупой болью проговорила она.—Мне же больно...

Ланде опомнился и выпустил ее руку.

— Простите меня, я не хотел...—пробормотал он упавшим голосом.

Девушка взглянула на него искоса, с узким и злым презрением. С неестественным спокойствием она поправила волосы, роняя шпильки на пол, и вдруг пошла мимо него вон из комнаты, неприступно-холодная и враждебная.

Вокруг Ланде стало пусто и темно и как будто даже холодно. В окна вливались синие мертвые сумерки и наполняли комнату. В наступившей тишине, казалось, еще горели обрывки напряженного, горячего шопота.

— Марья Николаевна!—тихо позвал Ланде, и одинокий голос его разбудил в темном углу что-то насмешливо-гулкое.

Дверь тихо скрипнула, и вошла девчонка, держа перед собой сложенную бумажку. У нее были круглые, глупые глаза, и смотрела она на Ланде с испугом, как зверек.

Ланде машинально взял записку и прочел:

«Ради бога, оставьте меня! Может, я дурная, гадкая, но вы меня мучите. Я не могу, я вас ненавижу, вы мне противны... как гадина!»—было приписано криво и неестественно надавленным почерком.

«Надо оставить ее...»—смутно и уныло промелькнуло в голове Ланде.

— Хорошо, скажи барышне, что я больше не приду...—твердо и ласково сказал он, взял фуражку и ушел. В нем было чувство бесконечного бессилия, как у человека, ставшего перед стеной.

«Надо уйти, уехать... куда-нибудь, чтобы не доставлять ей лишних страданий»,—думал Ланде.

Было уже совсем темно, когда его окликнул Ткачев. Черный и худой, он подошел откуда-то из сумрака.

— Иван Ферапонтович,—глухо проговорил он,—бога для... поговорить... Я вас третий день выглядываю.

Ланде с радостью остановился.

— Здравствуйте, милый! Да отчего же вы ко мне не пришли?.. Я так рад бы вам был...

Ткачев застенчиво ухмыльнулся, пожимая его руку жесткими пальцами.

— Я, может, и пришел бы... Да у вас там люди... а мне промеж себя поговорить...—пробормотал он.

— Ах, как я рад, Ткачев, что вы, наконец, пришли!— весь волнуясь, говорил Ланде, крепко пожимая ему руки.—Может-быть, пойдем ко мне? Будем чай пить. Я вам все про себя расскажу... Мне не с кем теперь поговорить... а многое надо высказать... Вот и сейчас... Пойдемте, милый!

— Что же, пойдемте!—тихо согласился Ткачев.

Было уже недалеко, и они дошли молча. Ланде зажег лампу, принес чаю, сел против Ткачева и любовно посмотрел ему в глаза.

— Если бы вы знали, Ткачев, какую вы мне радость своим приходом доставили!..—сказал он, ясно улыбаясь.

— Я давно хотел притти... еще с того... как в лесу...—застенчиво и кося в сторону, ответил Ткачев.

— Да, да!..—радостно отозвался Ланде.

— А как этот вас ударил, так у меня все и осветилось!.. Тут я и понял... что правда не на моей стороне, а на вашей. Нету, Иван Ферапонтович, другого человека, как вы!—со внезапным порывом сказал он и даже привстал.

Ланде радостно смеялся.

— Как вы это хорошо сказали, Ткачев!

Ткачев напряженно вздохнул, как будто приготовляясь поднять огромную тяжесть.

— Я так полагаю, Иван Ферапонтович, что... не могу я этого высказать...

— Говорите, Ткачев!.. Вы теперь все хорошо скажете!—успокоительно погладил его по руке Ланде.— Говорите и чай пейте...

— Я скажу... я ведь затем и пришел... Вы слушайте, Иван Ферапонтович!..

— Я слушаю...

— Все, что я вам тогда в остроге наговорил, все это так, от отчаяния! Столько я страдал, столько зла и несправедливости и подлости видел, что в человеке изверился... Думал, что уж так и будет!.. Сволочь человек и конец!.. Куда ни посмотрю—одни звери кругом!.. Такое меня отчаяние, такая злоба взяла, что я и передать вам не могу... Да вы и не поймете, Иван Ферапонтович!.. Возненавидел я и людей, и себя, и жизнь!..

Ткачев вытаращил глаза, с трудом передохнул. Ланде грустно смотрел ему в глаза и тихо гладил по руке.

— Да уж... А вы мне глаза открыли, Иван Ферапонтович...—задрожавшим голосом проговорил Ткачев.— Только по вас я увидел, что значит истинный человек!.. Какой может быть человек!.. Тут я и вспомнил, как господь Содом и Гоморру за двух праведников пощадить хотел... И подумал я, что такой человек может жизнь перевернуть...

— Ткачев!—хотел перебить Ланде.

— Нет, вы постойте,—властно остановил Ткачев,— подождите... Я знаю, теперь вас не всякий и понять-то может, но оно пройдет, сквозь все пройдет!.. После вспомнят, поймут... Только бы вы... У меня, Иван Ферапонтович, вот какой план...

Ткачев привстал и наклонился к Ланде близко-близко, так что его горячее дыхание жгло Ланде лицо, а темные, мрачные глаза проникали точно в самый мозг.

— Надо слух о новой вере пустить!—подавленно прошептал он, восторженно грозя вспыхнувшими глазами.

— Что такое?—удивленно и испуганно вскрикнул Ланде.

— Новую веру!.. Вот... Народ вот как ждет! Потому... горе кругом! Кругом!.. К вам со всех концов пойдут, со всей России пойдут!.. Только слух пустить... Вы над всеми станете, всех поведете... Иван Ферапонтович!

Ткачев весь дрожал и горел.

— Какая вера? О чем вы говорите, Ткачев?—строго возразил Ланде.—Что я могу им дать?

— Вы? Вы все можете, Иван Ферапонтович!.. А вера это только так, для началу... Чтобы только колыхнуть!

Ланде, бледный и строгий, встал.

— Это не то, Ткачев!—сказал он.—Неужели вы не понимаете, чего вы хотите, какое это ужасное зло, обман и преступление было бы! Правды не будет из обмана, и я не могу этого... оставьте это!

Лицо Ткачева потемнело бесконечным страданием.

— Иван Ферапонтович!.. Вы один... другого такого нет!.. Неужели так и погибать всем?

— Никто не погибает, Ткачев!—так же строго и торжественно возразил Ланде.—Что вы говорите?.. Гибель в том, что вы затеваете... И это вам не удастся, потому что этого не надо!.. Не надо насиловать, обманывать... Борьба будет потому, что она нужна, как горнило... Но каждый шаг в этой борьбе должен быть прямым... Это прежде всего, и именно эта непоколебимая правда приведет к победе. Неужели вы этого не понимаете, Ткачев? Ложь—зло... Надо стараться не делать зла!..

— Только?—переспросил Ткачев.

— Да, только!—твердо ответил Ланде.—Это гордость в вас говорит, Ткачев!.. Кто дал нам с вами власть переделывать людей по-своему силой и обманом? Может-быть, именно мы с вами самые дурные,

погибшие люди?.. Как знать, зачем и для чего все кругом!.. Идите своей дорогой; кто пойдет за вами—пусть идет. Идите впереди, а не толкайте сзади! Если ваша жизнь будет права, след ее не пропадет, а пройдет через все века!..

Ткачев, понурив голову, молчал. Замолчал и Ланде и с любовью и состраданием смотрел в его опущенное лицо.

— Значит... нет?..—с трудом, совсем глухо проговорил Ткачев.—Значит, ошибся...

И в его глухом, упавшем голосе послышалось великое страдание раз и навсегда разрушившейся грандиозной мечты, смутной, но глубочайшей надежды.

— Полно, Ткачев!—любовно сказал Ланде.

Была уже ночь, когда Ткачев шел по улице, без цели и смысла шагая в холодной, ветреной тишине.

— О, чорт бы меня побрал!—с бесконечным отчаянием, громко крикнул он и, судорожно схватившись за волосы, замер, прислонившись головой к твердому, холодному забору.—Ведь мог бы... Юродивый, несчастный!—с лютой злобой прошептал он.

Сторож строго постучал колотушкой где-то во тьме.

XX

Слабый и совсем больной от бесконечной ночи встал Ланде на другой день. Всю ночь он думал о Ткачеве и Марье Николаевне, и душа его была полна светлой печалью.

«Какие они оба могучие, какая у них огромная жажда жизни!.. Бедный, милый Ткачев! Какое это счастье так любить жизнь и так стремиться к ней... Они теперь

несчастны, но это пройдет, а живая сила останется,— они будут счастливы, в счастье ли или в страдании».

Утром он решил пойти к Молочаеву.

Художник был дома и угрюмо сидел на окне, куря одну папиросу за другой. Увидев Ланде, он быстро встал и весь вспыхнул. Что-то непонятное и громадное прошло у него в мозгу.

Ланде прямо прошел через комнату и молча, улыбаясь, протянул ему руку. Лицо у него было светлое и спокойное.

Одну секунду теплое чувство внезапно овладело Молочаевым, и ему неудержимо захотелось просто, искренно и сильно пожать протянутую руку, но уже в следующее мгновение все опять спуталось в его душе. Ему почудилось что-то обидное в этом поступке Ланде, и Молочаев весь съежился, его красивое лицо неестественно искривилось в оскорбительно-вежливую улыбку.

— Очень приятно...—жестко усмехаясь, сказал он в нос и, кривляясь, с преувеличенным уважением пожал руку Ланде.

— Садитесь, пожалуйста! Как ваше здоровье?—спросил он, нарочно скользнув взглядом по белому пузырю вместо головы.

Ланде тронул повязку рукой и просто сказал:

— Не очень хорошо. Вы меня страшно больно ударили.

Вдруг Молочаев потерялся. Густая краска выступила на его лице. Он старался овладеть собой и тем же оскорбительно-вежливым тоном возразил:

— Мне, право, очень жаль...

Ланде посмотрел ему в глаза ясным и спокойным взглядом.

— Нет, зачем так?—тихо возразил он.—Вам не жаль,—ведь вы и хотели меня ударить больно...

Тяжелое, смутное чувство овладело Молочаевым. Как будто что-то придавило его, и смутное сознание, что Ланде не смешон, а смешон он сам, смешон и ничтожен,—больно прилило холод к груди.

— Я пришел, собственно, сказать вам,—коротко и ровно говорил Ланде,—что мне очень жаль, что я довел вас до этого. Я знаю, что вы меня ревновали к Марье Николаевне... А я вовсе не хотел вам мешать. Я, правда, люблю эту девушку за огромную живую жизнь, которая в ней есть, но только я любил ее всегда совсем не так... Теперь она возненавидела меня за все это, за то, что ошиблась. Вы идите к ней,—она полюбит вас, я думаю... А меня вы простите и не чувствуйте ко мне дурного. Я вас люблю,—вы такой сильный и красивый человек... Теперь я пойду,—я знаю, что вам еще не может быть приятно со мной говорить. Прощайте!

Ланде встал и протянул руку. Молочаев, закусив губу, тем же движением, как это вышло у Марьи Николаевны, протянул свою. Ланде ушел. И когда он ушел, дурное, злое, обиженное и завистливое чувство вновь овладело Молочаевым. Он заметался по комнате, нарочно стараясь преувеличить и раздуть свое чувство. Как будто это удавалось ему, и он засмеялся над Ланде; но в то же время ему стало скучно и как будто жаль чего-то. Он не мог понять, чего именно, но чувство было глубоко и мучительно, и ему стало казаться, что оно останется в нем навсегда, и на всю жизнь будет так гадко, потерянно и тоскливо.

XXI

Жизнь Ланде становилась все более одинокой, и в этом чудилось что-то неизбежное. Горящая и мятущаяся любовью душа его была все чаще унылой и печальной, как живая зеленая ветка, обмерзающая непроницаемо-прозрачной, холодной корой льда. В последние дни он постоянно был один. Только Соня ходила за ним неотступно, но именно ее, одной в целом мире, Ланде стал почему-то бояться: ему все казалось, что она, как помешанная, больная, видит не его, а кого-то другого, и что вот-вот она откроет свою ошибку и тогда возненавидит его всею своею душою, и не будет ни границ, ни предела ее ненависти.

В одну одинокую, грустную ночь Ланде написал Семенову длинное и горячее письмо, в котором задавал много мучительных вопросов о правде, о людях, о счастье. На это письмо больной студент ответил так:

«Оставь меня, пожалуйста, в покое! Я умираю, и мне не до тебя! Передо мною теперь самый важный, последний и единственный вопрос человеческой жизни: как умирать?.. Можно ли толковать о людях, о любви, об одиночестве, когда человек всегда и при всяких отношениях к людям умирает один! Ты, конечно, не можешь понять этого слова во всем его настоящем смысле: смысл этот—ужас. Этот ужас я должен перенести один, никто не может,—понимаешь?—не может сопровождать меня, даже если бы захотел этого больше всего на свете. Теперь все для меня разделилось на две половины, не имеющие никакой связи: одна, ничтожная,—вся мировая жизнь, другая, неизмеримо громадная,—моя смерть! Теперь, когда я отошел от всего и стою один в пустоте, я вижу, что на самом деле

так было и всегда, а мне только казалось, что я живу не один. Всю жизнь с усердием, достойным лучшей участи, я старательно лепил вокруг себя какой-то цемент из веры, идей, любви и жалости и думал, что это прочно, незыблемо; но как только повис над пустотой смерти всей тяжестью своего я,—все сразу распалось, как сухая глина, и я полетел один, как камень. Не сегодня—завтра мне умирать, а люди остаются жить, как ни в чем не бывало. Так о чем же ты городишь? Ты почувствовал себя одиноким и несчастным оттого, что люди не разделили твоих пылких чувств и не бросились в твои братские объятия?.. Удивительно! Да неужели ты не знал, что все равно, когда ты будешь умирать, люди не будут даже в состоянии понять твое чувство, и будут принуждены выпустить тебя из самых крепких объятий... Ты, впрочем, человек верующий,— я было позабыл об этом; но поймн же ты хоть раз в жизни, что если мы все и встретимся в той, иной жизни, о которой мы ровно ничего не знаем и знать не можем, то там мы и поговорим в подходящем случаю духе, опираясь на то, что нам тогда будет известно!.. Знаю я, что теплее жить, если люди тебя греют,—оно, конечно, что и говорить!.. Ну, что же, беги по улицам и кричи: «О, люди, люди, люди!» И побегут за тобой и будут кричать: «О, Ланде, Ланде!..» Только и всего! А страдать ты всегда все-таки будешь один, ибо если у тебя заболит живот, у самого лучшего друга, у брата, у жены не сделается от сочувствия ответное расстройство желудка.

Еще раз прошу тебя: оставь меня в покое! Когда-нибудь ты сам поймешь, как это все глупо, и так же возненавидишь людей за ту глупую роль, которую старался сыграть, как я теперь возненавидел. Если бы

ты знал, какую ужасную, душащую ненависть возбуждают во мне все... Будьте вы все прокляты! Если бы я мог, я бы задавил всю землю. Зачем я жил, Ланде? Господи, как страшно, пусто, холодно! Ради бога, не трогай меня больше!»

Холодный ужас повеял в лицо Ланде от этого письма. Образ умирающего в одиночестве Семенова встал перед ним, как сплошное, кровоточащее страдание.

«Бедный Вася, что с ним, откуда такой ужас, такая злоба? Ведь это ужас, которому имени нет,—такая смерть!.. Не может быть, чтобы это было так, само по себе! Это оттого, что он один, от страха, от боли. Надо ехать к нему».

И все чувства и мысли Ланде вылились в одну: надо к нему. Он не знал, что скажет, чем подымет упавшую душу, но в нем жила светлая и торжественная вера, что любовь сделает все: любовь пробьется сквозь страдание, согреет и оживит душу, и она раскроется, как цветок на заре, осветится и воспримет любовную торжественную веру.

Вся кровь прилила к лицу и сердцу Ланде, так что в глазах у него помутилось. Страстное чувство томило и тянуло его до боли, до лихорадочного состояния. Он машинально вышел на крыльцо и долго стоял без шапки, глядя в далекое необ, с которого моросил невидимый, мелкий дождь. Холодный, упругий ветер рванул его широкой волной, зашевелил волосами, буйно и холодно ударил в лицо и перехватил дыхание.

«Надо достать денег!—мелькнуло в голове Ланде.—Негде!—сейчас же подумал он.—Маму нельзя просить,—она не даст. Все, что я хочу, теперь вызывает в ней только злобу и желание сделать не так. А больше не у кого. У Шишмарева нет, наверное...»

Ланде растерянно, блуждая глазами, вернулся в комнату. Тут, глядя в упор на лампу, он подумал:

«Пойду к отцу Павлу».

Почему у него явилось такое решение, Ланде не мог бы объяснить. В его памяти просто выяснилась фигура старого заштатного священника, с его розовой лысиной, добродушным старческим лицом, белой ряской и тем как будто ласковым и сочувственным взглядом маленьких глаз, которым он провожал его при встрече.

И на другой же день, все еще с обвязанным лицом и закрытым глазом, похожий на вставшего от тяжелой болезни, Ланде перешел большую, заросшую пыльной травой площадь, отворил калитку и пошел в маленький уютный и как будто теплый дворик. День был серый, сухой и неподвижный, но большие осыпанные золотом деревья казались освещенными ярким солнцем, и во дворике было светло, тихо и радостно. Неподвижно стояли перед окнами, в крошечном палисаднике, милые, наивно-пестрые цветы. Пахло яблоками, осенними листьями и каким-то особенным запахом тишины и покоя.

Старый попик сидел на чисто оструганном крыльце в чистой, белой ряске, весь розовый и белый.

Ланде торопливо подошел с озабоченным лицом.

— Здравствуйте, отец Павел!—заговорил он.

Старый попик посмотрел на него, точно нисколько не удивившись его приходу.

— Здравствуйте! — приветливо ответил он. — Садитесь! Чем могу служить?

Ланде так же торопливо сел на другом крыле крылечка.

— Я к вам с просьбой...—наскоро заговорил он, ибо ему казалось, что то огромное, что наполняет его душу, всякому человеку понятно с одного слова, и надо

поменьше слов.—У меня есть один товарищ... вы, вероятно, его знаете—Семенов.

Старый попик помолчал.

— Слыхал...—неопределенно ответил он и провел маленькой сморщенной ручкой по серебристым сухим волосам.

— Так вот... Этот Семенов теперь в чахотке... умирает...—торопился Ланде.

— Воля божья!—торжественно и просто сказал старый попик.

Он вздохнул и перекрестился.

— Я от него письмо получил,—говорил Ланде, доверчиво придвигая голову к попику,—ужасное письмо!.. Видно, что он впал в последнее отчаяние, когда в душе только ненависть и злоба... Я вам покажу это письмо!..

Ланде торопливо вытащил из кармана тужурки письмо.

Старый попик посмотрел на письмо и ничего не сказал.

— Сколько в нем страдания, одиночества, горя!..—со скорбным напряжением говорил Ланде.—Сколько отчаяния и неверия!.. Страшно становится, когда читаешь это письмо... Страшно и жалко до слез! Вы понимаете, сколько страдания должен испытать человек, умирая в полном неверии! Нет названия этой муке!.. Вот, вы прочтите письмо!

Попик опять посмотрел на письмо, но руки не протянул.

— Я чувствую, верю,—продолжал Ланде, держа письмо в протянутой руке и не замечая этого,—что если бы я мог поехать к нему, я много облегчил бы ему. Я чувствую, что смогу, потому что верю в это. Он почувствует, что не один, и этого уже достаточно... Только

у меня денег нет на дорогу,—по-детски улыбаясь, вдруг прибавил Ланде.

Он взглянул в лицо попику, и вдруг ему показалось, что добродушные глазки его—не глазки, а только глубокие дырочки, добродушные только от морщинок, розовых и лучистых, а в глубине этих дырочек сидит кто-то маленький, злой и острый. Он с инстинктивным испугом замолчал и растерянно смотрел на попика.

Попик тоже молчал и смотрел на него. Было тихо, и за спиной попика беззвучно кружился золотой лист, опускаясь на землю.

— Да вот, вы прочтите письмо!—торопливо пробормотал Ланде и протянул к самым коленям попика сложенную бумагу.

Старый попик вздохнул, погладил волосы и бородку и взял письмо.

Читал он его долго, спокойно, как будто читал мирное и сладкое житие преподобного. Потом опять вздохнул, сложил письмо и отдал Ланде.

— Вот видите!—оживленно показывая рукой, сказал Ланде, взял письмо и положил на крыльцо.

— Вы письмецо уберите,—тут у меня этой погани не годится!—тихо, но властно сказал попик.

Ланде не понял его слов, но письмо взял и положил в карман.

— Вот я и хотел денег попросить у вас... Вы видите, необходимо ехать кому-нибудь,—серьезно и просто сказал он.

Старый попик вздохнул.

— Да-с, очень может быть. Только денег я не дам,—уж вы простите... И есть, послушайте серьезно, да не дам.

Точно холодная тяжесть ударила Ланде по голове. Он вскочил в отчаянии.

— Почему? Вы же читали сами!

Старый попик тоже встал.

— А потому, послушайте серьезно,—ответил он,— что Семенова этого я давно и хорошо знаю. Безбожный и зловредный человек, послушайте серьезно, неверующий, отступник. И, послушайте серьезно, и вам не советую.

Ланде широко раскрыл глаза.

— Значит, отступиться от него? Оставить его умирать в отчаянии?..

— По деяниям достойная смерть!—сказал старый попик, заложив руки за спину, и опять из-за розовой маски выглянуло что-то жестокое и злое.

— Побойтесь бога!—воскликнул Ланде.—Что вы говорите, батюшка!

— Не вам меня учить, послушайте серьезно!—возразил попик.

— Да ведь вы служитель церкви... Христовой церкви!

— Господин Семенов сам давно отступился от церкви, и не церкви за ним бегать, послушайте серьезно!— сказал старый попик.

Ланде с молчаливым отчаянием смотрел на него. Старый попик стоял, спокойно заложив руки за спину. В его маленьких глазах что-то играло и как будто веселилось.

— Так ведь... не могу же я ехать без денег...— машинально пробормотал Ланде.

— А вы зайчиком...—вдруг сказал старый попик.— А то и пешочком пойдите!

Ланде с удивлением посмотрел на него, но лицо попика было как будто серьезно.

— Да ведь это очень далеко!—проговорил он.

Старый попик вздохнул.

— Далеко. Что ж, послушайте серьезно, по вашему понятию, дело это великое... Вот вы и потрудитесь...

И стало вдруг Ланде холодно возле этого розового, седенького, беленького старика-попика. Он машинально повернулся и пошел к калитке.

— Но тут надо скорее... Он может умереть, пока я дойду...—остановился он.

Старый попик ответил ехидно, с нескрываемой уже насмешкой:

— Если господу будет угодно, то застанете вы его в живых...

Ланде помолчал. Как белое облако в золотом фоне, стоял попик посреди чистого, мирного дворика.

— Ну, что ж,—сказал Ланде,—придется итти. Я пойду, если не достану денег,—не в том дело... Как вам будет стыдно потом!—скорбно и торжественно прибавил он.

И поднял попик сухенькую ручку.

— Идите, послушайте серьезно, идите отсюда!

— Батюшка, я не хотел вас обидеть!—вскрикнул Ланде.

— Идите, идите!

И было что-то такое холодное и непреклонное в его тихом, ясном голосе, что Ланде ничего больше не сказал, опустил голову и вышел.

Слышно было, как старый попик подошел к калитке и наложил крюк.

XXII

Вечером Ланде сказал об этом матери. Она посмотрела на него с ненавистью, дикой на старом, добром лице, и шипящим голосом сказала:

— Опять фокусы!.. Господи, да когда же это кончится, наконец!

Она встала и ушла от него, с холодной и тупой злобой в душе, хлопнув дверью.

Ланде печально посмотрел ей вслед, взял фуражку и пошел к Шишмареву.

Маленький студент сидел один в маленькой комнате и пил чай за маленьким самоваром. Большая раскрытая книга лежала перед ним.

Увидев Ланде, он как-то нескладно встал и протянул руку.

— А, это ты... Здравствуй! Садись! Хочешь чаю?— резко, как-будто не проговорил, а прокричал он.

— Нет,—сказал Ланде,—я пил чай... Получил письмо от Семенова.

— А!.. Что же он пишет?

— Ты сам прочти,—я этого не могу пересказать...— ответил Ланде.

Маленький студент долго и внимательно читал письмо.

— Да, бедняга!—вздохнул он, кончив, и, заложив обе руки, в коротких рукавах тужурки, между колен, потер их, точно ему стало холодно.

— Я хочу ехать к нему!—сказал Ланде.

— Зачем?—серьезно и внимательно спросил Шишмарев.

Его резкий голос произвел почему-то на Ланде такое впечатление, как-будто он запустил ему куда-то в душу тонкий и твердый ножик.

— Что ж ты там можешь сделать?—повторил вопрос Шишмарев, пока Ланде собрался отвечать.

— Я не знаю, что я могу сделать...—ответил Ланде.— Я только чувствую, что надо ехать.

Шишмарев уже давно стал чуждаться Ланде: кротость его казалась маленькому студенту бессилием, неспособностью к борьбе. Иногда он чувствовал за этой кротостью что-то, что смутно его поражало, но он сторонился от этого и смотрел намеренно-равнодушными глазами, как смотрел маленький студент на все, что не понимал просто и ясно его резкий и жесткий ум.

Серьезным взглядом он посмотрел в лицо Ланде, еще глубже засунул между коленями широкие кисти рук и возразил:

— Не знаю... Ты так подчеркиваешь это «чувствую», точно здесь что-то мистическое... Что касается меня, то мне кажется, что своим приездом ты ровно ничего не поможешь. И сам измучишься и его измучишь... Оставь лучше... зачем?..

— Вот ты говоришь,—зачем?..—задумчиво ответил Ланде.—В этом вопросе уже заложена мысль, которая губит человека... Не надо спрашивать. Надо делать то, что чувствуешь. Это выше нас: прикладывая свою мерку, мы только убиваем душу...

Шишмарев резко пожал плечами, не вынимая рук.

— Какую там душу?.. — досадливо возразил он.— Оставь, пожалуйста... Должен же быть какой-нибудь критерий поступков... Раз ты хочешь ехать, то должен же себе уяснить, какая польза будет от этого.

Ланде печально вздохнул.

— Я не знаю... может, и никакой пользы не будет...— грустно проговорил он.

Шишмарев удивленно поднял брови.

— Так для чего же?

От его резкого голоса лампа как будто вздрагивала.

— Для чего? Для той правды, которую я чувствую и которая зовет меня!—глубоким грудным звуком сказал Ланде.

— Опять эта правда!.. Может, скажешь, высшая правда?—с иронией спросил Шишмарев.

— Конечно, высшая, потому что выше уж ничего нет!—серьезно ответил Ланде.

Шишмарев не пожал, а рванул плечами.

— Высшая правда—одна, та, которую дает разум, мысль!—крикнул он.—У нас нет ничего, кроме добытого мыслью понимания!

Ланде всплеснул руками.

— Что ты говоришь! Какое убожество, какая бедность жизни была бы, если это так!

Шишмарев вскочил и размахнул руками, отчего чуть не до ушей поднялись его узкие плечи.

— Какое убожество? По-моему, убожество—это тешить себя сказками, заранее ставить пределы своей мысли!

— Она сама знает свои пределы...—тихо возразил Ланде.

— Никаких пределов она не знает!—резко кричал Шишмарев.—Горизонты мысли беспредельны! Из того, что сейчас мы не знаем всего, вовсе не значит, что мы так никогда и не узнаем. Мысль так же беспредельна, как весь мир! Как возможность!.. Как расширяется теория возможности, так расширяется и мысль... бесконечно!

— В пустоту?—мучительно спросил Ланде, широко открыв глаза.

— Да, в пустоту!—горячо и резко, еще резче, чем прежде, ответил Шишмарев.

— Но ведь это ужас!

— Ну и пусть ужас... Я сам знаю, что куда легче убаюкивать себя золотой мечтой о единой, всеобъединяющей душе мира и тому подобное! Но что касается меня, я предпочту пустоту той правде, которая только потому и правда, что с ней легко и приятно жить. Ххм!..—Он замолчал и весь дергался от возбуждения, глубоко засунув красные кисти рук в карманы тужурки и перебирая там пальцами быстро и беспокойно.

— Я не стану с тобой спорить,—просто сказал Ланде,—и потому, что ты умнее меня, и потому, что об этом не надо спорить; но только именно потому, что я чувствую всю бесконечную громадность внутренней силы человеческой, человеческой мысли,—я не могу поверить, чтобы она исходила из абсолютной пустоты и уходила в нее же, как бессмысленный болотный огонь, возникший из грязи!.. Слишком светло она горит, слишком сильно разгорается, охватывает весь мир, освещает, согревает!.. Нет, я чувствую правду... Я все-таки поеду к Семенову, Леня!

— Это дело другое...—сдержанно ответил Шишмарев.—Если хочешь, если тебе жаль его, так поезжай... Дело твое!

Он сел за стол и стал помешивать ложечкой, тихо звеня в полупустом стакане. Плечи его все еще вздрагивали от возбуждения.

— Я поеду, только денег у меня нет.

— Ну, и у меня, брат, нет!—извиняющимся тоном ответил Шишмарев, виновато разводя руками.

Ланде хрустнул пальцами.

— Ах, господи... что же мне делать?..

Шишмарев опять развел руками.

— Подожди! Может, как-нибудь устроится...

— Нет, — махнул рукой Ланде, — здесь не время ждать... Пойду...

Шишмарев быстро поднял голову; смешливое удивление расширило его рот.

— Пойдешь? То-есть, как пойдешь? Пешком?

— Пешком, конечно... Где-нибудь подвезут...—просто ответил Ланде.

Шишмарев пристально, расширив рот, смотрел на него, потом вдруг сделался серьезен.

— Слушай, Ланде... есть же границы всяким чудачествам!—пожав плечами, вразумительно сказал он.

— Это не чудачество. Мне не на что ехать, я и пойду. Ходят же богомолки за тысячи верст...

— Богомолки...—спутался на мгновение Шишмарев.— Так то, во-первых, богомолки, а во-вторых—не осенью... Ты не дойдешь просто!

— Может-быть, и дойду.

Раздражение опять начало овладевать Шишмаревым.

— Богомолки ходят ради веры... которая у них одна в...

— И я иду ради своей веры,—улыбнулся Ланде.

— Да... Ну... Но ведь должен же ты сообразоваться хоть с обстоятельствами!!

— Это так легко определять жизнь свою по обстоятельствам!!—с нежной укоризной сказал Ланде, улыбаясь светлыми глазами.—Так можно совсем перестать верить себе и начать во всем уже верить обстоятельствам... Нет, пусть уж так: чувствую я, что надо итти, ну, и пойду... Как-нибудь...

— Да пойми ты, наконец, что, прежде всего, ты этим фактически ничего не изменишь!

— Мы этого не знаем!—строго ответил Ланде.—Это только кажется так...

Шишмарев бессильно помолчал.

— Это глупо,—ты не дойдешь, ничего не поправишь!.. Это глупо и невозможно.

— Нет уж,—вздохнул Ланде, задумчиво глядя на него,—я знаю, что тебе кажется это глупым, невозможным, нелепым, но... только я все-таки пойду... Не удерживай меня, голубчик, не надо этого!

Шишмарев со странным чувством пожал плечами.

— Чорт знает что такое!—пробормотал он и наклонился к стакану.

Они молчали.

— Ну, я ухожу; прощай пока!—сказал Ланде, вставая.

— Посиди!

— Нет, голубчик... приготовить кое-что надо...

Он тепло пожал руку Шишмареву. И вдруг маленький студент почувствовал смутную грусть.

— Так и пойдешь?—усиливаясь смеяться, но дрогнувшим голосом спросил он.

Ланде был выше его на голову и любовно смотрел на него сверху.

— Пойду!—кивнул он головой.

Шишмарев хотел что-то сказать, но странное чувство сдавило ему горло, и он только слабо пожал плечами.

Они стояли уже в темной передней, в которую падал только узкий свет из двери, когда Ланде вспомнил о Ткачеве.

— Помнишь ты того человека, из-за которого меня Молочаев побил?—спросил он.—Как-то он приходил ко мне...

Ланде рассказал о своем разговоре с Ткачевым. Рассказал он просто и коротко, но что-то громадное,

подавляющее стало медленно вставать в мозгу Шишмарева. Грандиозная фантазия властно захватила его и, странным образом воплощаясь в темной фигуре Ланде, стоявшего перед ним, очаровала маленького студента новым, захватывающим чувством. Он порывисто схватил Ланде за рукав и резко крикнул:

— А ведь это громадно! Что ж ты?

— Да,—сказал Ланде,—мне было ужасно больно разрушать его мечту... Несчастный он... С такой бурей в душе никогда нельзя успокоиться...

— Значит, ты отказал?—с каким-то испугом спросил Шишмарев.

Ланде улыбнулся.

— Разве я мог согласиться быть пророком, не будучи им?

Шишмарев вдруг опомнился, потер руки и смутно проговорил:

— Ну, да...

Он проводил Ланде на крыльцо.

Было темно и уныло.

— Прощай!—сказал Ланде, удаляясь в темноту.

— Прощай!—сказал Шишмарев.

Он долго стоял на крыльце, потом вернулся в комнату и сел за стол. Лампа горела ярко, но ее узкий свет тупо и вяло ложился вокруг. Углы комнаты были уже в сумраке. Шишмарев подвинул к себе книгу, но буквы резали глаза, не врезываясь в мозг. Странное волнение овладело им. Он то вставал, то садился, точно что-то громадное вошло в него и томило его. Все мысли и чувства его были полны Ланде. Было трудно думать о нем, мысли прыгали и путались, сменяя одна другую. Голос Ланде, слабый и мягкий, стоял в ушах, и неясный образ стоял возле и в нем, туманный и огромный.

Шишмарев вдруг пожал плечами и неестественно резко засмеялся, хотя никогда прежде не смеялся один. Смех остро зазвенел у него самого в ушах.

— Чорт знает что такое!—хрипло проговорил он. Было такое чувство, точно по душе его, жестоко-упорной, прошла вдруг какая-то глубокая, огненная борозда, конец которой терялся впереди, в бесконечной дали будущей жизни.

XXIII

Ночью, в начале осени, когда воздух был уже редок и холоден, Ланде тихо вышел из дому, одетый в черный, старый, купленный у монаха подрясник и с мешком за спиной.

«Так легче и проще будет итти...»—думал он.

Тихо и пусто было во всем городе. На небе была непроглядная пелена бледных туч. Не было луны, не было звезд. Медленно уходили назад темные дома с запертыми, слепыми окнами, и холодные деревья, облепленные черной тьмой. Скоро Ланде вышел в поле. Ветер рванул полы его подрясника и зашумел в ушах протяжно и уныло. Пусто, широко и холодно раскинулось вокруг бесконечное поле. Тучи шли, казалось, еще дальше, еще выше. На темных буграх уныло качалась сухая трава. В душу Ланде вошло необъятное чувство простора, и вместе с ним вошло и отчетливое сознание, что ему не дойти. Но вошло оно без сомнения, без тоски и отчаяния, напротив, ему стало легко и свободно, как будто именно этим он стал на прямой путь, наконец уже прямо ведущий к цели, и сердце его сладко сжалось, точно в предчувствии светлой радости.

Но это было только сознание, а не мысль. В мысли его стоял только образ больного, страдающего

человека, к которому он шел, и он не думал, что с ним самим будет впереди, как не чувствовал жалости и печали о том, что оставлял. В сердце его было светло, и оттого везде было светло. Легкими, быстрыми шагами, точно упругая земля сама отталкивала его ноги, шел он вперед по широкой, мягкой дороге, радостно и удивленно оглядываясь кругом и радостно прислушиваясь ко всякому звуку степи, приносимому уныло шумящим вдоль дороги, одиноким ветром.

Настало утро, потом день, опять ночь и опять утро. Пять дней он шел деревнями и ночевал у мужиков, смотревших на него недоверчиво и угрюмо и неохотно пускавших его к себе. С ним мало кто говорил, потому что мало кто его понимал, хотя он просто и легко заговаривал со всеми. Старухи, подперев высохшие щеки рукою, спрашивали, откуда он идет и не от Серафима ли, а мужики только косились и отмалчивались. На пятый день огромный черный мужик, с черной, точно вырубленной топором бородой и злыми глазами, сказал ему угрюмо:

— Проходи, проходи, а не то и к уряднику недолго... Много вас тут шляется!

И было в этом что-то такое недружелюбное, непонимающее, чужое, что Ланде стало страшно и жалко. Широко раскрытыми глазами он всматривался в деревню, и она проходила мимо, такая же обособленная, непонятная и убогая и богатая жизнью, как те огромные, пестрые стада, которые медленно поворачивали к нему рогатые, могучие головы и провожали его таинственными, большими глазами, когда он проходил мимо. С любовью и умилением смотрел Ланде на этих людей, похожих на волов, и на этих волов, похожих на каких-то странных людей, и чувствовал себя еще далеким, еще

ненужным и непонятным им. Было грустно, и мечтательно хотелось заглянуть куда-то вдаль. Но взор был туп и бессилен, и было тяжело. Только когда в поле было совсем пусто и солнце на всем необъятном просторе светило, казалось, для него одного, Ланде было совсем весело, хорошо и легко. Но это было редко, потому что по всем направлениям, в бесчетном количестве, как муравьи, копошились люди.

И когда ему указали ближайшую дорогу через лес, и лес выступил перед Ланде зубчатой стеной, и он вошел в его торжественную и тихую зелень,—ему стало радостно, и в первый раз в жизни он почувствовал облегчение оттого, что не было здесь нигде озабоченного, непонятного человеческого лица.

Целый день он шел по чуть намеченным, заросшим лесным колеям, и целый день вокруг него стояли только высокие, задумчивые деревья и во все стороны углублялась их прозрачная, зеленая глубина. Беззвучные птицы неслышно перепархивали вокруг него, как-будто притворяясь, что не замечают человека. Где-то трещали ветки, точно по лесу шел кто-то, не человек.

Потом лес стал редеть, потянуло сыростью и еще непонятной, но ясно ощутимой силой, что-то заблестело между деревьями. Это была большая, глубокая, многоводная река. Только у самых берегов росла зеленая осока, таинственно раскачивающая над глубиной узкими, как зеленые острые сабли, листьями; а огромная масса воды, полной и свободной, медленно и гладко текла, чистая и широкая. На той стороне стоял сплошной стеной такой же темно-зеленый лес, и сзади надвигались молчаливые деревья, вытягивая к реке узловатые ветви, точно колдуя над темной глубиной.

Было пусто, и долго было пусто, и Ланде задумчиво сидел на берегу. Потом вдоль берега неслышно заскользил челнок, такой же зеленоватый, сырой и дикий, как стволы деревьев, а в нем стоял на коленях мокрый и тоже зеленый, корявый мужик. Он не нарушал покоя реки и леса, а сливался с ними, так что глаз, не останавливаясь, скользил по нем, как и по осоке, и по воде, и по небу.

— Дедушка!—крикнул Ланде, вставая на берегу.

На той стороне, в лесу, кто-то прокричал тоненьким, странным, гулким голоском:—У... а... а!—И смолк где-то страшно далеко, точно подхватил редкие звуки и быстро унес в глубину леса.

Мужик положил весло на колени, поперек челнока, и челнок долго скользил сам, оставляя за собой узкую серебристую ниточку, звеневшую, как стеклянная.

— Ась!—отозвался мужик.

— А-а!..—акнул в лесу подкравшийся и опять торопливо убежал в чащу...

Потом мужик долго греб через реку, а Ланде сидел на носу челнока, длинной черной полосой отражаясь в воде.

— Далече ли идешь?—спрашивал мужик глуховатым, лесным голосом.

— Далеко,—охотно ответил Ланде.

Мужик посмотрел на него маленькими, быстрыми, лесными глазками.

— Так...—сказал он, перестал грести и смотрел в воду.

— Сказывают, в Сибири много вольготнее...—заговорил он неожиданно, как будто то, что сказал Ланде, было в связи с его долгой, упорной думой.—Так-то вот, ходит народ искать, где лучше... Оно точно, податься

некуда, а только ни к чему это... Правды искать идут, а правды-то нигде нет... Все одно, здесь ли, там ли, а только ты себе живешь, вот как я, к примеру, в лесу... думаешь, окромя бога, над тобой никого нет... Все от бога, и ты сам к богу, помощи больше никто не подаст; ан нет, придет незнамо кто, незнамо зачем и берет... Народ темный, не знает, может, и надо так, кто его знат!.. Думка-то есть, да кто ее скажет!.. Так-то вот, век спину гнешь, напираешь, глядишь, только-только вздохнул, бога вспомнил, раз!—и нет ничего!.. А опосля того в кабак, потому невозможно... Правды нет, милый человек, нет... А тут, там ли—все едино, земля везде одна!..—говорил мужик убитым, монотонным голосом, с той скрытой страстью, которая без крику кричит об исстрадавшейся вконец душе.

— Правда в самом человеке,—скорбно сказал Ланде,—а не в земле. Надо любить и жалеть прежде всего друг друга, а остальное потом все будет!

Мужик мрачно усмехнулся.

— Знаем мы, милый человек, что будет!—как будто не придавая этому значения, как неизбежному, как тому, что завтра непременно будет день, сказал он.—А теперь как жить, вот ты скажи!.. Любить, говоришь... Где уж тут любить, когда иной раз за корку хлеба, скажем, глотку бы перервал!.. Вот.

Мужик помолчал и с затаенной ненавистью прибавил:

— Господам-то оно хорошо говорить... Господам да попам!.. Нет, ты вот тут правду-то поищи!—злобно проговорил он и, вместе с веслом, ткнул к Ланде свою корявую, мозолистую, сплошь изъеденную рыбьей солью руку.

— Так-то...—другим голосом, тихим и печальным, помолчав, заговорил он.—Богу-то видней, куда дело

идет!.. Тем и живем, а то б... Нету на свете правды, а, может, в том-то и дело все: богу-то правда нужней сытости; затем люди и муку принимают, что через нее правда на земле идет!.. Так ли, милый человек?

— Так, так!..—радостно ответил Ланде, кивая головой.—Все, что на свете есть, и науки все, и дела все, и мысли все,—все двигается страданием... Не будь муки, остановилось бы все, и душа бы умерла!

Челнок ткнулся о берег. Ланде медленно и нерешительно вылез наверх. Мужик остался внизу. С минуту они молча смотрели друг на друга. Что-то крепкое и сильное протянулось между ними, и были в эту минуту они близки и далеки друг другу, как два конца туго натянутого каната; чувствовалось жгучее и властное желание что-то сказать, что-то важное, соединяющее; но ничего нельзя было выразить, потому что не было слов, одинаково сильных и одинаково понятных для обоих—мужика и Ланде.

— Прощай, дед!—грустно сказал Ланде.

Мужик угрюмо пробормотал что-то непонятное, оттолкнулся от берега и опять заскользил по реке, корявый, зеленый и мокрый, как водяной корень. Ланде долго смотрел ему вслед, пока он беззвучно не уплыл за поворот и пока не сгладилась на широком водном зеркале длинная серебристая полоска. Опять стало Ланде тяжело, грустно и опять захотелось уйти в зеленую чащу.

К вечеру он сбился с дороги, набрел на старый, брошенный шалаш и остался в нем ночевать.

Ночь была холодная, колющая, и Ланде плохо спал от холода и усталости.

Туман, который всю ночь густой белой пеленой стоял между неподвижными, высокими деревьями, тронулся

к утру и посерел. Что-то неуловимое дрогнуло в воздухе, и все проснулось легко и быстро, точно по уговору. Какая-то птица слабо чирикнула, будто спрашивая кого-то о чем-то. Ворона, тяжело снявшись с отсыревшей ветки и неуклюже цепляясь мокрыми от росы крыльями за тоненькие веточки, полетела между деревьями, не погружаясь вниз, в туман. Вздрогнула трава и шевельнулись листья, и вдруг сразу стало радостно светлеть. Туман решительно заколыхался вверх и вниз, будто волнуясь, и вытянулся в легкие, колеблющиеся столбы, торопливо и неслышно заходившие между стволами деревьев, как таинственные воздушные призраки между колонн высокого, холодного храма. С неслышным звоном разлились в воздухе нежные, розовые отблески.

Ланде вылез из шалаша, и его тонкая, черная фигура вытянулась над бледно-зеленым папоротником, как черный зигзаг в белой мгле. За ночь он сильно продрог, и лицо у него было бледное, серое, измятое. Он оглянулся кругом, и в первую минуту ему показалось странно и одиноко в колыхающейся мгле.

Но утро все больше и больше светлело. Туман бесследно и покорно таял. Бледные и прозрачные призраки неслышно убегали куда-то от настигающих розовых стрел. Близко и далеко начался невидимый, могучий хор лесной жизни. Верхушки деревьев вспыхнули густым розовым огнем, а над ними ярко заголубело небо. И Ланде весь проникся живым, теплым светом, разливающимся повсюду.

Ему не хотелось итти отсюда. Он сел возле шалаша на землю и сидел тихо, напряженными, радостными глазами наблюдая кругом.

День подымался. Его яркий, бесконечно-могучий и живой свет грел сердце. Ланде то сидел, то лежал под деревом, с которого на него сыпались легкие золотые листья, и жадно следил за новой для него, таинственной жизнью леса. И ему казалось, что смутно начал он постигать ее.

Все глубже охватывал его радостный покой и все больше слабело тело.

Он заметил эту слабость и поел; но еда не шла в горло, и после еды он ослабел еще больше. Ланде встал на ноги, но итти не мог: странная, истомная слабость дрожала у него в коленях, голова чуть кружилась, была тяжела, а сердце билось тихо и редко.

«Я нездоров...—подумал Ланде, без страха и удивления, как будто ждал этого, и ему казалось, что он, точно, ждал и знал.—Должно-быть, ночью простудился,—машинально сообразил он,—надо остаться здесь».

Смутная, покойная радость тихо стала подыматься в его душе.

«Чему я рад?—улыбаясь сам себе, спросил Ланде.—Тому ли, что надо еще оставаться здесь, или чему-то другому?.. Не знаю, а только как светло, тихо, как хорошо!..»

Целый день он без определенных мыслей, весь в созерцательном, ласковом чувстве, смотрел перед собою.

Так было много света, красок, прозрачности и жизни, что счастье и умиленная тоска жгли его глаза.

Гул лесных голосов непрестанно шел по лесу, но, кроме молчаливых птичек с зелеными хвостиками, Ланде не видал никого. В самый полдень уже из лесу, по ту сторону папоротников, вышел худой, всклокоченный

медведь. Маленькие черные глазки его смотрели на Ланде внимательно и серьезно. Он сел на задние лапы, слегка повел шеей, вздохнул и опять уставился на Ланде. Все кругом было тихо и ясно. Какая-то птица тихо ворошилась вверху, между зелеными, сквозившими на небе, ветками.

— Господи, как хорошо!—повторил себе Ланде, и глаза у него стали мокрыми.

Медведь издал странный, точно всхлипывающий звук и опять повел шеей.

— Милый!—сказал Ланде, и ему страшно захотелось подойти и приласкать медведя по бурой, облезшей клоками шерсти. Но он побоялся испугать его.

То, что медведь может броситься на него, не приходило ему в голову, потому что в душе его было так тихо и кротко, что ничто грубое, жестокое и злое не входило в нее.

«Хлеба ему дать?»—подумал Ланде, и сам засмеялся этой мысли.

Медведь тяжело и протяжно вздохнул, посмотрел своими черными глазами, встал и, легко переваливаясь, пошел прочь в лес. Ланде было грустно и весело смотреть, как он уходил между высокими, как колонны, деревьями.

«Тут бы и умереть...»—подумал вдруг Ланде с теплыми глазами.

И мысль о смерти, с отчетливым, круглым сознанием ее близости, властно, но спокойно вошла в его душу.

«А Вася?»—вспомнил он, но мысль эта тихо вспыхнула и растворилась в радостном, могучем сиянии дня, точно ушла к кому-то другому, более властному.

XXIV

Дождь лил как из ведра, и по всему лесу шел долгий, непрестанный шум. Иногда казалось, что вблизи, за кустом, кто-то всхлипывает и плачет тоненьким, серебристым плачем. А потом становилось слышно, что то вода звенит.

Ланде лежал в шалаше. Мокро, душно и непроницаемо-темно было вокруг. Иногда ему казалось, что он лежит в бесконечной пустоте, тогда Ланде с трудом поднимал горячую, дрожащую руку, у самого лица натыкался на невидимые, намокшие, тяжелые ветви, и на его лицо падали крупные, холодные капли. Голова горела, страшный озноб рвал все тело, и Ланде бессильно корчился на земле, напрасно стараясь согреться под мокрым подрясником. Перед открытыми глазами во мраке сыпались огненные искры и крутились золотые круги. Физическая тоска сжимала сердце.

«Я умираю...—подумал Ланде.—Так... господи, да будет воля твоя!»

От холода, от боли он плакал. Одинокие, никому не зримые, капали горячие слезы на мокрую землю, попадали в рот на судорожно колотившиеся зубы.

— Господи, господи!..—тихо звал он, и этот одинокий звук был так странен во мраке и лесу, что ему самому показалось, что все стихло на мгновение, стихло и прислушалось, а потом еще сильнее, и близко и далеко, зашумел по лесу дождь и захлюпала вода.

Ланде забылся, неподвижно скорчившись на земле, коленями в подтекшей холодной луже. Был бред.

Из мрака выглянула большая заячья голова. Длинные уши были прижаты назад, и красные глаза в упор

смотрели на Ланде. Что-то ужасное, насмешливое и злое было в этой молчащей голове. Она тихо, медленно, чуть заметно кивала Ланде. Вдруг все вокруг осветилось желтым светом, точно где-то близко, за спиной, стала невидимая лампа, и при ее странном свете Ланде как будто со стороны увидел свое тело, скорченное в луже, безобразное и жалкое, облипшее мокрым черным подрясником, грязное, несчастное, как червь. Страшная мука и страх приблизились к сердцу Ланде. С диким нелепым криком он сел, стукнувшись головой о ветки. Целые струи холодной воды полились на него, но он не очнулся. Масса знакомых лиц, живых, блестящих глазами, бесконечной лентой, уходящей вдаль, стали приближаться к нему. Они подходили, наклонялись к нему, смотрели и отходили, а за ними шли новые. Лампа уже не стояла за спиной Ланде, а как будто от него самого шел слабый, но ясный свет и ложился на наклоняющиеся к нему лица все дальше и дальше во все стороны. Стало тихо и хорошо. А потом опять засветилась лампа, и опять корчилось черное, как раздавленный червяк, тело, и опять чуть-чуть кивала заячья голова.

Не мысль и не бред, и не чувство, а яркий свет какого-то чудесного проникновения пронизал воспаленный мозг Ланде, и в ту же минуту вся жизнь его раскололась надвое: будто что-то громадное, светлое и чудесное в своей непонятности, что он делал всю жизнь, отошло от него и медленно расплылось, наполняя все вокруг, а его самого острое страдание, одинокое, непобедимое и последнее, схватило, впустило острые когти и страшно придавило к земле.

— А... а!..—слабо и тоненько прокричал во мраке Ланде.

XXV

Рязанские мужики, плотники, пробираясь на родину, в лесу, далеко от жилья, наткнулись на мертвого человека.

Труп лежал в шалаше, набросанном из сухих и вялых веток, поджав ноги и скрючив пальцы рук. Голова на длинной, тонкой шее повернулась так, что лица не было видно. На нем был черный подрясник, слежавшийся в грязные комья; одна нога почему-то была босая. От трупа шел тяжелый, мертвый запах и странно и страшно мешался с тонким и сладковатым запахом вянущего папоротника, которым поросло это место.

Один из плотников, рыжий, высокий мужик, потрогал ногу трупа носком сапога. Мертвая ступня чуть-чуть шевельнулась и замерла.

— Померши...—глубокомысленно проговорил мужик, почесал затылок, постоял и вдруг, с исказившимся от страха и непонятной ему самому мучительной злобы лицом, дернул и потащил труп из шалаша за ногу. Голова закачалась и запрыгала по земле, руки шлепнулись на землю, как будто тяжело всплеснули и поволоклись, ковыряя пыль. И сразу пахнуло таким ужасным, омерзительным запахом, что мужиков шатнуло.

— О, чорт!—удивленно сказал рыжий мужик, как будто этого никак нельзя было ожидать.

Мужики стояли и смотрели.

Горько и одиноко лежал труп, прямо перед собой глядя в далекое небо мертвыми, мутными, как будто от тяжких слез, глазами. Холодный и немой, с навсегда сжатыми губами, без слов говорящими о страшной тайне, он как будто распространял вокруг себя,

вместе с тяжелым запахом, скорбное молчание. На груди разорвалась черная материя, желтела иссохшая, как глина, кожа, к которой плотно налипли сухие листья и серая грязь, и казалось, что это земля уж охватила его своими серыми щупальцами и медленно и неуклонно уж тянет в себя.

Долго стояли мужики и смотрели, как будто не находя того, что было нужно. Наконец, седой, величавый мужик вздрогнул, снял шапку и перекрестился. Перекрестился раз, подумал, сказал:—Вечная, значит, память!..— и перекрестился еще два раза. И все мужики, поспешно, точно сваливая с себя страшную томительную тяжесть, посдергивали шапки и замелькали в воздухе пальцами.

Потом пошли гуськом, не глядя назад.

И им еще долго казалось, что желтый лес и солнечный свет, трава и высокое небо, как будто невидимым черным налетом, скованы тяжелым молчанием. Но на самом деле все было радостно, светло сверкало и переливалось в свете солнца вечно живой, свежей и веселой в самой смерти своей зеленью.

Шедший сзади всех мужик украдкой обернулся и далеко уже позади, из-за куста, золотого и яркого, увидел бледный силуэт иссохшей, неподвижной ноги.

На этом месте, из года в год, особенно густо и радостно рос папоротник.

КРОВАВОЕ ПЯТНО

I

Все эти дни Анисимов почти не спал, но чувствовал себя таким здоровым и бодрым, как никогда. Он даже как будто помолодел, и его худая нескладная фигура, с унылым и длинным носом, двигалась по станции быстро и весело.

Все было так стремительно, так неожиданно и хорошо, что все время у него было такое ощущение, будто он кружится в свежей и чистой волне, откуда-то нахлынувшей и без следа, навсегда смывшей всю старую, тусклую и скучную жизнь.

На станции, всегда тихой и пустынной, теперь было людно и шумно. От черных толп, непрестанно движущихся по платформе и путям, казалось, что вся она движется как муравейник, и многоголосый, возбужденный говор так и висел над ней в чистом, холодном воздухе белого дня. С востока один за другим проходили пестрые, наскоро составленные из разнокалиберных вагонов поезда и, почти не останавливаясь, стремительно уносились вдаль, быстро уменьшаясь и тая в белом мареве снежных полей. Каждый поезд толпа на станции встречала и провожала долгим «ура» и маханием шапок, при чем от множества рук мелькало

в глазах, а от крика овладевало мальчишески задорное чувство. Каждый старался кричать как мог громче и, улыбаясь, оглядывался на соседей наивно и весело. И когда поезд уже скрывался в перелеске, еще долго слышались одинокие замирающие крики:

— А-а!..

На паровозах лопотали по ветру красные флаги, и изо всех вагонов глядели какие-то совершенно не известные, но странно близкие, как общие друзья, по большей части молодые люди. Они махали руками и фуражками и исчезали все в одном направлении. И то, что их было так много, что так часты были эти поезда, что ружья и револьверы так странно не гармонировали с черными пальто и шапками,—все поселяло в душе молодое и радостное чувство своей правоты и силы.

Анисимов принимал и отправлял каждый поезд сам и, стоя далеко от станции у стрелки, приветливо высовывал навстречу из-под красной шапки свой длинный, покрасневший от холода нос. Он вглядывался в проносившиеся мимо него незнакомые лица, и грудь у него теснило какое-то большое, новое и счастливое чувство.

Он еще сам не знал, что будет дальше, но что-то светлое, свободное и счастливое смутно рисовалось ему впереди и казалось очевидным и непреложным то, что прежняя жизнь, с ее мертвым, тяжелым трудом, душевным одиночеством, унижениями, пьянством от скуки, вечными заботами и нуждой, кончена.

Когда не было поездов, он слонялся в толпе по станции и, всовывая свой длинный нос то в ту, то в другую кучку возбужденно спорящих людей, улыбался и вставлял свои замечания. Его все уже знали,

называли «наш начальник станции» и «товарищ» и просто и охотно вступали с ним в разговоры, точно все это были давно знакомые и близкие ему люди.

Иногда Анисимов заходил в свою комнату на вокзале, чтобы немного побыть одному и собраться с мыслями. Он долго стоял посреди комнаты, не снимая пальто и шапки, мечтательно улыбался и думал все одну и ту же фразу, каждый раз полагая, что открывает что-то новое:

— Эх! Вот какою должна быть настоящая жизнь!

И, забывая свое намерение отдохнуть и подумать, опять шел на воздух, где так ярко белело небо, чисто и звонко хрустел снег и все так же двигались, шумели, кричали и смеялись оживленные, бодрые люди.

С каждого проходившего поезда к Анисимову соскакивали по два-три человека и передавали ему известия или задавали ему вопросы чрезвычайной общей важности. Анисимов был рад, когда мог ответить что-нибудь хорошее. Он крепко пожимал им руки и, глядя в глаза открыто и весело, говорил:

— Ну, трогайте, товарищи!.. С богом!..

Длинный нос краснел у него еще больше, и маленькие глазки становились влажными. Он торопливо кивал им и бежал к паровозу. Гудел свисток, и масса близких, странно дорогих людей уносилась вдаль, где делалось что-то огромное, страшное и радостное вместе.

И толпа опять провожала их долгим громовым криком, от которого мощно гудела, казалось, сама земля.

В одном из поездов, уже под вечер, Анисимов увидал знакомое лицо. Толстый машинист, с обрюзглой и измятой физиономией, соскочил к нему с площадки паровоза. Они крепко пожали друг другу руки, и Анисимов, торопясь и улыбаясь странному виду

машиниста, с ружьем и карманами, оттянутыми тяжелыми патронами, сказал:

— Вот какие дела, Карл Вульфович!.. Как славно, голубчик!.. Какой общий порыв!..

— О-о!..—возразил бледный, но улыбающийся машинист.—Что-то будем смотреть!..

Он нечисто говорил по-русски, и это маленькая подробность, всегда забавлявшая Анисимова, теперь почему-то тронула его.

— Сейчас получено известие, что солдат не выпускают из казарм, так как боятся, что они перейдут на нашу сторону,—сообщил он, и лицо его бессознательно расширилось в счастливую улыбку.

— О-о!..—восторженно сказал машинист.—Это надо было ожидайт...—и, торопливо пожав руку Анисимову, побежал садиться.

Анисимов бежал с ним рядом, цепляясь плечом за встречных, и говорил:

— Поехал бы и я с вами, да без меня тут все перепутается.

— Я думал, вы семья бросайт не хочит...—на бегу заметил машинист.

— Какая теперь семья!—возбужденно и радостно крикнул Анисимов.—Да я и жену и детей в деревню к тестю послал... Семья потом,—теперь не до семьи... Ну, всего хорошего... Дай бог здоровым быть!..

Он отстал от машиниста и долго смотрел вслед поезду, задумчиво улыбаясь.

«Как странно все это...—мелькало у него в голове.—Еще три дня тому назад я не поверил бы... Думал, так и уйдет жизнь... день за днем, день за днем, только нужда проклятая да тоска...»

Призрак серой, длинной и скучной жизни бледно мелькнул перед ним и исчез. Он оглянулся кругом, тряхнул головой и пошел, пробираясь между толпой и прислушиваясь к голосам. В зале третьего класса, где было накурено до синего тумана и было жарко, как в бане,—от множества голосов стоял непрерывный гул. У стойки стоял стрелочник Аким и, распуская вокруг сизые клубы махорки, говорил:

— А ты как думаешь!.. Народ, брат, ен... ен, ежели подымется, да ежели, скажем, тряхнет, да ежели... так ого-го, брат...

Было весело и хорошо в теплой и светлой атмосфере общего оживления; клубами ходил сизый дым; перед окнами двигались тесные темные силуэты; гудели голоса, и входная дверь поминутно визжала на блоке, пропуская то туда, то сюда целые кучки народу.

II

В этот самый день, когда уже стало смеркаться, и дальний перелесок начал сереть на посиневшем снегу, полным ходом, без фонарей, как зловещая черная птица, вылетевшая из темного леса, с гулом и свистом промчался одинокий черный паровоз из Москвы. Со страшным шипением тормоза и скрежетом мерзлых рельс он на секунду остановился у станции, и кто-то, свесившись с площадки тендера, закричал отчаянным криком:

— То-варищи!.. Все пропало!.. Бологое взято войсками. Баррикадируйте путь... Идет поезд с солдатами!

Паровоз двинулся, качаясь, как бы в раздумье перешел стрелку и, оставляя позади клочья белого пара и дыма, понесся дальше. А в наступившей внезапной

тишине еще звенел удаляющийся, одинокий, напряженный крик:

— Товарищи, сначала—наши... Наш поезд сначала, смотрите-е!..

На станциях поднялась зловещая, тревожная суета. Толпы людей со всех сторон бежали на крик. В страшном хаосе закрутились вокруг Анисимова побледневшие, растерянные лица. В странной напряженной тишине негромко послышались разрозненные, болезненные голоса, и, казалось, над станцией пронеслось что-то страшное. Анисимов, расставив ноги, неподвижно стоял там, где остановил его зловещий крик с промчавшегося паровоза, и с непонятным чувством оглядывался вокруг. То, что он услышал, и что не совсем ясно понял, было так неожиданно и ужасно, что на мгновение у него беспомощно остановилась мысль.

— Что такое?.. Что такое?..—машинально спрашивал он ближайших людей.

Но ему никто не отвечал, и темный ужас глядел изо всех глаз, блестящих круглыми, расширенными зрачками. Чудилось, что еще минута, еще один тревожный крик,—и вдруг все бросится прочь, с диким воем, плачем и безумием. Это было страшное и необъяснимое мгновение, во время которого Анисимов чувствовал, как странная слабость и холод ползут у него по телу.

Но в следующую минуту какой-то молоденький и очень маленький студент чьими-то руками был поднят на воздух и, размахивая шапкой, закричал изо всех сил высоким, пронзительным голосом:

— Товарищи!.. Этого не может быть!.. Это провокация, товарищи!..

И что-то исчезло. Страшное мгновение прошло. Именно в эту минуту всем почему-то стало ясно, что это—

правда, ужасная, непоправимая, быть может, правда, но вместе с тем как-то разом пропал безобразный, панический ужас и сменился озлоблением и решимостью.

Нервные и мрачные толпы глухо загудели в наступающих бледных сумерках, и странно, точно в конвульсиях, задвигались по станции, будто отыскивая какого-то спрятавшегося врага. В нескольких местах сразу послышались то глухие, то пронзительные выкрики людей, говорящих с целою толпой, и вместо страха и растерянности в общем напряженном движении стало расти что-то грозное и сосредоточенное.

Анисимов опомнился. Он снял шапку, вытер на лбу мгновенно выступивший пот и, сам не зная что, сказал близстоящему телеграфисту:

— Ну, что ж... это еще ничего не доказывает... Мало ли как могли прорваться... Будем делать свое дело, а потом посмотрим.

Высокий белобрысый телеграфист что-то ответил, но Анисимов не расслышал. В это время опять поднялась суматоха. Толпы людей начали строить баррикады. Сразу в нескольких местах появились их черные, безобразные силуэты. Из вокзала тащили мебель; два человека, толкаясь и торопясь, пронесли мимо Анисимова длинную обмерзлую шпалу; откуда-то послышался звон разбиваемого стекла.

И почему-то Анисимов понял, что никто не знает хорошенько, что нужно делать, и что именно ему надо направить всю эту оживленную, смутную силу. Он знал на этой станции каждую шпалу, его потом она была скреплена и им делала свое дело, плавно и стройно входя в бесконечный ряд таких же маленьких, одиноких станций. И зато никто так, как он, не знал, каким образом в одну минуту превратить эту стройную

машину в безобразную груду обломков. И, чувствуя тупую злобу к какому-то далекому, Анисимов побежал по платформе, замахал красной фуражкой и, перебивая студента, который звал из окна вагона:

— Товарищи, сюда!.. Из вагонов лучше всего!

Сам закричал:

— Не так, товарищи... Вагоны надо поперек рельс!.. Баррикадируйте все пути, кроме главного!.. Аким, Аким... давай кран!..

Он спрыгнул с платформы и, прыгая через рельсы, побежал к длинному зеленому вагону, стоявшему в тупике. И за ним уже послушно и охотно со всех сторон бежали разные люди.

Черные толпы закопошились вокруг вагонов. Огромные красные, синие и зеленые вагоны медленно, как будто сами собой шевелились над кучками людей, похожих на муравьев, медленно поворачивались и вдруг с гулом, звоном цепей и дребезжанием стекол валились вниз. Глухо охала земля и каждый раз нестройные голоса слабо кричали: «ур-ра!..»

Весь потный, с всклоченными вихрами и каплями пота на длинном носу, блестя глазами и не переставая уже охрипшим голосом кричать что-то ободряющее и призывное, Анисимов бегал, перепрыгивая через рельсы, из стороны в сторону, и его красная шапка быстро мелькала во всех концах станции. В это время он не думал о приближающейся опасности, о том, что будет дальше, после того, как он построит эти баррикады. Это будущее ему вовсе не представлялось. Сейчас вокруг было так ярко, живо, сильно, а впереди был только какой-то смутный, далекий туман.

Возясь с установкой крана, чтобы перевернуть тяжелый пульмановский вагон, Анисимов пропустил момент

прихода поезда. А когда услышал крики «ура» и оглянулся, увидел уже остановившийся, тяжело дышащий, высокий черный паровоз и длинный ряд вагонов, из которых в обе стороны сыпались черные, вооруженные люди. Всю станцию запрудила огромная движущаяся толпа.

И в этой толпе Анисимов первый раз увидел кровавые пятна на белых повязках. С странным жутким любопытством он посмотрел на эту кровь, и что-то тревожное впервые шевельнулось в нем. Почему-то вспомнились жена и дети, стало холодно и почувствовалась усталость.

— Господин начальник, товарищ!—кричал высокий человек, проталкиваясь к нему сквозь толпу.—Надо загородить и этот путь... Так, чтобы, понимаете, была сплошная баррикада... А то придется носить раненых в вокзал по открытому месту... А?..

«Разве будут раненые?..»—смутно мелькнуло в мозгу Анисимова, и на секунду у него в голове все смешалось.

— Ах... Да, да!..—встрепенувшись, ответил он.—Конечно, необходимо. Я сейчас...

Он кивнул головой и побежал к паровозу.

«Будь, что будет... чему быть, тому не миновать... Ну, убьют... значит, так надо... без жертв нельзя... А может, и не убьют, а только ранят... И всю жизнь буду знать, что я свое дело сделал!..»—уже овладев мыслью, думал он, и все тело его подбиралось какою-то сжатой решимостью.

С паровозной площадки на него глядел знакомый машинист.

— Не доехали до Москва...—обрываясь, испуганно сказал он.—Что там делается... В наш поезд стрелял солдат!..

— Ну, ну, ничего, голубчик!—ободряющим тоном возразил Анисимов. «Вот ведь ему тоже страшно!»— подумал он, чувствуя, что от этого становится легче ему самому.—Слушайте, гоните вы свой паровоз на вагоны: загородим путь...

И когда огромный черный паровоз, похожий на могучее живое существо, оторвавшись от поезда, разбежался, с грохотом и свистом пара налетел на кучу дробящихся с невообразимым упорным треском и звоном вагонов, поднялся на дыбы, закачался и тяжко рухнул на бок, окутавшись белыми облаками пара, и когда потом на двух путях, всегда таких ровных и аккуратных, образовалась высокая дымящаяся масса обломков,—в душе Анисимова появилось горделивое чувство.

— Посмотрим, посмотрим...—сказал он вслух, ни к кому не обращаясь.—Далеко не уедут!

— Вы оружий имеет?—спросил машинист.

— Нет... Да я и стрелять толком не умею...—с улыбкой ответил Анисимов.—Вы себе сражайтесь, а я и так дело найду...

— Да... мы будем сражайтесь!—сердито ответил машинист.

— Идет, идет!—издали закричали нестройные, тревожные голоса, и люди, одиноко торчавшие на крыше вокзала и на водокачке, быстро стали спускаться вниз.

— Милости просим...—тихо и злобно проговорил возле Анисимова незнакомый телеграфист и, волоча ружье за дуло, побежал к баррикаде.

Толпа хлынула вперед, потом назад и быстро расплылась вдоль баррикад. Все стихло так быстро, что стало даже странно. Вокруг опустело, и только отдельные люди торопливо выбегали из здания вокзала.

В прозрачных сумерках из-за перелеска тихо и осторожно выдвинулся мрачный, без огней поезд. Он был еще далеко, казался маленьким, но вид его был необыкновенен и жуток, точно это подползал какой-то длинный, осторожный и хитрый гад.

— Они...—сказал машинист и присел за кучей угля и дров.

Странное, жуткое любопытство овладело Анисимовым. Неуверенно улыбаясь, сам не зная чему, он с трудом влез на скользкий бок покосившегося вагона и, держась за его холодные металлические края, высунулся наружу.

Черный поезд медленно подползал, и чем ближе, тем тише. Временами казалось, а может-быть, так и было, что он останавливался, как бы нащупывая дорогу, а потом опять полз вперед. На станции было мертвенно тихо, точно там никого не было; но когда Анисимов оглядывался назад, повсюду, за каждым выступом баррикад, за деревьями, за оградой палисадника, в окнах вокзала и под вагонами он видел молчаливые, приникшие черные фигуры.

Поезд совсем остановился и странно чернел в пустом поле. Там было так же тихо, и казалось, что поезд и станция, как два зверя, напряженно оглядывают и подстерегают друг друга. Сумерки быстро сгущались.

Минуты шли, и в них была тяжелая неизвестность вечности. Уже в мозгу Анисимова как-то странно, кошмарно зашевелилась нелепая мысль, что поезд пуст и брошен посреди поля; но в то же время по обе стороны его закопошились еле видные в сумраке люди. Их было много; они что-то делали, растягивались на снегу и что-то тащили; но все попрежнему было тихо.

Затем развернулись длинные темные полосы, волнообразно задвигались и медленно стали приближаться.

Что-то дрогнуло в груди Анисимова, и в душе его возникло какое-то сложное чувство: он никогда в жизни не видал, чтобы люди большими массами, совершенно правильно и обдуманно вступали в драку, исходом которой должна была быть смерть и страдания многих из них. Война представлялась ему только очень смутно и вызывала неопределенное недоверие, как будто на самом деле ничего из ее ужасов не бывало, а все кем-то преувеличивалось и выдумывалось. Но войну все-таки легче было представить себе: во-первых, всегда казалось, что она происходит где-то в совершенно особом месте, как будто предназначенном для нее и совсем не похожем на ту обстановку, в которой живут изо дня в день люди, а во-вторых,—и сами эти люди, дерущиеся на войне, представлялись какими-то особенными, не способными так остро чувствовать страх и страдание, как окружающие рабочие, чиновники, студенты, женщины и дети. Анисимов, конечно, знал, что то совсем не так, но все же только теперь,—на этой простенькой, до смерти надоевшей станции, с ее заборами, садиками, черным пятном на месте остановки паровозов, стрелочниками, звонками и тысячами знакомых будничных мелочей, в присутствии людей, совершенно таких же простых и обыкновенных, как сам Анисимов,—мысль о сражении, о выстрелах, крови, раненых и убитых показалась ему так противно и очевидно и страшно нелепой.

«Что за чорт!.. Неужели же так и будет?..»—вертелось в голове его растерянное недоумение.

Но темные полосы все приближались, разделились на отдельных людей; стало видно, как упорно и быстро перебирают сотни ног, и по этому неуклонному движению и по напряженному молчанию массы притаившихся

вокруг людей чувствовалось, что как бы там ни было, а непонятное, безобразное и нелепое дело совершится сейчас, сию минуту. И от этого чувства бессильно замирала мысль.

Солдаты подходили. А тишина стояла такая же зловещая и напряженная. И это было так невыносимо страшно, что хотелось уже только одного: хоть бы уж скорее «это» началось.

«Не может быть... ничего не выйдет...»—подумал Анисимов, нагнулся к машинисту, сидевшему у его ног, и, почему-то стесняясь говорить громко, тихо сказал:

— Я думаю, что если бы с ними вступить в переговоры...

Бледное, опухшее лицо машиниста посмотрело на него снизу, как будто ничего не понимая. Анисимов пристально вгляделся в его округлившиеся, принявшие дикое и жуткое выражение глаза, потом перевел взгляд на стоявшего рядом незнакомого человека, горбоносый, бледный профиль которого был совершенно неподвижен, точно человек этот был чем-то загипнотизирован,— и вдруг почувствовал такой страх, что даже руки у него задрожали.

Неожиданно, заставив вздрогнуть, где-то правее Анисимова, коротко и одиноко бахнул громкий выстрел, и, точно по условленному сигналу, все заборы, рвы, кучи шпал и обломков покрылись короткими, сверкающими огоньками, наполняя прозрачный морозный воздух торопливым, дробным щелканьем.

Анисимов отчетливо видел, как серые ряды смешались, расстроились и, точно от ветра, подались назад. Видел, как на очищенном, уже истоптанном месте болезненно закопошились отдельные фигуры, слышал в той стороне отдаленный крик, но ему все еще казалось,

что это только «так» и сейчас прекратится. Но в следующее мгновенье вся серая масса солдат опоясалась огненными узорами, и сухой треск залпов бурно оживил молчаливое белое поле. Что-то с силой защелкало по вагонам; кто-то испуганно закричал; оглушительно выстрелил у самого уха Анисимова загипнотизированный горбоносый человек. Анисимов опять повернулся к машинисту. Тот все еще сидел на корточках, но с ним делалось что-то нехорошее: ружье его лежало на снегу, лицо было удивительно бело, глаза огромны и как будто незрячи. Он коротко махал перед собою обеими руками и медленно валился назад. А когда лег спиной на снег, то перестал махать руками, и его огромное, толстое тело с возвышающимся, массивным животом застыло, как мороженая туша. Опять оглушительно выстрелил горбоносый человек,—и Анисимов, оглянувшись на него, тихо сполз вниз.

Он весь дрожал и смутно улыбался. Мертвое лицо машиниста смотрело прямо на него тусклыми, замерзшими, казалось, глазами. Это была смерть, и Анисимов только теперь понял, что то, во что не верило все его существо,—совершилось. «Убили...—подумал он.—Боже мой, что ж это такое?..»

У этого машиниста была жена и четверо детрей, которых всех знал Анисимов. Каждый день он ездил мимо станции и здоровался с Анисимовым. Теперь он лежал как туша, как бревно. Умер...

Анисимов медленно отошел, стараясь не смотреть на труп и тщетно усиливаясь объяснить себе то, что делалось в нем самом: что он должен сейчас чувствовать—ужас, или злобу, или отвращение. Он вспомнил, как год тому назад мимо этой же станции везли на войну таких же солдат, этих же самых русских, своих

солдат. И их было так искренно жаль, так грустно становилось, когда они уносились в неведомую даль, и так хотелось сделать им хоть что-нибудь приятное, хоть чем-нибудь помочь.

«Боже мой... Боже мой... Боже мой!..»—нелепо повторяла смятенная мысль и не могла разобраться в хаосе кошмарных представлений и образов.

Вокруг пахло пороховым дымом; а черные фигуры за вагонами странно и торопливо копошились, то отбегая назад, то падая, то поднимаясь, то карабкаясь на крыши вагонов, то быстро скатываясь вниз, чтобы неподвижно скорчиться на рельсах. Отсюда Анисимову уже не было видно наступающих солдат, но страшная сила залпов то приближалась, то удалялась, потрясая смятенный воздух.

Потом начало с ужасным треском разражаться в воздухе что-то необыкновенное, огромное, точно лопалось и рвалось на части самое небо. С того места, на которое отошел Анисимов, видно было, как на мгновение в серовато-синем сумраке вдали появлялась яркая, огненная звезда, и когда она уже скрывалась и тьма на том месте на секунду делалась черной,—казалось, над самой головой Анисимова разражался трескучий гром, грудная клетка его вздрагивала, как крышка коробки, и с невероятной силой, взметая снег, черные обломки, огонь, дым и снежную пыль, что-то невидимое, но всесокрушающее било прямо в черную стену баррикад. И там раздавался крик, вой, и оттуда во все стороны бежали ополоумевшие люди.

Бой тянулся с четверть часа, но Анисимову показалось, что все кончилось в одну минуту.

Он видел, как наверху одной баррикады показались темные силуэты стреляющих прямо в него солдат;

услышал что-то зловеще и злобно завизжавшее возле него по снегу; видал кучки черных людей, медленно уходивших вдоль линии и по железнодорожному палисаднику и как будто очень спокойно, не торопясь, стрелявших в солдат; видел истоптанный, грязный снег, усеянный разбитыми, копошившимися, как черви, людьми; видел, как сзади, из-за вокзала неожиданно стали выбегать кучками солдаты, и как черные люди стремительно и вразброд побежали во все стороны, оглашая воздух криками и беспорядочной стрельбой.

Пушки вдруг замолчали, и стало казаться тихо, несмотря на крики и выстрелы. Серые солдаты бежали от станции в поле, догоняли отдельных, вязнувших в снегу, черных людей, торопливо и судорожно возились с ними и бежали дальше. А на том месте оставался скорчившийся черный комок. Делалось что-то такое невероятное, ужасное и омерзительное, что Анисимов весь похолодел и инстинктивно, не соображая и ничего не чувствуя, кроме невообразимого животного ужаса, изо всех сил побежал по пути.

От водокачки, также изо всех сил, бежал ему наперерез огромный круглоголовый солдат в длинной серой шинели и с ружьем в одной руке. Еще за несколько шагов они увидали глаза друг друга и побежали еще быстрее. У солдата было молодое, безусое и красное лицо. Он добежал скорее и, с внезапно исказившимся злобой лицом, перехватил ружье в обе руки и ткнул в Анисимова штыком. Анисимов извернулся, как падающая кошка, и бросился в сторону. Солдат метнулся за ним, повторяя его движение, и одну секунду они точно танцовали, кидаясь то туда, то сюда и выпученными глазами глядя прямо в зрачки друг

другу. Но потом солдат вскинул длинное и острое ружье и навел его прямо в живот Анисимова.

— Ой, стой... подож...—тоненьким голосом закричал Анисимов и, закрыв глаза, замер на месте, выставив вперед руки.

Он услышал оглушительный выстрел, сквозь закрытые веки увидел мгновенный свет и как-то не мыслью, а всем телом понял, что солдат промахнулся. Но в это время кто-то быстро набежал сзади, тупо и больно, так, что огни засверкали в глазах, ударил его по голове, схватил за рукав и, не удержавшись с разбегу, упал вместе с ним в мокрый, холодный снег.

— Пусти!—с острой злобой закричал Анисимов и, стиснув зубы, изо всей силы ударил локтем назад по чьему-то лицу, на котором торчал мягкий нос, хрустнувший под его ударом, и совершенно бессмысленные, выпученные глаза, которые он видел первый раз в жизни.

III

Была уже ночь, и ее черное лицо загадочно смотрело в окна станции, разбитые пулями и развороченные какой-то невероятной силой. На станции было тихо. Но в этой тишине, казалось, еще дрожали крики, выстрелы и стоны. На подъездном пути ярко горели неизвестно кем и зачем подожженные вагоны. И над взвивающимся багровым, весело страшным пламенем небо было совершенно черно и низко. Дым тяжелыми клубами медленно поднимался вверх; а выше его, во тьме, искры красиво танцовали какой-то грациозный и таинственный танец. От всего ложились на снег неровные, беспокойные тени, и казалось, что неподвижные трупы, рядами сложенные против вокзала, осторожно шевелятся.

Везде стояли и ходили солдаты, освещенные пожаром. Они сходились, расходились, наклонялись к земле и, казалось, пристально разглядывали то, что сделали в этот день и что было для них совершенно неожиданно и непонятно. Их черные тени ползали за ними по красному снегу, быстро перегибаясь на рельсах, блестящих от огня, а над ними изредка красными иглами вспыхивали штыки. На платформе стояли офицеры и о чем-то негромко говорили между собой, поминутно закуривая папиросы. От недалекого пожара глаза у них резко, точно стеклянные, блестели и казались злыми и дикими, как у хищных зверей.

В комнате, где заперли Анисимова, было холодно и пусто. Освещалась она только полосами зарева, принимая в его мечущемся огненном свете фантастически необыкновенный вид. Давно знакомая Анисимову мебель казалась чересчур неподвижной, как памятники на кладбищах; а разбитая пулей лампа, свернувшаяся с крюка, висела на потолке, как труп огромной летучей мыши. Тени солдат и офицеров медленно и беззвучно ходили по освещенной стене и кривлялись по углам.

Первое время Анисимов не мог опомниться и притти в себя, чтобы сознать и обсудить свое положение. Он тяжело дышал, весь дергался, поминутно то закрывал глаза, то открывал и не видел, где он и что вокруг. Вся правая сторона его головы тупо ныла, и он бессознательно встряхивал головой, стараясь отделаться от этой боли. Но она не отставала, и половина лица была тяжела, как каменная.

Когда его схватили, он долго сопротивлялся, бился, даже кусался, как зверь, сам не замечая этого. Его хватали и за волосы, и за бороду, и за руки, но он упорно вывертывался, и все время ему казалось, что

вот-вот, еще одно усилие, и он непременно вырвется и будет спасен. Но когда его осилили и поставили на ноги, крепко держа за обе руки, он вдруг сразу понял, что сопротивление бесполезно, и притих.

В плотной кучке четырех солдат, огромных, красных и возбужденных борьбой, он казался очень маленьким и бессильным, как затравленный зверек, и, как зверек, только оглядывался во все стороны блестящими, округленными глазами, втянув голову в плечи и тяжело дыша.

— Ишь ты, сволочь!..—с возмущением и злобой сказал один из солдат, вытирая кровь со щеки, и с исказившимся лицом и с бешенством в тупых, бесцветных глазах еще раз ударил его снизу в подбородок. Анисимов ляскнул зубами и вздернул головой, но молчал и продолжал оглядываться.

— Не вырвешься!—торжествующим, грубым голосом сказал солдат.

— Ну, иди, что ль!—крикнул другой и толкнул его в плечо. Что-то пробудилось в Анисимове от этого толчка, данного тогда, когда он уже не сопротивлялся. Он быстро обернулся, но новый удар, уверенный и беспощадный, толкнул его на два шага вперед. Два солдата крепко схватили его за руки и потащили к вокзалу. Он шел, упираясь обеими ногами, шаг за шагом, а сзади били его в шею и спину прикладами, отчего тупо и мучительно вздрагивало сердце.

Так дотащили его до платформы и толкнули к двум другим, избитым, окровавленным и оборванным людям, которых окружали солдаты.

В это время запылали вагоны, и синий сумрак вечера сразу задрожал и озарился ярким красноватым светом.

Высокий и плотный офицер с большими и рыжими усами подошел к ним. Еще человек пять офицеров, блестя перевязями и пуговицами, стояли в стороне.

— Ваше высокоблагородие,—заговорил солдат, выступая из рядов,—так что захваченные, значит, которые с оружием.

— Ага, да!..—голосом высоким и загадочным, точно радуясь чему-то тайному, известному ему одному, протянул офицер. — Анатоль Петрович! — громко позвал он.

Из кучки офицеров выдвинулся один, толстый и черный, с маленькими черными усиками. И пока он подходил, Анисимов смотрел ему прямо в лицо. Пожар был близко и сбоку, и оттого у всех была видна только одна половина лица, ярко освещенная, а другая совсем пропадала в черной тени. Анисимов с непонятным ему самому чувством ужаса смотрел на эти половинчатые лица, с одинокими блестящими глазами, и ему казалось, что это не простые люди, солдаты и офицеры, каких он видел всю свою жизнь, а какие-то особенные, страшные и необыкновенные существа, в которых нет ничего человеческого.

— Вот, рекомендую,—сказал высокий офицер тем же непонятно злорадным голосом, поворачиваясь к подходящему офицеру,—господа революционеры.

Он вдруг переменил выражение и, твердо и властно выговаривая, спросил:

— Ты кто?

Тогда Анисимов посмотрел на своего соседа, к которому обращался вопрос, и узнал его. Это был тот самый горбоносый, как-будто чем-то загипнотизированный человк, который стрелял в солдат с баррикады возле Анисимова.

— С ружьем схватили, ваше высокоблагородие!— сказал кто-то из солдат.

— А... Расстрелять!..—отчетливо и спокойно выговорил полковник.

Анисимов понял это слово, но не понял его ужасного, именно в этот момент, значения. Очевидно, не понял и горбоносый человек, потому что он не двинулся с места, не крикнул, ничем не выразил своего ужаса. Два солдата с одинаковыми темными лицами взяли его под руки и отвели. Он еще обернулся, точно хотел что-то сказать, но промолчал, и так же неподвижно стал там, где его поставили, в нескольких шагах.

— Кто?—опять спросил высокий офицер.

Вопрос был обращен к Анисимову, но ответил не он, а маленький, щуплый человек в разорванном ватном пальто и картузе.

— Мы с Костюковского завода... токари... Федульев...—торопливо проговорил он, поспешно выдвигаясь вперед и весь приходя в движение. Нижняя челюсть его странно двигалась.

— Тоже палил, ваше высокоблагородие...—каким-то унылым и безнадежным тоном подсказал опять тот же солдат.

И опять отчетливо и коротко полковник выговорил то же непонятное слово.

Смутная и странная мысль мелькнула в мозгу Анисимова. Лицо его медленно побледнело, и он сделал судорожное движение назад, точно хотел вдавиться в ряды солдат. Но кто-то сейчас же схватил его сзади за руки.

— Ты?—заметив его движение, быстро повернулся к нему высокий полковник.

Анисимов молчал и надавливал спиной на державшие его руки.

— Но-но-но!—насмешливо, подняв подбородок, сказал полковник.

— Да это начальник станции...—заметил толстый поручик, устремляя прямо в лицо Анисимову свой единственный, блестящий глаз.

— Да, я начальник этой станции...—точно кто толкнул его, торопливо ответил Анисимов и вдруг заискивающе-криво улыбнулся, не спуская взгляда с этого одинокого, как будто окровавленного глаза.

— А-а!.. Оч-чень приятно познакомиться!—кривя половину губ с одним красным усом, протянул полковник.—Так это вы и есть начальник этой станции?.. Тэк-с... Ну, нам не мешает побеседовать подробнее, господин... позвольте узнать, как ваша фамилия?..

— Анисимов...—глухо ответил Анисимов.

— Ага... оч-чень приятно все-таки...—тянул полковник, сгибая голову на бок, и в голосе его было что-то кошачье, жестокое и хитрое.

— До утра под караул!..—вдруг громко приказал он, отворачиваясь от Анисимова.

— Ваше благородие, а мне как же?—неверным голосом спросил мастеровой, вытягивая шею.

Полковник через плечо посмотрел на него.

— А тебе, милый друг?.. Расстреляют...—ответил он не сразу и видимо наслаждаясь впечатлением своих слов.

— Ваше благородие!—дрогнув, вскрикнул мастеровой.

Странное и короткое смятение пробежало по толпе солдат от этого крика. Кто-то усиленно и напряженно задышал над самым ухом Анисимова.

— Тише там!—быстро поднимая голову и блестя глазом, крикнул толстый офицер. И все замерло так, точно здесь не было живых людей, а было одно пугливое и смирное животное.

— Веди!—энергично кивнув в сторону поля, приказал полковник.

С тем самым мучительным, острым любопытством, с которым он в детстве смотрел, как режут курей, Анисимов впился глазами в освещенную половину бледного, с широко открытым глазом лица мастерового. Он ждал, что этот человек сейчас бросится, начнет рваться, как рвались куры из режущих рук, закричит, и это будет ужасно; но мастеровой стоял молча и только вытягивал и втягивал отвисшую нижнюю челюсть. И видно было, как она дергалась все сильнее и сильнее и уже прыгала в страшной пляске. Анисимов, не отрываясь, смотрел на эту челюсть, и все смотрели на нее, и с каждым ее движением рос и рос общий, напряженный ужас.

— А ты кто?—вдруг громко и отчетливо заговорил издали горбоносый человек.—Собака, сволочь... своих бьешь, подлец... мать твою...

— Что-о? Молчать!—резко и звонко крикнул полковник, судорожно хватаясь за револьвер и делая два шага к нему.

— Сам молчи!.. Чего мне молчать, когда я на смерть иду, ду-рак!—загремел горбоносый человек.—Чтоб ты сдох... Иуда, проклятая собака!.. Ты думаешь, я тебя боюсь?.. На, бей! Сам бей, сволочь, бей!..

С слабым вскриком Анисимов обеими руками схватился за лицо и закрыл глаза.

Один за другим сверкнули два выстрела. Кто-то вскрикнул, и вдруг все затолпились, задвигались. Темные

силуэты солдат сразу загородили от Анисимова то место и, схватив его под руки, быстро потащили прочь...

И все это теперь стояло перед глазами Анисимова в смутном мраке холодной комнаты.

Теперь он уже знал, что завтра утром, через несколько часов, его расстреляют.

IV

«Завтра меня расстреляют!—думал Анисимов, острыми блестящими глазами глядя в холодный мрак.—Завтра меня расстреляют».

Это была не мысль, потому что нельзя было думать о том, что через несколько недолгих часов придут люди, которых он никогда в жизни даже не видал, и убьют его, страдающего, живого человека, как старую, запаршивевшую собаку. Это было просто какое-то тяжелое и холодное давление на мозг, какое на человека, не верящего в сверхъестественное, производит появление страшного, необъяснимого призрака.

Анисимову иногда хотелось пожать плечами и усмехнуться этой забавной несообразности, но вместо того лицо его в темноте кривилось дикой и болезненной гримасой, принимая выражение зловеще искаженной маски сходящего с ума.

Он запахнулся, точно в больничный халат, в пальто с разорванным клапаном и короткими, неровными шагами, худой, длинный, как привидение, заходил по комнате, осторожно обходя в темноте мебель и почему-то стараясь не шуметь. Странно было то, что эта его осторожность была вовсе не от страха: Анисимову только страстно хотелось, чтобы никто не помешал ему думать «об этом». Казалось, что если он спокойно и точно

обдумает что-то до конца, то все переменится,—он все поймет, и тогда все разъяснится очень просто и хорошо. И он думал, думал, думал... Лицо его принимало мучительное выражение свыше сил напряженной думы, но ничего не выходило. Порой как будто и возникала яркая, спасительная мысль, но где-то очень глубоко и смутно. Анисимов делал сверхъестественное усилие, чтобы вызвать ее на поверхность и облечь в слова. Мысль крепла, поднималась, начинала распутываться и приближаться к какому-то слову. Становилось легче, голова светлела, глаза теряли напряженное выражение. Анисимов останавливался, чтобы схватить самое главное, схватывал и мысленно говорил, думая, что говорит именно то, что нужно: «Завтра меня расстреляют!..» И тогда вдруг все снова путалось, мысль моментально и бесследно таяла в мозгу, выступал липкий пот на висках; холодная туманная пустота, похожая на то, как будто всего его неожиданно окутывало густым облаком какого-то холодного пара, наполняла душу,—и Анисимов опять начинал мелкими шажками быстро и осторожно ходить из угла в угол и напрягать свой усталый, горячий мозг.

Вдруг представилось ему знакомое место, за станцией, у канавы, где сложена куча старых, почерневших шпал, и снег лежит округлыми, хруплыми сугробами, белый, чистый, не тронутый ногой. Кучи шпал теперь не было: Анисимов знал, что ее растащили на баррикады по его же указанию, но место это так и представилось ему: ограда палисадника, черная куча обледенелых шпал, а дальше—белое свободное поле, с которого далеко видны, точно игрушечные, красные домики станции и бегущие по бесконечному, ровному стальному пути хорошенькие разноцветные поезда с белыми

султанчиками паровоза. И вот именно там на снегу, головой к шпалам, он, Анисимов, будет лежать мертвый, не просто мертвый, а «расстрелянный». Голова и грудь у него будут пробиты пулями; синие руки закостенеют, как скрюченные лапки зарезанной курицы; а колени острыми углами будут торчать из сугроба.

Будет холодно; он весь обледенеет и станет твердый, как полено, с замерзшими, мутными, выпученными глазами и ртом, набитым снегом и красным льдом. Но тогда он уже не будет ничего чувствовать, сознавать и видеть, и не увидит даже своего трупа.

«Это самое ужасное... это самое ужасное...»—почему-то подумал Анисимов, и невыносимая внутренняя тоска, выворачивающая всю душу, засосала сердце. Захотелось стонать тоненьким жалобным воем.

Было тихо вокруг, и только треск горевшего дерева изредка доносился в окно.

Все быстрее и быстрее шагая из угла в угол и кутаясь в пальто, как в больничный халат, Анисимов стал припоминать. Сначала он сам не мог понять, что именно ему хочется припомнить; но появилось и окрепло воспоминание о прожитой и теперь вдруг неожиданно, но очевидно заканчивающейся жизни. Он стал проходить ее мыслью с начала до конца и тщательно искать в ней чего-нибудь такого, что имело бы связь с тем, что должно было произойти завтра.

Вызванная из серого тумана забвения, стала проходить перед ним вереница дней, годов, встреч, дел, настроений и забот. Жизнь вставала перед ним тускло и бледно, представляясь однообразно-серой полосой, без начала и конца. Иногда ему казалось, что она началась еще раньше его рождения, и что все его страдания, болезни, унижения и заботы были только

продолжением неисчислимых бед, идущих от времени. Точно это был бесконечный путь из вечности в вечность, на который он незаметно вступил, где-то неизмеримо далеко от начала, чтобы через несколько томительных мгновений сойти так же далеко от конца, как случайная тень, тоскливо скользнувшая по проезжей дороге.

Бедный родился он на свет, в жестокой нищете прожил все детство и всегда вспоминал о нем с унылым отвращением, удивляясь тем людям, которые говорили о своем детстве, как о светлом празднике жизни. Был он оборванный, плохо обутый, тщедушный и болезненный мальчик, типичный сын почтальона, на котором труды, болезни и горе родителей положили навек свое бледное клеймо. Учиться ему пришлось немного и трудно, и то, чему он выучился, было соком жизни, выжатым из себя отцом и матерью. Рано пришлось думать о пище, и пятнадцати лет он уже поступил на железную дорогу, где и прослужил двадцать пять лет в разных должностях, всегда одинаково трудных, томительно однообразных и чуждых душе. Ему было тяжело, часто унизительно и трудно; но отец и мать, пока не умерли, надорвавшись на работе, были счастливы, что он избежал участи отца. Их чахоточная радость была бессмысленна и ужасна, но самое ужасное было то, что он сам понимал и разделял их радость. И это было похоже на ту радость, которою радуется человек, затонувший в топи по горло и видящий рядом другого, которого вонючая, душащая грязь уже покрыла с головой.

Когда прошли года, и счастье вечного прозябания на маленькой, затерянной в глухой степи станции было достигнуто, он женился. Женился он по любви на некрасивой, глуповатой девушке, прошедшей ту же жизнь, что и он. И в этой любви был тоже ужас, ибо и в самые

счастливые моменты ее не затемнялось сознание бесцветности, ничтожности и некрасивости жены; но жажда во что бы то ни стало иметь хоть кого-нибудь близкого, теплого, родного забивала это сознание, и оно оставалось в душе только, как непрестанное, ноющее томление духа по красивой, таинственной и поэтичной любви, которой никогда не придется испытать. Жена его скоро состарилась и потеряла и ту относительную миловидность, которую все же давали ей молодость и свежесть. С нелепо страшной быстротой рождались дети. Жена стала сварливой, скучной, безнадежно опустившейся полустарухой, на лице которой навсегда застыла жалкая маска заботы и зависти.

Дети вырастали худосочными, больными и щуплыми. Радостный степной воздух и светлое солнце не могли вытравить из них страшного яда векового недоедания и прозябания их рода. Одна девочка страдала расслаблением кишок и всегда сидела в маленьком креслице-судне, страдальчески выглядывая из своего уголка, как закусанная насмерть мышка. Не радовали души эти дети, а только заботили, печалили и злили.

Мало было сношений с людьми, потому что это вызывало расходы, неловкость за свою бедность и унижения. Анисимов много пил, пьяный плакал о своих несчастиях и томился смутной мечтой об иной, свободной, легкой и приятной жизни, осмысленной хоть каким-нибудь светлым лучом.

Страшна была его жизнь, как страшна была у всех окружающих его, и именно это скоро притупило сознание и скрыло от него ужасный вид его существования. Как ни мучительны были у него позывы что-то переменить, что-то узнать, что-то устроить—в общем ему казалось, что так и надо, ибо так живет не он один.

томление духа обратилось в привычку, научило брюзжать, раздражаться, пить, и не было сил задуматься, оглянуться и притти в отчаяние. Как крот, живущий в вечной тьме, Анисимов уже не видел тьмы, окружающей его, и думал, что он живет лучше многих; но не как крот—он тяготился и страдал своею жизнью.

Так было до тех пор, пока внезапный свет всеобщего протеста и всеобщего напряжения, как молния, не осветил для него все и, как молния, не убил его.

Анисимов вдруг остановился. Что-то напряглось в нем до высшей точки и замерло в ожидании. И внезапно Анисимов понял, что ему не жаль своей жизни.

«Если такая жизнь опять, то лучше смерть... И тогда в смерти нет ничего ужасного, а, напротив, она нужна, необходима, как естественный выход... Будь она проклята, такая жизнь!»—подумал Анисимов.

И когда подумал,—успокоился, затих, и лицо его, серое и измученное, приняло спокойное и решительное выражение, то самое, с которым он так бесповоротно и всецело вошел в закипевшую вокруг борьбу.

Но в самой глубине его души что-то ныло. Это была тупая, ноющая и чуть слышная боль. Что-то как будто грызло, подтачивало, сосало. Анисимов с тревогой прислушался и сказал себе:

«Чего же еще?.. Я же решил!.. Не надо думать... Если думать, то будет опять ужас... Лучше не думать».

Но боль все ныла, поднималась, подступала к сердцу и, как грызущая мышь, становилась все смелее и ближе. Анисимов быстро встал и опять торопливо заходил по комнате, стараясь шагами заглушить то, что неуклонно делалось в нем. Но боль все росла и уже не ныла, а терзала сердце, и от нее росло тяжелое, отчаянное возмущение.

И вдруг она прорвалась и наполнила все существо его с такой силой, что у него загудело в ушах и сдавило грудь.

«Да, так...—скачками запрыгала его мысль.—Мне не жаль жизни... лучше смерть, чем такая жизнь... Но почему же «такая», а не иная?.. Кто смел обречь меня на такую жизнь?.. Кто отнял у меня, и не отнял, а просто не дал мне такой жизни, чтобы ее было жаль?.. И это неправда,—мне жаль и ту жизнь, которая у меня! Какая бы она ни была, а жаль... Жаль, что ее изуродовали, жаль, что ее хотят уничтожить, как что-то ужасное, а она только несчастная!..»—И как же смеет кто бы то ни было за то, что я всю жизнь страдал, за то, что мне было скверно, тяжело и мучительно, убить меня?! Это... это... это...—забормотал Анисимов, останавливаясь посреди комнаты и сверкая ненормально расширенными, больными глазами, и вдруг стремительно бросился к окну, схватился за раму и, обрезывая руки стеклами, стал рвать ее и ломать.

За окном уже погасал пожар, и бурая тьма все ближе и гуще подступала к огню, но в комнате было так темно, что на дворе казалось светло, как днем.

— Куда лезешь?—отчаянно, грубым голосом крикнул солдат, с ружьем на перевес подбегая к окну. Анисимов остановился и застыл, держась за раму, и солдат тоже остановился. Из мрака выделялось бледное, с расширенными глазами лицо Анисимова и клочки его спутанных волос, а на Анисимова смотрел темный силуэт неизвестной, круглой и усатой головы. С минуту они смотрели друг на друга с недоумением, и опять, как с тем солдатом, который ловил его, оба не знали, что им делать. Было в этом что-то нелепое, но одинаково

тяжелое для обоих. Потом Анисимов, точно опомнившись, рванул раму и неистово закричал:

— Пусти!

— Не велено!—таким же неистово неестественным голосом крикнул солдат.

— Врешь... пусти!.. Позови сюда полковника...

— Какого тебе полковника!.. Осади!..

Их неестественно громкие и напряженные голоса поразили обоих, и на секунду опять наступило молчание и неподвижность, и опять что-то встало между ними. Было мгновение напряженной тишины, и казалось, что сейчас должно произойти что-то особенное, новое. Но в это время послышались приближающиеся голоса и шаги. И точно в ответ именно на эти шаги, Анисимов молча и упрямо стал рвать раму. Со звоном посыпались стекла. Солдат внезапно шагнул вперед и изо всей силы, так же молча и упрямо, ударил Анисимова прикладом в костлявую грудь.

Горячая соленая волна хлынула к горлу и носу Анисимова, он повернулся и, как захлебнувшийся, расставив руки и ничего не видя, закружился и тяжко сел на пол.

— Что тут, Ефимов?—спрашивал кто-то за окном.

— Так что арестованный в окно полез...—срывающимся и как будто недоумелым голосом ответил солдат.

Несколько черных голов заглянуло в комнату и долго неподвижно смотрело в темноту. Было тихо. Анисимову казалось, что это бред, и голова у него быстро-быстро шла кругом, увлекая в страшном водовороте три черные, неподвижные и какие-то таинственные силуэта в окне. Потом они вдруг исчезли, и тот же голос сказал громко и сердито:

— Будет очень колобродить—пали ему в башку!.. Очень просто!

И голоса затихли.

Анисимов приподнялся, безумными глазами посмотрел в окно и отполз в сторону. Его страшно поразили последние слова:

— Очень просто!

И он понял, что это действительно так,—просто; сколько бы он ни кричал, сколько бы ни бился, как бы остро и мучительно ни сознавал ужас смерти, страдание и то, что он, человек, Анисимов, имеет свою единственную жизнь, имеет право не умирать, не страдать, жить,—из этого ничего не выйдет. И вдруг опять вынырнула старая мысль:

«Меня расстреляют!..»

Было несколько мгновений пустоты и мертвого бессмыслия, а потом ярче и подробнее вырисовывалось в мозгу:

«Меня расстреляют... что бы я ни делал, как бы ни просил, как бы ни корчился от страха, как тот мастеровой, меня... поведут к куче шпал, станут целиться, так спокойно, как будто я не вижу этого и не умираю от страха».

И он почувствовал, что нижняя челюсть его начинает как-то странно прыгать, и все сильнее, сильнее... Анисимов сделал нечеловеческое усилие, чтобы удержать ее, но начал биться весь, дергаясь плечами, руками, головой, точно его трясла и била какая-то посторонняя, жестокая сила. Ему казалось, что это никогда не прекратится; но когда сразу опомнился и инстинктивно понял, что с ним был длинный период полного беспамятства, судорог уже не было, а тело только ныло и дрожало чуть заметной, неимоверно мелкой дрожью... Странно поразило его то, что за окном уже печально серело, как на осеннем рассвете. В комнате было все

видно, и бледный свет слабо ложился на стены, на пол и на его белевшие руки. Одну секунду ему казалось, что все прошло и он проснулся, но со страшной быстротой, точно откуда-то извне, налетели и сознание неотвратимой действительности и того, что уже скоро, и снова то же, мучительное, как пытка, недоумение и острая потребность скорее, как можно скорее что-то обдумать и сообразить... Быстро, мельком, точно отбрасывая прочь со словами: «не то... не то...», Анисимов припомнил убитого машиниста, потом еще других, которые скатывались с баррикад и свертывались на окровавленном снегу, потом мастерового, потом черного, горбоносого человека и два короткие выстрела, сопровождаемые легким страдальческим вскриком, и внезапно увидел среди бледного и болезненного хаоса черную груду обледенелых шпал и острые колени, его колени, торчащие из сугроба. «Да за что же все это?..»

И ему, наконец, стало смешно. Анисимов в самом деле тихо и судорожно засмеялся, но сейчас же замолк. Короткий, дрожащий звук его смеха был слишком тихо-громок и странен в пустой, бледной предрассветной мгле... Опять начался стремительный ход мыслей: сколько раз он слышал, что людей казнят. Так. Значит, это совершенно возможно, и тут нет ничего непонятного. Это так просто. Их казнят, они страдают от боли и ужаса, но потом умирают, и страдания и ужас прекращаются, точно их и не было. Об этом можно было думать, но только с отвращением, и мысль об этом неприятно бередила мозг. Да, но там было все-таки понятно: эти люди, которых казнили, были люди особенные, злодеи. И это были, что самое главное,— не Анисимов.

«Нет, лучше не думать!»—бессильно подумал он... Ему вдруг стало холодно и захотелось есть... Тогда он в первый раз вспомнил о жене и детях и удивился, что до сих пор не вспоминал. И ему показалось, что, может быть, здесь и есть то, что необходимо себе уяснить прежде всего.

«Скорее надо думать... скорее надо думать...»—стал он торопить себя, беспокойно оглядываясь. Он еще не сознавал, что его болезненно остро мучило то, что небо становилось в окне все светлее и светлее.

«Надо написать жене...»—пришло ему в голову. Уже было достаточно светло у окна, и он это заметил. Чернильница на столе была, но чернила покрылись льдом. Анисимов заботливо подышал на них, проткнул пером и отнес чернильницу к окну.

На подоконник уже падал серый и холодный свет, в котором таким же серым и холодным пятном выделялось лицо Анисимова с взъерошенными клочьями волос и с черными тенями на скулах и под глазами. Писать было трудно, перо два раза выскакивало из окоченелых пальцев, и это будило в Анисимове острое, глубокое чувство жалости к себе.

Сначала ему казалось, что могут помешать, а нужно написать много, и потому надо торопиться. По временам он острым, быстрым взглядом посматривал в окно, где теперь неподвижно, спиной к окну стоял длинный серый солдат, облокотившийся на ружье. На серую спину его шинели уже падал явственный серый свет утра.

«Милая Саша»,—написал Анисимов, с трудом, хотя и казалось светло, различая буквы, и не знал, что писать дальше. Ничего нельзя было выразить, потому что надо было выразить и то радостное чувство, которым он прожил эти десять дней, и тот хаос, огненный и

кровавый, и смерть людей, и ужас его одинокой последней ночи, и то нелепое и безумное, что должно было совершиться с ним, и кучу черных шпал, и закоченевшие колени, торчащие из снегу, и то, что он уже не увидит ее и детей, и свою беспомощность, и свою жалость к себе, и то горе, в котором ему хотелось ее обласкать и утешить, те слезы, которе стали наполнять его глаза, скатываться по щекам, исхудалым и холодным, и падать на клочок его последнего письма.

И это было невозможно, и ужас этой невозможности вызвал в нем невыразимую грусть.

— Господи, господи... Господи!.. За что же меня так мучают?.. Ну, за что?—зашептал он, хватаясь за свои всклокоченные волосы, и заплакал. И долго плакал, остановившимися глазами глядя в окно, в белое, далекое, безучастное небо.

Потом он приписал: «Прощай, Шурочка! Как-то вы проживете без меня? Не знаю, передадут ли тебе мое письмо. Я попрошу. Прощай же! Ты, Шурочка, не плачь, что ж делать! Не забывай меня и детям скажи, чтобы помнили. Не могу писать больше. Прощай еще раз».

Сверху на его мозг опускалось какое-то белое плотное облако, и он делал страшное усилие, чтобы не забыться.

К окну подошли несколько человек, гремя ружьями. Потом ушли, и новый часовой, постукивая прикладом, прошелся два раза мимо окна, искоса и как будто украдкой поглядывая на Анисимова. Бледно промелькнул его серый силуэт, с торчащим тонким штыком.

Анисимов отошел в глубь комнаты, спрятал письмо за пазуху, лег на диван лицом к стене и крепко прижал к груди клочок бумаги. Ему казалось, что это письмо

как-то еще связывает его с жизнью, с тем, что будет завтра, послезавтра и всегда,—когда его самого уже не будет нигде,—с женой, детьми, с тем, с чем он прожил всю свою долгую жизнь и с чем разделила его теперь навсегда пустая, холодная, мертвая черта. У него уже ничего не осталось, кроме этого письма, и ему хотелось излить на этот клочок бумаги всю свою оставшуюся жизнь,—те страшные грусть и муку, которые одни еще напоминали ему, что жизнь не кончилась. Он крепко прижимал письмо к груди и плакал горькими, неслышными и никому не зримыми слезами.

А ноги его ныли, голова тихо кружилась, и беловатый туман поднимался с пола и окружал его голову. И так, прижимая к груди клочок бумаги и с мокрым от слез лицом, Анисимов заснул.

Бледный день осторожно и пытливо входил в комнату и смотрел в бледное, исхудавшее в один день до кости человеческое лицо, на котором застыли слезы и жалкое скорбное выражение.

V

Его расстреляли в восемь часов утра.

Последние видения его сна с мгновенной быстротой слились с действительностью: ему приснилось, что он лезет по какому-то страшно узкому земляному коридору, лезет на животе, с трудом, и чем дальше, тем коридор становится уже, и лезть все труднее и труднее. Но он все-таки лезет и знает, что не лезть нельзя. Сзади земля осыпается с каждым шагом, и он чувствует, что там уже глухая стена. Он лезет, а чувство какого-то неведомого, грядущего неизбежного ужаса все сильнее и сильнее давит ему грудь. Ему уже трудно

дышать, он хочет по крайней мере крикнуть, чтобы хоть криком рассеять этот невыносимый ужас, и вдруг видит перед собою, всего на сажень расстояния, приплюснутую серую голову с неподвижными узкими, зеленоватыми глазками, а за ней длинное скользкое тело, на котором блестит слабый подземный свет. «Это гремучая змея!»—с невообразимым ужасом кричит ему кто-то в уши, и он чувствует, как волосы тихо шевелятся на голове. Он судорожно пятится назад. Но сзади уже рыхлая, непроницаемая стена. Он в ужасе бьется в нее, взрывает ее ногами, царапает, бьет. Но она рыхла, безвольна и неодолима. Он старается зарыться в нее, не видеть, закрывает глаза, но уже слышит легкий, таинственный свист и видит, ясно видит сквозь закрытые веки, что приплюснутая голова с зеленоватыми глазками уже не лежит, а медленно-медленно скользит к нему по земле, и за ней противно струится длинное, скользкое, серое тело. В страшном последнем отчаянии он открывает глаза...

Перед ним стоял высокий, худой офицер в серой шинели и, глядя ему прямо в глаза серыми, холодными зрачками, говорил:

— Ну, вставайте... господин А... нисимов. Пожалуйте!

Анисимов быстро приподнялся на локте и острыми глазами пристально уставился в лицо офицеру. Потом вдруг засуетился и встал с деловым и серьезным видом.

— Разве уже пора?—торопливо спросил он.

Офицер криво усмехнулся.

— Н-да...

Анисимов засуетился еще больше и стал искать свою фуражку. Ее не было на диване, не было на столе.

Анисимов бестолково и торопливо шарил вокруг, и ему было странно, мучительно неловко, что он задерживает. Руки у него дрожали, глаза бегали.

— Ну, вы скоро?—сердито спросил офицер.

— Сейчас... тут шапка...

— Да все равно, можно и без шапки!—нетерпеливо возразил офицер.

Анисимов опять быстро взглянул ему в глаза и потупился.

— Да, впрочем, все равно...—торопливо, как будто про себя, выговорил он в сторону. Воцарилось короткое молчание, и вдруг у офицера явственно задрожали губы.

Анисимов тихо повел глазами и встретился с странным, как будто чего-то не понимающим и растерянным взглядом. Но так же мгновенно лицо офицера резко изменилось.

— Ну!..—коротко и страшно грубо выкрикнул он, порывисто дернув головой к двери.

Анисимов вздрогнул, судорожно покривился и, не глядя на офицера, шагнул вперед.

Когда его вывели на платформу, и кучка офицеров и солдат молча уставилась на него, Анисимов опять вздрогнул и поморщился болезненно, странно. Вид у него был больной и измученный, лицо серо, глаза ввалились, и волосы стояли торчком во все стороны.

Тот же офицер, который разбудил его, что-то сказал, и из рядов солдат вышли двенадцать человек и стали позади Анисимова. Тогда Анисимов растерянно улыбнулся, повел глазами кругом и сказал хрипло и невнятно:

— Господин офицер...

Офицер медленно обернулся:

— Что такое?

— Я не знаю...—с трудом заговорил Анисимов, все страдальчески и как-будто конфузливо улыбаясь.—Может быть, можно все-таки письмо...

Один от стоявших рядом офицеров, толстый и черноусый, морщась, ответил:

— Право... теперь уже... когда же теперь...

— Я уже написал.

— А... Ну, так что же?

— Нельзя ли послать... по адресу?..

— Послать?.. Да... Иванов, возьми...—сердито и коротко ответил толстый офицер, и его короткая шея налилась кровью.

Из рядов выступил рябой белоусый ефрейтор. Анисимов засунул руку за пазуху и достал письмо, грязное и скомканное.

— Пожалуйста...—тихо попросил он.

И когда его уводили, он долго и грустно посмотрел на этот клочок белой бумаги, которую ефрейтор Иванов тщательно засовывал за обшлаг своей серой шинели.

Его провели на маленькое кладбище, лежавшее в полуверсте от станции. Там было пусто и тихо; белели холмики могил и чернели кривые, покосившиеся кресты. Тонкие и печальные стояли неподвижные березки с тоненькими, узорными веточками.

Они шли недолго. Анисимов шел среди солдат один. Шел он так покорно, точно кто-то сильнее его крепко держал за локоть и вел, и у него не было сил не только сопротивляться, но даже думать о том, куда он идет. Ни воли, ни ясного, здорового разума в нем уже не было. Он смотрел вокруг яркими, всевидящими, каждый пустяк отмечающими глазами, и в голове его

странно мелькала мысль, что все это не страшно, что стоит только сохранить над собою волю и полное сознание каждой мельчайшей частицы мгновения,—и не будет ни страшно, ни больно, и все кончится просто и легко...

«Выстрелят и убьют... только и всего. Что ж тут такого ужасного? Все очень просто и обыкновенно...»

Но было мучительно именно то, что никак не удавалось все видеть и сознавать. Каждая мелочь: рыжий сапог солдата, шедшего впереди, синева на снежном горизонте, далеко в белом поле чернеющая точка, воробьи, слетевшие с дороги и обсыпавшие закачавшийся черный куст, белый свет, скрип снега под ногами,—все отчетливо резало глаза, но в общем ничего не получалось, и в мозгу была пустота, точно утеряна уже была какая-то самая главная общая связь, без которой все остальное было незначительно, мелко и мертво... Анисимов опустил голову и стал смотреть под ноги, на следы резиновых калош офицера, и смотрел так внимательно, точно от этого зависело все. Он поднял голову только тогда, когда его оставили одного.

Было пусто и холодно. И ряд серых солдат, офицеров и направленные прямо в него ружья не прибавляли ничего к этим пустоте и холоду.

Анисимов посмотрел на солдат. Все они, поверх длинных дул, смотрели прямо на него, и он вдруг стал видеть только один этот ряд разноцветных, испуганных и непонятных глаз. Все остальное исчезло, и в эту короткую секунду, между командой и залпом, Анисимов подумал с мгновенной ясностью и отчетливостью:

«Им не надо меня убивать и мне не надо умирать... Всем страшно, что меня сейчас убьют, но меня убьют. Это оттого, что у меня нет такого слова, которым я мог бы показать им весь ужас и тоску этого...»

Тысячи огненных слов молниями избороздили его мозг; в невероятном усилии что-то сказать, Анисимов подался вперед и судорожно открыл рот.

Он видел еще мгновенный бледный огонь, но не слыхал залпа, а только почувствовал, как вскинул руками и ударился лицом о твердый снег, и еще понял, что все кончено и произошло что-то совершенно и навсегда непоправимое.

Треск ружейных выстрелов мелкой дробью далеко отлетел в поле. Вздрогнули тоненькие березки, и ворона, сидевшая на дальнем кресте, взъерошив черные крылья, взлетела вверх и, точно падая, низко над снегом полетела прочь от людей.

Солдаты, опустив ружья и раскрыв посиневшие губы, бессмысленно смотрели на труп, и было тихо, пока легкая дрожь в носке левого сапога не прекратилась. Кровь быстро впитывалась в белый снег и на нем торопливо расплывалась в бесформенное розовое пятно. Перепачкавшись этой кровью, солдаты оттащили труп Анисимова к канаве и там зарыли.

Кровавое пятно забросали снегом, но оно опять просочилось. Долгая зима покрыла его снегами, но весною они стаяли, и побуревшее пятно снова появилось не надолго, чтобы вместе с снегом, под радостными лучами яркого солнца, растаять и уйти в рыхлую живую землю.

1906

КУПРИЯН

I

Куприян устал и обмок.

Ноги его бессильно расползались по скользким мокрым кочкам; сапоги намокли, облипли грязью с сухими листьями и стали пудовыми. Куприян с трудом вытаскивал их из липкой, жирной грязи.

Куприян был голоден и не спал прошлую ночь; в голове у него шумело, над глазами висела какая-то неприятная тяжесть. К этим ощущениям присоединялось еще и постоянное смутное сознание опасности, стоящей за плечами.

Куприяну было скверно, как бывает скверно отощалому волку, которого начинают травить со всех сторон.

Небо обложило еще со вчерашнего дня, и все время шел дождь. В лесу было темно и сыро, как в погребе. Еле-еле можно было различить тонкие белые стволы березок, сквозь жидкую осеннюю листву которых, тихо шурша, непрестанно пробивался мелкий назойливый дождик. Вверху было темно, пусто и холодно, внизу — мокро и тоже холодно. От мокрых деревьев, мокрой земли и моросившего в воздухе дождя получалось одно общее впечатление мокрого холода.

Куприян почти ощупью пробирался вперед, то и дело скользя с пригорков и бухая по колено в глубокие рытвины, наполненные холодной водой. Он шел молча и усиленно сопел носом, думая, машинально и тяжело, как больной, только о том, чтобы поскорее добраться в село Дерновое, лежавшее версты за четыре от места, где он шел. Куприян не знал этого и думал, что он гораздо ближе к селу.

Мысли у него были спутаны и неясны: то мелькал в них кусок хлеба, которого хотелось Куприяну, то выростала смутная тревога, туда ли он идет. Потом все смешивалось, и оставалось одно тупое ощущение усталости.

Вдруг впереди послышались какие-то звуки, едва слышно пробивающиеся сквозь шум дождя. Казалось, что кто-то осторожно постукивает палкой по стволам берез.

Куприян насторожился.

Звуки приближались и становились яснее. Скоро Куприян разобрал осторожный стук колес по корням и тихое пофыркивание лошади.

В этом месте деревья быстро редели и жалкими группами и одиночками тонких, чахоточных березок и осинок разбегались по широкой просеке, конец которой тонул за дождем и темнотой.

Снизу просека была сплошь покрыта молодой и сильной зарослью дубов, елочек и свежих беленьких березок. Отсюда было видно небо, с которого неустанно моросил невидимый дождик. Здесь было гораздо светлее; стволы березок явственно белели и казались тоненькими живыми существами. Куприян мог различить расплывающуюся в темноте фигуру лошади, шагом бредущей в стороне от дороги, прямо по зарослям

и кустам. За лошадью неопределенно мерещилась телега и тощая длинная фигура мужика, неподвижно сидящего на телеге, свесивши ноги. Телега сворачивала все дальше и дальше от дороги, к лесу, прямо по тому месту, где, притаившись за елкой, стоял Куприян.

— Эх!—неопределенно крякнул он, присмотревшись, и, сразу шагнув из-за елки, схватил лошадь за чолку.

Та нисколько не удивилась, мотнула головой и стала, ласково принюхиваясь к Куприяну.

— Ну, ну... Чаво ты?—пробормотал мужик, сидевший в телеге.

— Чего шляешься?—в свою очередь спросил довольно дружелюбно Куприян.

— Я, ваше скородие, сам по себе,—заговорил мужик необыкновенно хриплым и дрожащим фальцетом,—а ежели насчет лесу, то-есть, так... как перед богом, потому я, значит... по своему делу, а не то, что...

— Эх, ты... «ежели насчет лесу»,—передразнил его Куприян.—На воре шапка горит! Чорта мне в твоем лесе, руби хоть весь... Жертвую!..

Куприян засмеялся.

Мужик недоумело молчал, неподвижно сидя на телеге.

— Из села?—спросил Куприян.—Ишь ночку выбрал! Али с вечера в кустах хоронился? Ах, ты...

— Ну, ну... Чаво ты!—заговорил мужик и тронул вожжи.—Но!

— Тпру!—осклабясь, тпрукнул Куприян.

— Но!

— Тпру!..

Лошаденка сбилась и бестолково замоталась на одном месте, перебирая ногами по грязи.

Мужик помолчал.

— Ну, ты... Пусти, что ль!—озлился он вдруг.

— А то что?—весело спросил Куприян, очень довольный, что он не один в лесу.

— А то того, ежели... видишь—топору? Ну!..

— Ишь ты, какой страшный! Дурья ты голова, Игнат, своего не признал...

Мужик встрепенулся.

— Ты?

— А то нет?..

— Неужели Купря?..

— Он самый и есть!—осклабился Куприян и, бросив лошадь, начавшую щипать какие-то листики, подошел к телеге.

Мужичонко ужасно обрадовался.

— Купря и есть! Я смотрю: кой чорт балует? А оно—Купря, Куприян, чорт!..

— Так топор, говоришь?—спросил Куприян, ухмыляясь так, что в темноте сверкнули его зубы.

— Ну тя к лешему!.. Топор... запужал вовсе. Я думал—што? А оно—Купря... Куда несет?

— На село.

— А для ча?

— Старшину давно не видал, соскучился...

— Вре,—недоверчиво протянул мужик и, вдруг сообразив, ударил себя обеими руками об полы и захохотал:

— Ну тя к лешему! Балагур...

— Ну, ну... Хохочи у меня!—оглянувшись, прикрикнул Куприян.—Вот услышит Вавилыч, он те даст... Лошаденка-то, чай, одна...

— И что ты!—испугался мужик и замолк.

Опять стало слышно, как дождь шуршит по листьям, точно по всей просеке кто-то осторожно пробирается сквозь кусты.

— То-то... потише, говорю. Долго ли...

Мужик инстинктивно подобрал вожжи и тронул лошадь мимо Куприяна.

— Стой, чорт! Стой, говорю...

— Чаво!

— На деревне тихо?—спросил Куприян.

— Урядник наезжал,—почесываясь, сказал мужик.— Опосля становой... Поспрошал кой-кого. Меня спрашивал.

— Ты что ж?

— Что я... ничаво. Мое дело сторона. Увели точно у господина земского начальника дошадей, про то слыхал, но, одначе, не знаю... Однова ткнул в это место. «Пошел,—говорит,—сам вор, вора и покрываешь».

Куприян помолчал.

— А Ваську видел?

— Третьего дни на огороде у Федора Кривого водку пил, а как услышал, что становой, сейчас шиганул в лес... Только его и видели...

Оба замолчали. Куприян задумался, поводя широкими плечами.

— Ну, прощай, Купря!—сказал мужик.

— Прощай,—рассеянно ответил Куприян.

Мужик, которого звали Мозявым и который был самым захудалым мужиком в селе, и не думал, однако, трогаться с места. Лошаденка понуро щипала молодые побеги; Куприян задумчиво поглядывал на небо, соображая, что если наезжали урядник и становой, то не сегодня-завтра надо ждать обыска и облавы. Мозявый тупо смотрел на Куприяна, моргая подслеповатыми

глазками. Дождь все шуршал, шуршал тоскливо! По временам по лесу пробегал ветер. И тогда таинственный протяжный гул заглушал шуршание дождя, но потом опять начинался его тягучий шопот.

— Ты что?—спросил, очнувшись, Куприян.

Мозявый вдруг оживился.

— А ты вот что, Купря,—быстро заговорил он,—ежели насчет бабы, так я тебе говорю—боюсь!..

— Что?—неласково переспросил Куприян.

— Егор домой пришел!—выпалил Мозявый.

Куприян невольно выпустил из рук вожжу, которую захватил было опять, без причины снял шапку, опять надел ее и пробормотал спавшим голосом:

— Вре...

— Правильно говорю,—с чувством возразил Мозявый.—Зачем врать? Я тебе, Куприян, бестолковый человек, правильно говорю: пришел седни и бабу бил... Матрену!

— Бил?—машинально переспросил Куприян.

— Смертным боем!—с форсом ответил Мозявый.

Куприяна передернуло, точно ему сразу стало холодно.

Мозявый захлеонулся от возбуждения.

— Насмерть бил! «Чей парнишка?»—спрашивает... это Федька-то! «Какой,—говорит,—парнишка? Какая причина парнишке быть...—Федьке, то-есть...—ежели твой законный муж то-есть пять лет в отсутствии?» Бил бабу оченно.

Мозявый покачал головой.

— Ну?—хрипло протянул Куприян.

— Ну, Матрена и повинилась: так и так, мол... Потому, то-есть, парнишка, а парнишке без причину никак быть невозможно. Ежели он, точно, пять лет...

Куприян сосредоточенно молчал, поводя плечами.

— Так ты бабу-то теперича брось. Плевое дело! Егор вчера под винной похвалялся: я его!.. Это тебя, то-есть. Да! Бутылку сам выпил... Питерский! «Я его!»— говорит... Говорю, брось бабу, и на село—ни боже мой! Ушибет Егор. Серьезный человек... Кулачищи—во!

Мозявый в темноте развел руками.

Куприян вдруг озлился.

— Ну, ну, проезжай! Чего стал?.. Кулачищи! Ты смотри у меня: живым манером лошаденку-то...

Мозявый испуганно взглянул на него и дернул лошадь. Колеса застучали по корням.

Куприян мгновенно успокоился.

— Эх-ма!—присвистнул он вслед Мозявому.—Фью! Тоже мужик называется!—презрительно сплюнув, добавил он, машинально прислушиваясь к слабому стуку колес, осторожно попрыгивающих по корням и кочкам в глубину леса.

Силуэт мужика, лошади и телеги постепенно стушевывался в темноте, стук становился слабей и слабей, смешался и исчез в шуме дождя. Куприян вздохнул, снял шапку, почесал затылок и задумался.

— Ишь, ты... вернулся солдатский чорт... не сдох,— пробормотал он.—А баяли, дюже был болен... не то помер, не то помрет... Вернулся! Матрена-то теперь, чай...

Чувство ревности и мучительного недоумения охватило Куприяна. Он опять с трудом зашагал по дороге.

«Жаль бабу,—думал он, шлепая по лужам и путаясь в мокрой траве,—забьет ее Егор... Зверь ведь, чистый зверь!.. Да и то, ежели по правде, ему тоже не очень-то...

Другая, ежели бы на ее месте, отпор дала бы, а эта нет, не такая баба... смирная...»

Лес опять стал редеть.

II

Между деревьями замелькал свет, бледный и расплывчатый. Дорога выходила в поле.

Куприян постоял на опушке, глядя на село, лежавшее, как куча навозу, посреди голого черного поля, задернутого жидкой навесой обложного дождя.

«Итти, что ль?—подумал Куприян.—Васька, чай, если не утек с перепугу, так, наверное, у Федора в риге ночует».

Он стал медленно подниматься по размокшей черной дороге и уже не думал больше о том, где укрыться и что его могут схватить. Мысли его всецело перешли на приезд мужа его любовницы, солдата Егора Шибаева. Ему было очень тяжело от сознания неотвратимости беды, и это чувство усиливалось от усталости.

Он был весь мокрый от пота и дождя.

В лесу у него не было такого гнетущего чувства, как в поле. Посреди этого черного простора, над которым низко и тяжело стояло серое мутное небо, Куприян сам себе казался маленьким, беззащитным и одиноким. Его стала забирать тоска.

Мимо него потянулись низенькие полуразвалившиеся плетни, от которых местами торчали только мокрые колья.

Куприян перешагнул через плетень, прошел по мокрым, рыхлым и липким грядкам, спотыкаясь о сухие кочки прошлогодней капусты, не видные в темноте; потом перескочил канаву, чуть не упал и пошел

огородом к одинокому, полуразвалившемуся сараю, который черным пятном вырисовывался на бледном фоне ночи. За сараем виднелись угрюмо-шатающиеся метелки сухого камыша. Там начиналось болото, а за ним опять поле. Возле сарая торчала чахлая березка, лишенная листьев, плаксивая и жалкая.

Куприян подошел и прислушался. Внутри было тихо, но ему сейчас же показалось, что в этой тишине есть кто-то живой, пристально следящий за ним из темноты.

— Васька!—тихо позвал Куприян.

Никто не ответил, только березка скрипнула.

— Васька, я... Не признал?—повторил он.

— И то... Иди,—ответил сдавленный голос так близко от него, что Куприян вздрогнул.

— Ишь ты... притаился!—усмехнулся он и полез в сарай.

Здесь было совсем темно, пахло сухим сеном и лежалой пылью. Шум дождя, барабанившего по соломенной крыше, был сильнее и резче.

— Где ты там?—спросил Куприян.

Кто-то зашевелился в глубине.

— Сюда... Да на оглоблю не напорись,—отозвался Васька.

Куприян полез на голос прямо по сену и наткнулся на человека.

— Тише ты, чорт!—огрызнулся Васька и затем весело спросил:—Откелева? Дело сделал?

— Продал. Твоих шестнадцать...

— Ловко!—радостно прищелкнул пальцами Васька.

Куприян возился в сене, устраиваясь поудобнее.

— Не ворошись,—заметил Васька.

— Обмок.

— Дело привычное,—беззаботно отозвался Васька.

— Мокрень,—жаловался Куприян, начиная дрожать от мокрого армяка, казавшегося теперь, в тепле клуни, холоднее и противнее.

— Обсушимся... во!..

Васька с торжеством что-то показал в темноте.

— Что?—спросил Куприян, постукивая зубами.

— Водка,—коротко пояснил Васька,—она самая. Мы, брат, об этом положении отлично известны... Случалось... Хлебни,—глотку обожгешь и чудесно! Во!..

Послышалось бульканье.

Куприян сплюнул.

— Ирод!

Васька засмеялся.

— Важно! Так по суставам и прошло. Друг сердечный, хлебни малость! Уважь!—лез он в темноте на Куприяна.

— Отчего не уважить!—усмехнулся Куприян.

Он с жадностью пил водку, чувствуя, что дрожь утихает с каждым глотком.

— Важно,—приговаривал Васька,—добре... эх! Ты, брат, этак всю водку выхлещешь! Ну-у... что...

Васька беспокойно зашевелился.

— На.

Васька ловко перехватил посудину и опять забулькал водкой.

Куприяну стало лучше; дрожь почти улеглась, и в груди точно поместилось что-то теплое. Куприян стал осматриваться; глаза его привыкли к темноте, и в клуне ему уже не казалось так темно. В широкие щели проходил бледный белесый свет и видны были очертания каких-то поломанных колес, бочек и жердей. Смутно

обрисовывался силуэт Васьки, по горло зарывшегося в сено.

Дождь шумел все так же однообразно. По временам налетал ветер, и что-то, не то березка, не то стропило, жалобно скрипело.

Куприян опять вспомнил Матрену и вздохнул.

— Чего ты?—спросил Васька, которого разобрало от выпитой водки, и ему хотелось поговорить.

— Скверность, брат...

— Чего?—глупо переспросил Васька.

— Скверно, говорю!—повторил Куприян.

Васька равнодушно сплюнул.

— А по мне, наплевать! Ну...

Он помолчал.

— Словят ежели... эка, подумаешь, невидаль—острог-то. Прежде оно точно, а теперя...

Васька махнул рукой и повернулся к Куприяну.

— Я, брат,—жидким, бесшабашным голосом заговорил он,—восемь фабрик спиной вытер, так меня острогом не удивишь! Однова работали мы на цинковом заводе... Эх, Купря! Видал пекло? Так оно само и есть! Ни тебе дыхнуть, ни тебе смотреть! И глаза и нутро ест... Суставы ломит... Ложись прямо и помирай! Ну, на ткацкой, папиросной опять же, там точно легче... а все-таки супротив фабрики, я тебя скажу, ни одному острогу не выстоять.

— Не в остроге дело, дурья голова!—угрюмо сказал Куприян.

— А в чем?

— А так...

— Ну?

Куприян помолчал, потому что не мог точно оформить свое душевное состояние.

— Я, собственно... Ты, брат, без году неделя так-то, а я сызмальства мыкаюсь. Ну... двенадцати годов с батькой первую лошадь свели...

— Ишь ты... ловко...—похвалил Васька.

— У нас все так... Еще дед промышлял. Потому нет никакой возможности: земли мало, да и ту хоть брось! На фабрику которые идут... Не охота! А тут голодное брюхо подводит. Ну, с деда и начали...

— Это бывает,—равнодушно отозвался Васька.

— Батьку убили на этом деле... Брата тоже убили, а меня не тронули—мал очень был. Одначе, выпороли здорово!

— Так...

— Ну, после и их немало в Сибирь ушло...

— Бывает, дело такое,—опять отозвался Васька.

Куприян задумчиво посмотрел в щели на небо.

— Оно, конечно, все одно...—заговорил он опять,— везде плохо... а только не по мне это... живешь, как волк, без дому... Свисти за ветром и все тут... Хуже собаки! Иной раз тянет на пашню по весне... так бы и взрыл всю землю и чтоб зеленя, зеленя пошли вокруг... Тошно мне! На мужиков завидно!

Васька поднял голову и вяло, но убежденно сказал:

— Вре... зря болтаешь; а дали бы соху, опять каменья да глину драть—так первый сбежал бы...

— Не!—кротко ответил Куприян.

Оба замолчали, и опять стало слышно, как шумит дождь и скрипит березка

— Что ж,—вдруг с неожиданной грустью, не вязавшейся с его ухарским голосом, проговорил Васька,— может, и так... Ты думаешь, вот он, Васька... ни богу свечка, ни чорту кочерга!.. А ведь я, брат... сказать... вовсе не то думал... У меня когда-то тоже дума была...

Помню, вышел весною под вечер, журавли вверху кричать, землей пахнет густо так... да... Пел я тогда очень хорошо; теперь голос пропил, а тогда здорово пел. Учитель наш, Иван Семенович, говорил, что кабы меня учить... о-го-го! А то хотелось мне описать все, как люди живут. Стою вечером, слушаю, как журавли кричат, и, чорт его знает отчего, плакать вот так и хочется... Рассказал бы кому, никто не понимает, батька ругается, ну... ходу никуда нет. Ушел на фабрику, и такая меня злость взяла! Пить начал здорово... Ну, а там и пришло... Все одно!

— Так,—грустно сказал Куприян.

— Скрыты,—жалобно скрипнула березка. Долго было тихо и глухо.

— Егор пришел?—спросил вдруг Куприян.

Васька сразу поднялся и сел.

— Пришел,—сказал он.

— Ты видел?

— Собственными глазами удостоился. Здоровый, чорт, и с медалями. Усы, как у солдата следовает быть...

— Давно пришел?—сквозь зубы спросил Куприян.

Ему стало особенно неприятно, когда он узнал, что Егор имеет и медали. Но он не знал, что это ревность, и даже сам удивился своему чувству.

— Вчера, кажись...

— Ну, и что?

— Да что... Рассказывали: приехал, да на станции и встреть писаря. Ну, выпили первым делом, а выпивши—писарь ему все и выложил... ребеночек, мол, и все прочее. Ну, тот попервоначалу, говорят, как бы в бесчувствие впал, а потом и загулял. Пришел в село не то пьяный, не то ошалелый и сейчас это бабу бить. Боялись, чтобы не убил...

— Мне Мозявый сказывал,—хрипло проговорил Куприян.—Я его в лесу сейчас встретил.

— Мозявый?..

— А скверное ее дело, выходит!

— Это точно! Я Егора знаю... бешеный человек. Убить, может, не убьет, а что много муки баба примет, так это верно... Да что... знала, на что шла!

— Не говори.

— Чего так?

— Ты говоришь: «сама шла»! Я, брат, коней красть тоже, чай, сам шел, никто в шею не толкал, а все-таки... Жаль бабу.

Васька усмехнулся.

— Нашел чего жалеть! Ну, изуродует он ее малость, да и то нет, потому самому баба нужна, а опосля она ему еще шестерых ребят принесет! Дело обнаковенное...

— Хилая она... не сдержит бою.

Васька махнул рукой и вытащил из сена бутылку.

— А не сдержит—помрет. Это уж беспременно,— философски заключил он и забулькал водкой.

Но Куприян продолжал:

— Жаль бабу и мальчонка жаль. Несмыслящий ведь еще.

Васька на секунду задумался.

— Это ты верно,—тряхнул он головой,—его житье плохо: в гроб вгонит. Бабу изуродует, нет ли, а парнишке—каюк! Фью!.. Он ему как бельмо на глазу, да и бабе срам один... Да туда и дорога.

— А за что?—глухо спросил Куприян, глядя сквозь щель на качавшуюся от ветра тень березки.

— Что собственно? Ты о чем?—не понял Васька.

— Парнишку за что, говорю? Он чем виноват?

— Фью! Этих делов, братец ты мой, не разбирают. Виноват? Тоже сказал! Не ко двору, приблудный, ну, и ступай, откедова пришел. Верно. Да и что жалеть, много ли ему радости-то? Мужика сын...

— А жаль,—повторил про себя Куприян.

Ваське надоел этот разговор. Его душа, страшно и непонятно уничтоженная фабриками и заводами, где человек составляет только часть огромной машины, совершенно уже не воспринимала чувства сострадания. Ребенка он даже и за человека не считал. Посмотрев в пыльную, затхлую и темную пустоту под крышей, где на жерди возилась какая-то птица, Васька медлительно, с чувством сплюнул, а потом заснул.

Куприян же долго ворочался на сене. Ему было и неловко от мокрого, липнущего к плечам платья, и нехорошо от дум, в которых первое место занимало всеподавляющее чувство одиночества и тяжелое, тупое недоумение от тщетного желания уяснить себе жизнь, вставшую перед ним непонятным и страшным вопросом.

Потом армяк согрелся в сухом сене, и изможденный Куприян задремал.

Серое утро пробралось в широкие щели и осветило пыльным молочным светом две спящие фигуры самых грозных конокрадов округи.

Куприян спал, вытянувшись на спине, и его чернобородое, скуластое, крепкое лицо было по-мужицки серьезно и неподвижно; дышал он тяжело и ровно, широко работая грудью. Васька спал, свернувшись калачиком, поджав длинные, худые ноги в прорванных портках и положив руку под голову. Его безбородое и безусое худое лицо мертвенно неподвижно и при слабом свете утра казалась земляным; дышал он нервно, со свистом и прихлипыванием; тонкая шея его

вытягивалась и веки слегка вздрагивали, как у человека, готового всякую минуту вскочить и бежать.

На деревне пели петухи сиплыми, простуженными голосами; а за ригой, за мокрым, покрытым сухим обломанным камышом болотом тянулись безотрадные, серые мокрые поля. Над ними плыли серые тяжелые тучи и моросилась жидкая завеса дождя.

III

Васька сказал Куприяну неправду: Егор Шибаев ничего не знал до самого возвращения домой.

За пять лет солдатчины Егор Шибаев совершенно отвык от жены, но, тем не менее, хорошо помнил, что в деревне у него осталась жена, и хотя сам, как всякий солдат, жил с другими женщинами, кухарками и проститутками, он твердо верил в несокрушимость своих прав над женой. Мысль о том, что жена может «забаловать», очень редко приходила ему в голову. Чем больше он натирался городским лоском, соединенным с нашивками и медалями, тем больше проникался уважением к себе, и ему казалось невозможным, чтобы жена променяла его на простого мужика.

Вспоминать о жене всегда было ему приятно, не потому, чтобы он ее любил, а потому, что он чувствовал себя солиднее, имея жену и дом. С посторонними о жене говорил всегда полупрезрительно: «Бабы, известно!» Но иногда, в особенности когда получил унтера, стал называть ее: «наша супруга». Любил писать ей письма и писал каждый месяц сам. Письма наполнял поклонами всей деревне и в конце подписывался: «Унтер-офицер такого-то полка, такого-то баталиона и роты Егор Иванов Шибаев».

Когда он ехал домой, то нарочно не писал жене, чтобы больше поразить и ее и всю деревню неожиданным великолепием своего унтерского вида.

В городе и солдатчине он совершенно забыл деревню, и его не тянуло туда, но когда поезд двинулся и понесся по чернеющим распаханным полям с кучами гнилого навоза и черными грачами, разгуливающими по меже, хорошее, радостное и оживленное чувство пробудилось у него в душе, и он уже по целым часам глядел в окно вагона на бесконечные серые равнины, затянутые серой завесой дождя и сливающиеся на горизонте с таким же серым небом.

Все то грязное, скверное и бестолковое, что насадила ему в душу бессмысленная, непонятная его мужицкому уму и сердцу солдатская жизнь, разом исчезло, уступив место сначала безотчетно радостному настроению человека, приближающегося после долгого отсутствия к родным местам, а потом и деловым соображениям хозяина-мужика, проснувшегося в нем, несмотря на колоссальную величину той мерзости, разврата и лени, которая насела на него в казармах.

Чем ближе он подъезжал к родине, тем приятнее становилось ему при мысли, что он едет не на голое место, а в дом, где есть всякое хозяйственное обзаведение и жена тоже. Последнюю он вовсе не отделял от первого, и ему не приходило в голову, как встретит его жена.

С возвращением домой у него было связано представление об удивлении односельчан, об их любопытных расспросах, о своих хвастливых рассказах и еще о водке.

Больше всего его тешило и занимало, что писарь, старшина и прочие сельские власти, пять лет тому

назад сдавшие его, как барана, отупевшего от страха и непонимания окружающего, в рекруты, теперь встретят его как равного, потому что он—унтер, заслуженный человек.

Выйдя из вагона на станции, лежавшей в десяти верстах от села Дернового, Егор Шибаев почувствовал себя совершенно дома и тут же подтянулся, приняв солидный и молодцеватый вид.

И его радовало, что это удается ему хорошо и что среди мужиков, оборванных, серых и грязных, он имеет вид начальства.

Между мужиками оказались и его знакомые, в том числе писарь и старшина.

Писарь Исаев был тот же курчавый, красивый, но заплывший жиром человек, с маленькими постоянно бегающими глазами и одышкой, одетый в картуз, пальто и блестящие резиновые калоши.

Старшина Головченко, пожилой, высокий и очень сутуловатый мужик с низким лбом, на котором скобкой были подрезаны волосы, был такой же, как и пять лет тому назад, и так же тупился и сопел носом.

С ними был еще и третий деревенский мужик с бляхой сотского на груди, с длинной палкой и суровым, угрюмым лицом. Егор Шибаев знал его. Это был сильный и пьющий запоем мужик по имени Шпрунь.

Односельчане сейчас же узнали Егора Шибаева. Писарь воззрился на него и, отдуваясь и улыбаясь, поздоровался с ним, как образованный человек, за руку.

Старшина снял картуз и поцеловался с ним три раза. Сотский Шпрунь поднял шапку, но подойти не посмел. Егор Шибаев, хотя мальчиком и парнем часто был

бит пьяным Шпрунем, не подошел к нему, думая, что недостойно его звания здороваться с простым мужиком.

— Какими судьбами?—спросил Шибаев писаря.

— По делам больше. А вы окончательно в наши палестины?

— Да.

— Ну, что же-с? После Питера вам, конечно, все оченно плохо покажется!

Егор принял значительный вид.

— Да, оно, конечно... то столица, а это, конечно, деревня,—снисходительно ответил он.

— Что уж тут,—тяжело, точно сокрушаясь, заметил старшина и вздохнул.

— Рады, чай, все-таки, что домой прибыли?—с любопытством и бегая глазами по сторонам, спросил писарь.

— Как водится. Все-таки солдат, хоть там и унтерофицер тоже, человек военный—ни кола, ни двора, как говорится, не имеет. А тут все в порядке... дом, хозяйство.

— Супруга ваша здравствует,—сообщил писарь.

Ему очень хотелось сообщить Егору Шибаеву об измене жены, но он не решался.

— Благодарим вас... Опять же вот жена,—продолжал Егор солидно и внушительно,—солдатом, конечно, баловаться приходилось... по разным там... а тут все-таки, какая ни на есть, законная жена.

— Оно конечно!—согласился писарь, бегая глазами по сторонам и не решаясь сказать то, что ему хотелось.

Старшина вздохнул и потупился.

— Одно слово—в гостях хорошо, а дома все лучше!—сострил писарь и сам коротко и с одышкой засмеялся.

Егор Шибаев радостно улыбнулся.

— Что и говорить!

— Вы, собственно, давно из Дерновой?—спросил он.

— Со вчерашнего дня.

— Что так?

— Да такое дело вышло... конокрадишки у нас завелись... У господина земского начальника лошадь свели... хорошую лошадь... Ну, и подозрение есть такое, что из наших же деревенских.

— Ну?—спросил Егор Шибаев, очень довольный, что писарь посвящает его в такие дела, о которых с простым мужиком и говорить бы не стал.

— Да-с,—вздохнул писарь,—может, помните Куприяна Тесова... вот, что еще при вас в острог свезли?

— Помню, как же...

Писарь подумал и, окончательно решив ничего не говорить Егору о его жене, продолжал с одышкой:

— Бежал, изволите видеть, и так полагают—его рук дело.

— Такой род у них,—вставил старшина и тяжело вздохнул, потому что боялся за свою тройку.

— Скажите... тэк-с. А каким бы родом мне до Дернового добраться?

Писарь сообразил, пошевелил толстыми пальцами.

— Мужичок тут есть наш. Может, тоже помните: Мозявым прозывается. Так он, надо быть, в скорости домой. Он муку привез господину Твердохлебову, начальнику станции...

Егор Шибаев кивнул головой, хотя совершенно не знал этого начальника станции. Но ему казалось почему-то,

что не знать начальника станции неприлично для его унтерского и столичного достоинства.

— Ну, так вот им муку-с... а теперь, надо полагать, и в обратный. Вы попросите его. Он мужик ничего, хороший мужичок.

— А где бы мне его?

— А вот сейчас... Шпрунь, а Шпрунь!—крикнул писарь сотскому, который с начала разговора из уважения к начальству отошел.

— Тут я,—отозвался он густым и хриплым с недавнего перепоя голосом.

— Ты... найди там Мозявого и спроси, не подвезет ли вот их?.. Это ваш сундучок?

— Мой.

— Вот их с сундучком. Скажи: я спрашиваю.

Сотский мрачно повернулся и пошел, топая пудовыми сапогами и стуча палкой.

Писарь посмотрел ему вслед.

— Тоже вот... обстоятельный мужик, а только зашибает.

— Бывает,—сказал Егор Шибаев.

Ему было очень лестно, что писарь отзывается при нем о других мужиках, как бы не причисляя его, Шибаева, к ним.

А потому он счел нужным поддержать свое достоинство и, разгладив усы, сказал:

— Вот у нас, в третьей роте, тоже один солдатик, из цыган он, Белокопытин по фамилии, так тоже, ежели трезвый—куда хочешь его ткни, а напьется и—дрянь человек. Уж его и так, и этак... А тоже обстоятельный, как следовает быть, по всей форме солдат...

— Это случается,—согласился теперь писарь.

В это время старшина кашлянул и раскрыл рот.

На платформе показался сотский Шпрунь, со своей палкой и бляхой, а за ним, в оборванном азяме, в стоптанных лаптишках—Мозявый.

— Вот,—сказал сотский, икнул и из уважения к начальству отошел.

Мозявый поспешно сдернул шапчонку и остановился в трех шагах от них, вывернув носки и вытянув тонкую черную шею. Слезящимися глазками он глядел на начальство с видом забитого животного, потому что Шпрунь не заблагорассудил пояснить ему, зачем он понадобился начальству, а сам по себе, по опыту и вкоренившейся привычке, он от начальства добра не ждал.

Писарь сразу превратился во властное начальство.

— Эй ты, вот отвезешь их в Дерновое. Ты сейчас?

— Сею минуту,—поспешно и хрипло, точно слова с усилием выходили у него из горла, ответил Мозявый.

— Сундучок там у них... вот этот самый.

Мозявый посмотрел на сундучок и заморгал глазами: сундучок был довольно велик, а лошадь у него была плохая и не кормленная целый день. Мозявому было жаль своей лошади, но ослушаться писаря он не посмел, и даже с видом готовности засуетился, засунул шапку за пояс и обхватил обеими тонкими и корявыми руками сундук, но с трудом только приподнял его. Он засуетился еще больше, переложил шапку подмышку и опять ухватился за сундук.

Шпрунь смотрел на него с явным презрением.

— Пущай!

Он оттолкнул Мозявого, взял без всякого усилия сундук и понес. Мозявый, почесывая спину движениями костлявых лопаток и производя носом хлипающий звук, пошел за ним.

— Тэк-с,—сказал писарь,—вот он вас и доставит.

— А теперь до свиданья-с,—сказал Егор Шибаев,—премного вам благодарен.

— Не за что-с,—возразил писарь,—я всегда с моим удовольствием приличному человеку всякое одолжение... До свиданья-с. Изволите кланяться вашей супруге.

— Очень вам благодарен. До свиданья-с.

— До свиданья-с.

Старшина опять ничего не сказал, вздохнул и неловко, не сгибая своих заскорузлых пальцев, тряхнул руку Шибаева.

IV

Мозявый ждал, стоя около своей телеги, на которой уже громоздился сундук.

Они уселись, и лошаденка, пузатая и шершавая, поплелась вялой рысцой.

Сначала мимо тянулись железнодорожные пути, груды гнилых шпал, ржавых рельс и бесконечно длинные ряды товарных вагонов, между которыми, шипя, двигался взад и вперед рабочий паровоз и резко бряцал буферами. Потом пути стали реже и пустыннее и скоро слились в одну ровную, гладкую ленту, убегавшую вдаль к горизонту, а по сторонам пошли опять голые, то черные, то рыжие поля, с теми же грачами, гуляющими по пахоте, и сухим чернобыльником, уныло мотавшимся по меже.

Мозявый сидел понуро, далеко выдвинув сухие лопатки, и изредка тоненько причмокивал, подергивая голову лошади веревочными вожжами. Лошаденка помахивала редким хвостом и трясла ушами.

И опять душу Егора Шибаева охватило радостное чувство простора.

Тучи на небе стали разрываться местами; по равнине пробегал тусклый и мимолетный солнечный луч и, скользя по бледной спине пузатой лошаденки и рваному армяку Мозявого, ярко золотил их.

Мозявый чуть-чуть подымал ему навстречу свои подслеповатые, слезящиеся глазки и поводил худыми лопатками. Егору же становилось еще лучше и радостнее и хотелось говорить.

— Чай, меня не знаешь, дядя?—спросил он.

Мозявый быстро взглянул на него и поспешно ответил:

— Признал... как же...

Потом помолчал и вдруг прибавил таким тоном, что видно было, как всецело завладела им эта мысль.

— А меня драть будут.

Егор Шибаев поразился и от неожиданности заявления, и от сомнения, что такого старого и худого мужика можно драть.

— За что?—спросил он.

— Леску, значит... казенного, который...

Шибаев подумал, что ему, как начальству, следует внушить, и, приняв строгий вид, сказал:

— Как же ты, брат, это?..

Мозявый быстро повернулся к нему и вдруг озлобленно заговорил—не одним языком, а как-то всем телом, жестикулируя руками, плечами и тонкой шеей:

— А потому, милый человек, невозможно... Землицы нет, а которая есть, та вся одна глина... А у меня их шестеро ртов, не сумлевайся... Во как! А теперича драть? Да рази я по дурости? Ежели шесть ртов... Вот ты и понимай... Изба—одна смехота: ты ее не подопри седни—завтра она тебя задавит, во как! А за это тоже не хвалят нашего брата...

— И выдерут, чай?

Мозявый опять весь пришел в движение.

— За милую душу... вот как! Отдерут, это уж верно. Писарь не сказывал?

— Нет.

— Отдерут,—убежденно и как-будто грустно подтвердил Мозявый.

И вдруг хвастливо прибавил:

— А мне—наплевать.

Егор Шибаев с достоинством сказал:

— А разве не стыдно?.. Старый ты мужик...

Мозявый забегал глазками по сторонам и зашевелился беспокойно и пуще прежнего.

— А мне что? Я рази на такое дело их подбивал, что ли? Пущай дерут за милую душу... драли уж...

— Драли?

— Известно,—подернул лопатками Мозявый,—исхлестали за милую душу. До сей поры спина-то полосатая... Здорово...

— И не стыдно?—с любопытством спросил Егор Шибаев, отвыкший в большом городе от таких грубых и скверных дел.

Мозявый сгорбился, помолчал, причмокнул на лошадь и нехотя ответил:

— Не... спервоначалу, как рубаху стали заворачивать, дюже стыдно было, а опосля ничего... Чего там стыдно?..

Мозявый с неудовольствием подернул лопатками и замолчал.

Егор Шибаев посмотрел ему в спину и недоуменно ухмыльнулся. Ему было странно и то, что Мозявый как-будто находил более стыдным дело поровших его, а уж потом ставил свой стыд; и то, что в городе

он видел много очень дурных людей, делавших мерзкие и ужасные преступления,—их за это ссылали в тюрьмы и на каторгу, но не пороли, как этого седого и хлипкого мужика.

Впрочем, мысли Шибаева долго не могли сосредоточиться на одном.

За косогором выглянули какие-то жерди, за ними сейчас же вытянулись крылья мельницы, а потом и сама почерневшая, с крышей, поросшей зеленым мхом, выглянула мельница. За ней другая, третья, десятая; некоторые стояли неподвижно, некоторые с легким скрипом, доносившимся до Егора Шибаева, вертели крыльями.

— Дерновое,—сказал Мозявый.

Но Шибаев и сам узнал знакомое с детства место, и счастливое чувство давнуло у него в груди так, что слезы выступили на глазах.

Петроград с его шумом, скучной и потому тяжелой казарменной жизнью, нелепыми парадами и ученьями сразу точно растаял в тумане, а на месте его и на самом деле выдвинулось село Дерновое, с его белой церковью, развалившимися тынами, ощипанными вербами на черных огородах, с избами, похожими издали на кучи прелого навоза и покрытыми издерганными серыми крышами.

Тут Егор Шибаев вдруг вспомнил о жене, и совсем не так, как вспоминал раньше. Ему захотелось произвести на нее хорошее впечатление. Егор Шибаев приободрился; и у него даже сердце застучало и стали дрожать ноги.

Мимо потянулись плетни и избы со своими мутными окошками. Стали встречаться бабы и мужики. Они останавливались и смотрели на Егора, долго провожая его

глазами, а потом шли по своему делу. Куры с кудахтаньем разлетались с дороги; какая-то мохнатая собачонка, как шарик, понеслась за телегой, но увидела свинью и бросилась за ней.

Егор Шибаев смотрел на все радостными глазами и все выглядывал поверх головы Мозявого и дуги, не увидит ли где жены.

Солнце выглянуло на миг и облило ярким блеском село, золотя грязную солому и мокрые крыши и сверкая на далеко видной новой, нарядной вывеске волостного правления.

V

Он еще издали узнал свою избу, и она показалась ему совсем особенной, не похожей на другие избы. И ее пыльные, давно не беленые стены, старый плетень, растрепанная крыша, покрытая зелеными лишаями, все— вплоть до вороны, сидевшей на заборе, показалось ему точь-в-точь таким же, каким было пять лет тому назад, хотя тогда ему и в голову не приходило рассматривать это все.

И сейчас же он почувствовал такое нетерпение скорее увидеть жену, что ему стало казаться, будто он только ее и хотел видеть и всегда о ней думал.

Проезжая мимо избы, он радостно и немного даже конфузливо заглянул в ее крошечные пыльные окна, но ничего, кроме какой-то зеленой бутылки, заткнутой тряпкой, не увидел.

— Тпрру...—сказал Мозявый тоненьким голосом и натянул вожжи, как делают это кучера, лихо подкатывая на горячих конях.

Взъерошенная лошаденка очень покорно остановилась и, расставив ноги, тяжело вздохнула, высоко поднимая свои втянутые ребра и раздутый живот.

— Ишь, дохлая...—пробормотал Мозявый, потому что ему было жаль заморенной лошади, и вздохнул таким же тяжелым, покорным и долгим вздохом, как и его лошаденка.

Егор Шибаев молодецки выскочил из телеги, разминая сильно затекшие ноги, взял без всякого усилия свой сундук и шагнул к калитке.

— Спасибо, дядя,—буркнул он Мозявому.

Мозявый посмотрел ему вслед, вздохнул опять и тронул лошадь уже шагом.

Лошаденка бойко, помахивая головой, пошла к дому и даже попыталась закрутить ощипанным и грязным хвостом.

— Ишь, дохлая...—повторил Мозявый и приободрился.

Помахивая кнутом, он мечтал о том, что соберется с деньгами и по-осени купит новую лошадь, хотя прекрасно знал, что собираться ему не из чего и что новой лошади он ни в коем случае не купит.

Но он мечтал об этом всю жизнь.

Егор Шибаев отворил калитку, повернувшуюся на ржавых петлях с тем же самым унылым и протяжным визгом, каким она проводила его в рекрутчину.

Егора Шибаева сразу обдало знакомой обстановкой.

Двор показался ему уютным и как-будто теплым. Те же сараи шли вокруг заросшего пыльной травой двора. По траве бежали протоптанные неровные серые дорожки, а у сараев прели кучи навоза, в котором рылись две курицы и хриплый петух. Было то же старое,

низкое, в одну ступеньку, крытое крыльцо, и под навесом его болтались пучки сухих капустных листьев и торчали сломанные вилы.

Когда Егор Шибаев проходил от калитки к крыльцу, в окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же спряталось. Потом выглянуло и другое, показавшееся Егору лицом его жены, и тоже спряталось. Но навстречу ему никто не вышел, и дверь в сени оставалась запертой.

Егор Шибаев взошел на крыльцо, опустил к сторонке свой сундук, потому что хотел войти в избу честь-честью, и только что взялся за дверь, как она отворилась изнутри, и какая-то босоногая девочка в красном платке с визгом шмыгнула мимо него, шлепнула раз-другой босыми пятками и мигом исчезла за калиткой.

Егор Шибаев с удивлением посмотрел ей вслед и, отворив дверь, нагибаясь, вошел в избу.

Там было чисто прибрано и пахло хлебом, щами и мокрой мочалкой. На палатях лежала ситцевая розовая подушка и первая бросилась ему в глаза.

Потом он увидел и жену.

Матрена, худая и высокая баба, лет двадцати пяти, но казавшаяся старше от своей худобы, одетая по-городски, как одеваются мещанки и торговки—нелепо и некрасиво, сидела у стола, положив одну руку на стол, другую на колени.

Егор Шибаев улыбнулся радостно и смущенно. Жена ему сразу понравилась, хотя он ее и воображал совсем иной. Приятно поразил его и ее городской наряд, потому что ему, как унтеру, не подходила, по его мнению, жена, одетая попросту.

Его очень удивило, что жена не встает ему навстречу.

Когда Егор вошел, она вскинула на него глазами и сейчас же потупилась и побледнела.

— Здравствуйте-с,—уже нерешительно сказал Егор Шибаев.

Матрена молча встала и поклонилась ему в пояс.

И из этого немого поклона, и из того, что жена не смотрела на него, Егор Шибаев сразу увидел, что что-то, о чем он никогда серьезно не думал, но о возможности чего знал, случилось с ним.

Он растерялся.

— Здравствуйте,—пробормотал он опять.

Матрена пошевелила тонкими бескровными губами и опять молча поклонилась в пояс, на этот раз касаясь рукой полу.

И от этого вторичного поклона в груди Шибаева точно что-то оборвалось и кинулось ему в лицо, отчего он вдруг густо покраснел.

— Вот как-с!—хрипло проговорил он.

Матрена, не поднимая головы, исподлобья вскинула на него глаза.

Егор Шибаев нерешительно, но с недоумением сделал три шага и сел на лавку.

В голове у него все так смешалось от неожиданности, что он ошалел и как-будто не мог чего-то сообразить.

— Так-с...—повторил он и положил на стол шапку.

И тут увидел то, чего раньше не заметил: за спиной Матрены стоял, ухватясь за ее юбку, ребенок лет трех, в грязной синей рубашонке, босиком, с измазанным грязным личиком, беловолосый и белоглазый.

Засунув палец в рот и отдувая обе щеки, он прехладнокровно смотрел на Егора и на его шапку.

С минуту и Егор смотрел на него, раскрыв рот и выпучив глаза. Потом у него потемнело в глазах и захолонуло внутри. С бешенством ударив кулаком по

столу, так, что шапка полетела на пол, он перегнулся к самому лицу Матрены и прохрипел:

— А, так ты вот что... Паскуда!

Матрена подняла на него прямо в лицо свои, от ужаса ставшие круглыми, глаза и молчала.

Егор Шибаев на минуту задохнулся, а потом заорал на всю избу:

— Ах, ты, стерва! Говори—кто?

Матрена продолжала смотреть ему в лицо, обезумев от страха, и молчала.

Но зато ребенок визгливо и испуганно закричал, закрыв глаза и растопырив пальцы.

Шибаев даже зубами скрипнул и рванулся к нему, но Матрена машинально чуть-чуть подвинулась между ними. На секунду Егор Шибаев застыл, все более и более наливаясь кровью, и вдруг с размаху ударил жену кулаком по голове.

Она чуть не упала и схватилась за стол; платок слетел у нее с головы на шею, и космы волос повисли поперек лица.

От первого удара Егор почувствовал такой прилив злобы, что чуть не задохнулся. И, невольно давая выход этому чувству, не помня себя и крепко стиснув зубы, он схватил жену изо всей силы сначала за руку, а потом за волосы и выдернул на середину комнаты. Она с размаху села на пол и закрылась локтем. Егор ударил ее коленом в спину и потащил за волосы по полу, приподнял и опять бросил.

Несколько секунд он стоял неподвижно, широко расставив ноги и тяжело дыша, весь красный и потный, с ополоумевшими глазами и трясущимися руками.

Матрена сидела на полу и закрывалась от него рукой.

Но когда она опустила руку, он опять начал ее бить и бил долго, руками и коленями, бормоча сквозь зубы ругательства и таская ее за волосы по избе. Юбка с нее слетела, и, когда он тащил ее за волосы, она покорно переступала босыми ногами, прикрытыми одной толстой рубахой.

Несколько горшков слетело с лавки; какая-то палка упала Егору под ноги, и он стал бить этой палкой жену по спине и плечам.

Матрена закричала тонким, пронзительным голосом и хотела бежать, но Егор так толкнул ее в спину, что она ударилась всем телом о печку и свалилась на пол.

Егор бросил палку, тяжело опустился на лавку и весь осел, туго дыша, красный, с волосами, прилипшими к потному лицу.

Тут он вспомнил, что навеки опозорен перед всей деревней, и подумал, что все мечты его о почете рушились, что ему уже нельзя будет показывать свою столичность и что все это благодаря его жене.

Он опустил голову на локоть и зарыдал, чувствуя, что испорчено навсегда и еще что-то хорошее, чего он и сам не сознавал. Слезы градом катились по его толстому красному лицу.

Матрена неслышно поднялась и, шатаясь, задвигалась по избе, пугливо поглядывая на мужа. Один глаз у нее совсем запух, отчего лицо ее было жалкое, страшное и нечеловеческое. Она спрятала волосы под платок, надела юбку и вышла в сени. Там она намочила водой тряпку и стала мочить синяк.

На глаза попался ей маленький Федька, сидевший за помойным ведром и беззвучно ревевший от ужаса. Матрена вывела его на крыльцо.

— Беги, родной, на улицу...

А Егор сидел в избе и все плакал, думая о том, что жена испортила ему всю жизнь, тогда как могло быть очень хорошо. Ненависть к ней опять стала закипать в его сердце.

Он перестал плакать, озверел опять, вышел в сени и молча стал бить жену и таскать по полу за волосы, чувствуя жгучее желание сделать ей как можно больнее.

Матрена не плакала и не кричала даже тогда, когда Егор нашел старую мокрую веревку и начал этой веревкой хлестать ее по чему попало.

Она думала, что так и должно быть, и только, задыхаясь от ужаса и боли, боялась, что не выдержит, пока муж отведет над ней душу, и он ее забьет до смерти.

А еще больше она боялась, чтобы Егор не вывел ее на улицу голую, привязанную к телеге, и не сек ее кнутом при народе, как это было в обычае делать с изменившими женами.

VI

Вечером, когда Егор Шибаев, еще раз, уже слабее, побив жену, немного успокоился и даже стал подумывать о том, что все это еще дело поправимое, да и обычное,—он ушел из избы к винной лавке.

Матрена завязала глаз платком и вышла во двор.

Был хороший, ясный и теплый вечер. Небо было совсем прозрачное, и в нем уж чуть-чуть мерцали звездочки. Внутренность двора, огород и сад потемнели, от них тянуло сырой прохладой и пахло мокрой землей и мокрым навозом.

Матрена стояла на крыльце и одним глазом смотрела через забор на улицу, где слышались звонкие голоса, скрип ворот и мычание коров.

Калитка осторожно скрипнула, и во двор заглянула та самая девчонка, что давеча попалась под ноги Егору. На руках она с усилием тащила Федьку, прижав его поперек живота, чем он нисколько не смущался.

Девочка остановилась у калитки и боязливо смотрела на Матрену. Федька тянулся к матери и пускал пузыри.

— Поди сюда, Анютка,—позвала Матрена.

Девчонка нерешительно зашлепала босыми ногами. Федька замахал руками и издал хлипающий звук.

Матрена взяла его на руки.

— Ушел?—тихо спросила Анютка.

Матрена махнула рукой.

— Би-ил?—тихо протянула девочка.

Матрена вздохнула.

— Ишь ты,—с удивлением сказала Анютка и сейчас же затараторила скороговоркой:—к винной пошел, сердитый такой! А у него на шинели мидаля баальшущая!.. Дядиньке Куприяну сказать?

Матрена опять вздохнула и промолчала.

— Я скажу... сказать?—Матрена кивнула головой.— Чтобы пришел, скажу... А куда ж ему придтить?— с деловым видом спросила Анютка.

Матрена подумала и потупилась.

— Чтобы на огород... Задами пусть придет... завтра к вечеру... Скажешь?

— Я скажу, я скажу... А теперь, тетка Матрена, я пойду; я боюсь...

— Ну, иди...

— Пойду... Так сказать?

— Скажи.

— Ужо скажу.

Анютка шлепнула пятками, выскочила за ворота и зашлепала по улице, из всех сил топоча ногами.

Матрена осталась одна, смотрела одним глазом на улицу и тревожно прислушивалась, думая, что муж придет пьяный и опять будет бить ее.

Тело у нее болело и ныло, и в груди чувствовалась какая-то тяжесть. Она плюнула и долго не могла выплюнуть сбившейся мокроты.

Федька заснул, свесив голову с ее рук.

Матрена тихо прошла в каморку, нагромоздила на лавку тряпья и уложила спящего Федьку, загородив его, чтобы не упал, двумя поленами.

Потом она опять вышла на крыльцо, села на ступеньки и тогда уже тихо и горько заплакала, опустив голову на рукав. Она чувствовала себя несчастной не оттого, что тело у нее было избито в сплошной синяк, не оттого, что ждала новых побоев, а оттого, что не могла представить себе будущей жизни, казавшейся ей какой-то темной и страшной дырой.

О муже она вовсе не думала, потому что он был муж и казался ей неизбежным и неотвратимым, а его побои—должными и заслуженными.

Больше всего ей было жаль Куприяна. При воспоминании о нем она плакала сильнее и с тоской. По временам ей хотелось прямо побежать к нему, только побежать, потому что защитником от мужа, по ее мнению, он быть не мог. Матрена думала, что теперь нельзя уже будет его любить, и горько всхлипывала.

Но из всего того, что должно случиться, судьба маленького Федьки одна была ей совершенно ясна и понятна: забьет он его...

И ей это тоже казалось неизбежным и как бы законным.

VII

Куприян проснулся от скрипа ворот и струи холодного воздуха, хлынувшего ему в лицо, разгоряченное от сна и выпитой ночью водки.

На дворе было уже светло, хотя солнце еще не всходило. Ворота из темной риги представлялись ослепительно белым четыреугольником, и на их светлом пятне вырисовывалась черная фигура мужика, высокого, седого и широкоплечего, в длинной рубахе и полосатых штанах, босого.

— Тута, что ли?—спросил он хриплым голосом.

Васька тоже поднял голову с сеном в волосах.

— Тут,—отвечал Куприян.

Мужик шагнул в ворота, видимо, со света ничего не разбирая. Ощупью он нашел старый улей и медленно опустился на него, почесывая грудь и зевая.

— Пронесло дождь-то,—сказал он.

Голос у него был густой, как из бочки, и усы мешали ему говорить.

Васька опять опустил голову.

Мужик подождал молча, пока глаза не освоились с темнотой, и потом повернул голову к Куприяну.

— Егор пришел,—сказал он.

— Знаю уж,—пробормотал Куприян.

Мужик помолчал.

— Что ж думаешь?—спросил он, серьезно глядя на него из-под мохнатых бровей..

— Там видно будет,—смущенно выговорил Куприян.

— Так,—неопределенно буркнул мужик.

Васька быстро поднял голову.

— Чего ж тут думать?—насмешливо спросил он.— Плюнуть, да и все тут!

Мужик недружелюбно поглядел на него, вздохнул и промолчал. Куприян потупился.

— Анютка у них на дворе была вечор,—заговорил мужик опять, поворачиваясь к Куприяну.

— Ну?

— Сказывала, чтобы тебе притти сегодня... попоздней на огород. Матрена наказывала...

Куприян помолчал.

— Ладно, приду,—буркнул он.

— Так,—сказал мужик и встал,—хлеб-то есть?— спросил он.

— Хлеб есть,— ответил Васька,— а вот водку всю вылакали... Пошли посудинку-то...

— Давай бутылку. Как откроют винную, пошлю.

Мужик вышел, затворив за собой ворота.

— Слышь, Купря,—заговорил Васька,—нам должно удирать... Махнем в Тарасовку к Пузатову.

Куприян ответил не сразу, точно не решался высказать что-то.

— Ну...—сказал он,—до завтра тута побудем...

Васька удивился.

— Какого чорта? Гунявый говорит—облава будет, исправник приедет ввечеру.

Куприян опять замолчал.

— А чорт с ним!—с досадой махнул он рукой и лег.

— А словят?..

— Поглядим,—упрямо возразил Куприян.

— Да ты чего тут не видал?

И Васька вдруг проворно сел.

— Неужели из-за бабы останешься?..

— А хоть бы и так,—глядя в сторону, ответил Куприян.

Васька улыбнулся во весь рот и поправил картуз.

— Что тебе ее жаль, что ли?—спросил он.

— Жаль,—буркнул Куприян, стараясь не смотреть на Ваську.

Васька поглядел на него, потом присвистнул и рассердился.

— Жаль, жаль... Ишь какой жалостливый! Дурак. Чего жалеть? Что ей ребра пересчитали, так это дело житейское... не помрет. А помрет,—похороним, пироги поедим честь-честью! Да и чего жаль-то? Я и сам ее в таком разе потрепал бы...

Куприян покраснел и нахмурился.

— Зверье вы все, одно слово!—хрипло выговорил он.

— А ты—баба!—издевался Васька.—Ишь разжалобился... Баба самая непутевая, спуталась на стороне. Ну, мужу, конечно, не лестно... Он и поучит! Ты не бил бы, небось?

Куприян тяжело сопел носом.

— Нет, ты скажи,—приставал Васька.

— Может, поучил бы, а может, и нет... А Матрену точно что жалко. Баба очень тихая!

— Пойди, утешь.

— Пойду.

— Пойди, пойди,—издевался Васька,— там те Егор научит, как чужих баб утешать! А к исправнику так прямо в карман...

— Плевать мне твоему исправнику в рыло,—грубо буркнул Куприян.—Захочу, так я их всех... А ты не лезь...

Васька хотел что-то сказать, но промолчал, увидя, что Куприян рассердился.

Он плюнул, махнул рукой и завалился на сено.

— Иди, куда хошь, шалый,—пробормотал он,—хоть к чорту в зубы.

И запел довольно приятным разбитым голосом:

Эх, у попова тына-а
Повстречалася дывчина-а...
Повстречалася—рассталася...
Другую встречу-у,
И ту привечу-у.
Эх, повстречалася—рассталася...

Куприян ухмыльнулся и мотнул головой.

Васька подмигнул и еще удалей запел:

Повстречалася—рассталася!..

— Вот как, брат!—ухнул он.

Куприян опять насупился.

— Эх, гармоники нет!—щелкнул пальцами Васька.— Нашему брату-фабричному без гармоники смерть! Я б, кажись, и помирал—на гармонике вечную память играл!

Васька засмеялся своей остроте.

— Складно,—одобрил Куприян.

За стеной послышались тяжелые шаги. Вошел старик Гунявый. Как и прежде, он сначала подождал, пока глаза освоятся с темнотой.

— Водку принес?—спросил Васька.

— Не,—сумрачно ответил Гунявый и почесал волосатую грудь.

— Что так?

Гунявый помолчал.

— Вы вот что,—заговорил он,—валите пока что к лесу... Сейчас писарь приехал. Сказывают, урядник

нонче приедет, а завтра становой с исправником; облава на вас будет...

— Вот так фунт!—побледнел Васька.

Куприян нахмурился и встал.

— Тэк-с,—сказал он.—Слушай, дед, мы, значит, сейчас к лесу через село. Ежели кто увидит, скажем, что от облавы идем. Писарь, чай, увидит. Ну, облаву утром в лес, а мы вечерком из лесу сюда... пусть ищут.

— Ладно,—усмехнулся себе в усы Гунявый.

Васька посмотрел на Куприяна, почесал затылок и замялся.

— Ты что?—спросил Куприян.

— Да я ничего,—смущенно возразил Васька.

— Ну...

— Я лучше задами пройду,—пробормотал он.

Куприян подумал.

— Ну, и чорт с тобой! Оно и лучше...

Гунявый презрительно крякнул.

Куприян порылся под стрехой и вытащил одностволку с длинным порыжевшим дулом.

— Заряжена?—спросил он Гунявого.

— Не,—ответил старик.

Куприян порылся еще, достал рожок с порохом и стал заряжать ружье тщательно и медленно. Гунявый и Васька молча смотрели на его работу.

Кончив, Куприян встал, вскинул ружье на плечо и тряхнул волосами.

— Так-то лучше,—сказал он.

— Итти, что ль?—спросил Васька.

— Валяй. Около болота встретимся.

Они вышли.

Был уже день, но серый и бледный. Дождь перестал, но тучи шли низко и тяжело.

Васька пошел вдоль огорода, оглядываясь по сторонам. Куприян с Гунявым прошли через двор, и Куприян вышел на улицу.

— Ты того...—сказал старик, стоя в калитке.

— Что?

— Егора опасайся... Ему уж доложено...

— Кто?—хмуро спросил Куприян.

— Палашка, чай, солдатка... ее дело. Так ты, говорю, опасайся...

Куприян почесал затылок.

— А ну его к чертям в болото! Не дюже испугался,—сказал он и пошел вдоль улицы.

Гунявый долго смотрел ему вслед своими маленькими острыми глазками из-под седых нависших бровей. Потом вздохнул, почесал грудь и пошел к сараю, где сбивал бочку.

Куприян шел посвистывая и думал, что надо сделать так, чтобы его заметили в волостном правлении. Когда он вышел на площадь и пошел мимо волости, навстречу ему попался столяр Семен, слегка выпивший молодой мужик.

— А, Куприян Васильевич, наше вам!—сказал он, весело скаля зубы.

— Здорово,—ответил Куприян и остановился.

— За чьими лошадками пожаловали?—спросил Семен.

— Твоей не возьму,—насмешливо возразил Куприян.

У Семена, пьяницы и пустого, ленивого мужика, была самая плохая и старая на селе лошадь.

Семен засмеялся.

— Ну, и то ладно!—сказал он.—Ты бы у старшины посмотрел: ха-арошую тройку купил!

— Поглядим,—хладнокровно проговорил Куприян и пошел дальше, заметив движение в окнах волостного правления.

Попадавшиеся ему навстречу мужики угрюмо отворачивались и что-то бурчали. Куприян поглядывал на них с усмешкой и скоро вышел в поле.

VIII

Тройка земских круглых и сытых лошадок выехала из лесу от станции и, всползши на гору, бойко покатила к Дерновому.

На козлах сидел ямщик, парень лет девятнадцати, с совершенно круглой рожей, веселый, курносый, с большими, толстыми губами. В бричке поместились старшина Головченко и урядник, коренастый пожилой человек, с большой бородой, в порыжевшей полицейской форме, с шашкой через плечо.

Старшина изрядно выпил на станции, а потому был весел и умильно поглядывал вокруг; нос у него покраснел, и глаза замаслились; он был в разговорчивом настроении, как всегда, когда был пьян. Урядник тоже был под хмельком, но держался с достоинством.

Таратайка подпрыгивала по ухабам, лошади помахивали подвязанными хвостами. Ямщик посвистывал, помахивая локтями, и поглядывал по сторонам.

— Вот, изволите видеть, Максим Иванович,—говорил урядник, когда тройка выехала на гору,—какие требования предъявляет нам начальство. Взять и словить конокрадов!.. А как их словить, когда я на пятьдесят верст один чин полиции...

— Словим,—уверенно возразил старшина.

— Да, как же, дожидайтесь!

— Отчего не словить? Словить можно...

— Чорта мы словим, когда я не знаю, как и за дело взяться-то,—сумрачно отозвался урядник,— я ведь, собственно, больше по торговой части имею способности, а не конокрадов ловить. Как их ловить? На всю округу первые разбойники... Кого будем расспрашивать, ежели...

— Кого? А прохожих!

Старшина сказал это совершенно случайно, просто потому, что впереди на дороге, мимо дерновских мельниц, уныло торчавших на косогоре, шел человек с ружьем.

— А, это Иван Семенович идет,—заметил урядник.

Старшина стал всматриваться.

— Учитель, дяденька,—звонко подтвердил ямщик.

Дерновский учитель Иван Семенович, страстный охотник, одевался по-русски.

— Он самый,—согласился старшина.

Тройка, позвякивая бубенчиками, катила дальше, догоняя прохожего, а урядник возвратился к интересующему его вопросу:

— Опять же, как его словить? Облаву нужно, а какая облава, ежели все мужики, коли Куприяну не приятели, так боятся его хуже чорта.

— Да, уж это так,—подтвердил старшина.—Кому охота с ним связываться: ему, бродяге, ничего, а коли ежели он красного петуха...

— Ну, вот,—с досадой крикнул урядник,—лови его, ежели сам старшина от него наутек—первый...

Старшина обиделся.

— Ну, это дело очень темное: кто из нас наутек, значит.

Урядник спохватился, что обидел старшину.

— Нет, я не то, чтобы... а, конечно... Вот эти олухи, чай, все прыснут во все стороны!—ткнул он пальцем в спину ямщика.

Тот обернул к уряднику свое курносое круглое лицо и, скаля зубы, сказал:

— Чаво? Не...

— Убежишь, ежели Куприян, примерно, встретится?— пошутил старшина.

— Я нет... чаво?

Прохожий, не поворачиваясь, приподнял шапку.

— А ежели он из ружья?

— Ну, что ж... это—ничаво!

В это время старшина взял шапку и замахал ею по воздуху, крича:

— Иван Семенович, наше вам!

Прохожий, не поворачиваясь, приподнял шапку.

— Вы откелева?—спросил старшина.

Прохожий неопределенно махнул рукой.

— В лес, чай, ходили? Охотиться изволите все?— спросил в свою очередь урядник.

Ямщик весело осклабился, почесал затылок и повернулся к старшине:

— Дяденька, этта Куприян.

— Чаво?—спросил, не расслышав, старшина.

— Куприян этта,—весело повторил ямщик.

Тройка уже обогнала прохожего.

— Что ты врешь...—начал было старшина.

Урядник побледнел.

— Револь... верт... тут...—заплетающимся языком забормотал он, шаря рукой под сиденьем.

Старшина сразу протрезвел.

— Гони ты!—толкнул он ямщика.

Ямщик удивился и, придержав лошадей, весело спросил:

—А ловить не будете?

Урядник спохватился.

— Позвольте, Максим Иванович... это ежели... того... Куприян, то... Может, не он?

— Ен самый,—уверенно возразил ямщик и, поворачиваясь назад, крикнул:

— Куприян, а, Купря!..

— Чего тебе?—спросил Куприян.

Он давно уже заметил едущих старшину и урядника и сначала хотел было спрятаться, но потом что-то нашло на него, и ему захотелось покуражиться. Он только повернул и пошел опять к селу.

Ямщик осклабился во весь рот.

— А мы тебя ищем!—сообщил он, совсем останавливая лошадей.

— А я вас!—сказал Куприян, тоже останавливаясь и протягивая руку за ружьем.

— Поди сюда!—крикнул ямщик.

Куприян тихо снял ружье, приложился и выстрелил.

— Н-на!—весело и злобно крикнул он.

Выстрел гулко раскатился по косогору, дробясь между мельниц и вспугнув стаю галок, маршировавших по дороге. Лошади испуганно дернули, и ямщик вверх ногами слетел в бричку.

— Караул, ратуйте!—завопил старшина.

Урядник дрожащими руками схватил вожжи и, замахиваясь на лошадей ножнами шашки, погнал их под гору.

Бричка запрыгала, затрещала по всем швам и со звоном понеслась вниз.

А Куприян повернул прочь и побежал от дороги к лесу, глубоко увязая в размокшей земле и шлепая ногами по лужам.

Тройка с треском и звоном влетела в околицу, понеслась по селу и остановилась, храпя и шатаясь, против волостного правления. Старшина и урядник тяжело вывалились из брички. Старшина был без шапки.

— Вот так история!—хлопая себя по коленам, сказал он, еле переводя дух.

— Упустили Куприяна!—почесал затылок ямщик, невозмутимо взбираясь на козлы.

— Ну, ты... молчи у меня!—замахнулся на него урядник.

Ямщик испугался.

— Я што? Я ничаво... А только как он стрельнул!—с восторгом вспомнил парень и даже зажмурился от удовольствия.

— Стрельнул! А если бы тебе в башку?—укоризненно заметил старшина.

— Ну что ж? Это ничаво,—равнодушно ответил ямщик.

— А вы что же, Иван Филиппович, не стреляли?—спросил старшина.

Урядник сконфузился.

— Да чорт его знает... Револьверта никак найти не мог, а тут лошади... ну, и того...

Из волости выбежал писарь Исаев и писарчуки.

— Кто стрелял?—спросил писарь с любопытством.

— Куприян,—ответил с козел ямщик,— ловко стрельнул: трошки по голове не задело!—осклабился он.

— Врешь!

— Да, точно,—подтвердил урядник,—пойдемте, я вам расскажу, а то тут не того...

Власти ушли в волостное правление.

— Я так и думал, что он,—сказал писарь, когда урядник рассказал происшествие.—Он тут мимо волостного с ружьем прошел... только что...

— Что же вы не держали?—спросил урядник.

Толстый писарь присвистнул.

— А вы почему не держали?—не без ехидства спросил он в свою очередь.

— Да... знаете...

— То-то и знаете, Иван Филиппович... А я так полагаю, что господину исправнику о сем случае докладывать не следует.

— Ну, конечно... зачем же?—согласился урядник.

— Да ямщику накажите, чтобы не болтал.

Ямщика позвали и приказали ему держать язык за зубами.

Ямщик вышел, взмостился на сидение брички и, тихо позвякивая бубенчиками, тронул тройку на почтовый двор.

— Эх!—встряхивал он по временам головой.

Куприян тем временем по оврагу добрался до болота, где уже сидел Васька.

Куприян запыхался и устал, но был очень доволен, что напугал начальство.

— Ты стрелял?—спросил Васька.

— Я... старшину чуть не подстрелил...

— Врешь!

— Ей-богу!

И Куприян рассказал, как было дело.

— Вот так ловко!—восхитился Васька.—Знай наших!

— Ладно,—насупился Куприян, вспомнив утреннюю трусость Васьки.

Васька умолк.

— Жрать нечего?—спросил Куприян.

— Хлеб есть,—ответил Васька.

Они поели и легли на куче мокрых вялых листьев.

Опять пошел дождь. Небо спустилось еще ниже, и ветер стал задувать, качая вокруг черные, рогатые ветки.

Уже вечером Куприян и Васька прошли задами в Дерновое. Васька пошел к Гунявому, а Куприян пробрался по огородам к избе Егора Шибаева

IX

Вечер был темный, ветреный и тоскливый.

Куприян тихо посвистывал и поглядывал вверх, через огород, по рыжим пустым грядкам которого вилась протоптанная дорожка от ворот со двора. Отсюда Куприяну была видна крыша избы, темный берест над нею. В щелку плетня мелькал огонек из окна, и то исчезал, то появлялся опять. Кто-то двигался по избе.

«Ужинать собирают»,—сообразил Куприян, и тоскливое чувство бесприютности и одиночества скользнуло у него в груди.

Ему вдруг стало особенно обидно, что он должен ждать Матрену на огороде, на ветру, на дожде, а Егор Шибаев сидит на лавке, спокойно ждет ужина и во всякое время может сделать с бабой, что пожелает. Ревность все сильнее овладевала душой Куприяна. Ему ясно представилось, с каким покорным лицом Матрена смотрит теперь на мужа, готовая беспрекословно подчиниться ему и для побоев и для ласки. И Куприяну дальше стало уже думаться, что она вовсе не так боится Егора, а, может, и сама не прочь развязаться с ним, Куприяном, и опять полюбить мужа, благо тот

здоровый, красивый, да еще и унтнер, солдат, что всем бабам нравится.

Удушливый спазм схватил Куприяна за горло.

Лицо у него перекосилось в злую и неестественную усмешку. Куприян широко расставил ноги, уперся спиной в холодный ствол осины и, чувствуя, как мурашки пробегают у него по спине, закрыл глаза и, сам того не замечая, громко произнес:

— Известно—баба... им все одно!..

Ветер шумел в верхушках осины, и они все больше темнели. Дальние совсем слились в одну темную качающуюся массу. Огонек в избе стал ярче, блистал в щель плетня, как звездочка, и перестал мигать.

«Сели»,—подумал Куприян.

Ноги у него ныли, плечи сильно зябли, и весь он стал дрожать крупной дрожью при каждом порыве ветра. Но он все стоял и не сводил с огонька широко раскрытых глаз. От этого глаза у него стали слезиться, а огонек—двоиться, вытягиваться и пускать острые золотые стрелочки.

Вдруг он потух.

Куприян вздрогнул.

«Легли,—подумал он.—Сейчас выйдет... Анютка сказала, как угомонится...»

С этим последним словом перед Куприяном мелькнула отвратительная картина.

«Он, жеребец-то, в солдатах сколько времени был... ему лестно! А ей все одно!»—подумал Куприян и повел плечами, точно они у него заныли.

Чувство ревнивой, холодной злобы двинулось в нем и прилило к голове, так что на секунду у него потемнело в глазах.

И вместе с ревностью и злобой к Егору Шибаеву в душе у него стала шевелиться и глубокая ненависть к Матрене, которая уже не казалась ему несчастной.

Куприян снял шапку и опять надел, все, не мигая, глядя на темную теперь избу. Стемнело уже настолько, что изба, плетень и берест слились в одну непроницаемую темную массу.

Вдруг что-то смутно забелело в темноте на дорожке, мелькнуло и точно растаяло.

У Куприяна стукнуло в сердце, и он весь вытянулся вперед. Все чувства сразу вылетели у него из головы, и там осталось одно ощущение не то радостного, не то пугливого ожидания.

Белое пятно замаячило ближе и яснее и быстро вытянулось в длинный и тонкий силуэт женской фигуры, закутанной с головой в большой платок.

Матрена, торопливо и не оглядываясь, шла по дорожке. Куприян выдвинулся ей навстречу.

— Ты?—спросила она так тихо, что Куприян еле расслышал.

— Я... кому ж еще?..—сорвавшимся голосом ответил Куприян.

На ней был большой платок, который она у подбородка поддерживала спрятанными руками так, что видны были только брови и большие боязливые глаза.

Оба молчали.

Оба чувствовали странную неловкость от того, что между ними легло появление Егора. Куприян притворно равнодушно посвистывал, глядя по сторонам и заложив руки в карманы; а она в нерешимости неподвижно стояла против него и глядела из-под платка пытливо и печально.

«Ишь, теперь совсем... не то...»,—мелькало в голове Куприяна.

А Матрене было больно, и обидна была ей такая встреча, потому что ничем против любовника она себя виноватой не считала.

— Ну, что ж... здравствуйте, Куприян Васильевич,— тихо выговорила она наконец.

— Здравствуйте...—пробормотал Куприян.

Матрена помолчала. Потом приоткрыла лицо и виновато улыбнулась.

— Что ж так?—сказала она.

Куприян посмотрел на нее, отчаянно тряхнул волосами и обхватил ее обеими руками. Она выпростала свои руки из-под платка и обняла его. На ней, кроме юбки, была одна рубаха, и от голой груди ее пахнуло на Куприяна горячим и влажным воздухом.

Несколько минут они стояли так, молча и тяжело дыша.

По небу гнались разорванные облака с чуть видными просветами. Ветер подхватывал порывами и приносил с болота долгий стонущий звук сухого тростника и звенящие всплески воды.

— Сядем, Купря,—дрожащим голосом прошептала Матрена.

Недалеко от осины уныло чернела полуразвалившаяся копна мокрого сена. Они прошли туда, путаясь ногами один за другого, и опустились в прелую траву. Ветер шумел и шумел.

— Мне пора, Купря,—шепнула Матрена, спустя полчаса.

— Чего там...

— Хватится... боюсь...

Купря сразу остыл, и опять у него, как давеча, потемнело в глазах.

— Ну и иди...—резко сказал он, отодвигаясь от нее.

Матрена посмотрела на него и не шевелилась.

— Серчаешь?—спросила она.

— Ну, что там серчать... известно—муж,—закусив губу, пробормотал Куприян.

— Да разве я...

— Да знаем мы!—грубо и сам не зная, что и почему говорит, сказал Куприян.

— Что знаешь?—спросила Матрена, и в голосе у нее послышались слезы и обида.

Куприян промолчал и глядел в сторону.

— Ну, что ж ты молчишь, Купря? А? Купря...

— Да пойди ты к чорту!—прорвался Куприян и встал.

Матрена тоже встала и, завернувшись в платок, смотрела на него.

Ветер шумел.

— За что же ты?—спросила она.

Куприяну хотелось сказать ей что-нибудь злое и обидное, но он не знал, что, и молчал.

Матрена тихо протянула из-под платка руку и взяла его за рукав.

Куприян грубо вырвался.

— Да ну тебя!.. Все вы...—он грубо и скверно выругался.

И тотчас ему жаль стало Матрену, и зло взяло на себя.

Матрена опустила руку и заплакала.

— Разве же я... волей?—спросила она.

Куприяну было скверно, тяжело и стыдно, но ревность заглушала в нем все чувства, и потому он грубо, зная, что говорит неправду, сказал:

— Не хотела бы, так не пошла б.

Матрена сквозь слезы с недоумением посмотрела на него.

— Как же?..

— Да так,—упрямо отвечал Куприян,—нечего тут... иди!..

— Он же муж мне, Купря, а разве я...

— Пошла, убирайся! — злобно крикнул Куприян и поднял руку с сжатым кулаком.

Матрена пугливо посторонилась и вся сразу съежилась, став меньше и тоньше.

— Не бей...—испуганно проговорила она.

Куприяну хотелось ее ударить, чтобы дать выход жгучему чувству ревности, душившему его.

— Иди...—хрипло проговорил он, подвигаясь к ней.

Матрена инстинктивно подняла локоть в уровень с лицом, но от этого движения Куприяна точно прорвало.

— Паскуда!—прохрипел он и толкнул ее.

Матрена коротко и жалобно охнула и пошатнулась. Платок слетел у нее с головы, и длинные космы волос, мигом подхваченные ветром, упали ей поперек лица.

— Грех вам, Куприян Васильевич,—сказала она, подымая платок,—я вам... всегда... а тому я не причинна.

И она опять заплакала.

Куприяну стало мучительно стыдно и жалко ее.

— Что там...—пробормотал он.

Матрена перестала плакать и утерла глаза уголком платка.

— Купря...—умоляюще позвала она.

Но Куприян опять вспомнил, что все равно все кончено и Егору она не сегодня-завтра должна быть женой, и он опять почувствовал прилив ревнивой злобы и безнадежного чувства.

— Чего—Купря?.. Ступай к своему жеребцу!..

— Куп...

— Ступай, ступай,—стиснув зубы, проговорил Куприян и с новым приливом злобы схватил ее за тонкие, худые плечи, прикрытые одним платком, грубо повернул ее и толкнул...

Матрена чуть не упала, заплакала и пошла по дорожке.

Куприян мрачно смотрел ей вслед.

Она остановилась. Куприян молчал.

— Куприян Васильевич!—позвала она.

Куприян не отвечал и все бледнел.

— Купря!—громче сказала она.

Куприян не шевелился.

Она постояла еще. За ветром не слышно было, звала ли она его опять. Потом она пошла вверх тихо и нерешительно, и ее силуэт стал сливаться с темнотой.

— Мотря!—не выдержал Куприян.

Но она не слышала и исчезла, точно растаяла в тумане.

Ветер шумел осинами, и яснее был слышен стон тростника и всхлипывания воды. По небу быстро неслись тучи уже сплошной массой, и первые капли дождя тяжело шлепнулись на мокрые грядки.

Куприян стоял, расставив ноги, глубоко засунув руки в карман, и все глядел на темный силуэт избы, забора и качающегося по ветру береста. Во дворе залаяла собака и замолчала. Дождь все усиливался, и тьма вокруг сгущалась все больше. Дальние деревья вдруг

сразу утонули в темноте за пологом хлынувшего дождя. Только ближняя осина была видна, тоскливая и ощипанная, отчаянно мотавшая по ветру своими корявыми обломками-ветками.

Куприян встряхнулся, с безнадежной тоской посмотрел еще раз назад и пошел по огородам, увязая в грязи.

X

В окне избы Федора Гунявого чуть-чуть мерещился свет сквозь какие-то тряпки, навешанные на окно.

Куприян постучал.

В избе кто-то зашевелился, тень промелькнула в окне, и послышался стук открываемой двери.

— Кто там?—спросил из сеней Гунявый.

— Свой,—ответил Куприян,—отворяй.

— Сичас.

Запор взвизгнул, и дверь осела назад на неровных петлях. Куприяна обдало запахом прелой соломы, куриного помета и дыма. Куры зашевелились и захлопали где-то в темноте. Петух сонно и протяжно икнул.

Куприян прошел в избу. Гунявый, почесывая грудь, посмотрел на небо, затворил дверь, пошел за ним, зевая и крестя рот.

— А-ах, господи, боже мой... Что поздно?

Васька, спавший на лавке под кожухом, тревожно поднял всклокоченную голову, но, рассмотрев Куприяна, опять опустил ее на кожух.

Куприян не спеша снял картуз, сапоги и сел на лавку.

Гунявый тоже присел у икон. В одних пестрядинных штанах, босой, в серой толстой рубахе, с развязанным воротом, сквозь который виднелась темная волосатая

грудь, он казался еще длиннее и тоще. Он почесал себе грудь и спину, кашлянул и понурился.

Васька глядел из-под кожуха.

В избе было темно, грязно и душно. На полатях и на полу под кожухами и рогожками спали дети Гунявого, на все лады посвистывая носами. Тараканы бегали по стенам, и тени их бегали за ними. За печкой однообразно свиристел сверчок, и слышно было, как ветер рвал мокрую солому с крыши.

Куприян сидел молча.

— Может, есть хочешь?—спросил Гунявый.

Куприян нехотя качнул головой.

— Не...

Гунявый почесал грудь корявыми пальцами, подумал и нахмурил свои нависшие брови.

— Видел Матрену-то?—пытливо спросил Васька, приподняв голову.

— Видел.

— Что ж?

— Ничего,—неохотно ответил Куприян.

— Что так?—глухо сквозь усы спросил Гунявый.

— Да что...

Куприян махнул рукой.

— Дело ее, бабы-то, плохое!—проговорил Гунявый и вздохнул, пожевав беззубым ртом.

— Да уж, конечно... не мед!—отозвался Васька.

Куприян промолчал.

— Эх, Купря... Бог-то видит,—пробормотал Гунявый.

Куприян взглянул на него и потупился.

— Я что ж...

Васька усмехнулся пренебрежительно.

— Что он ее силком, что ли, тащил? Сама шла...

Гунявый насупился.

— Тоже, чай, калачом манить не пришлось... Сама знала, где сладко!—засмеялся Васька.

Гунявый вздохнул.

— А все Купре—грех... Потому баба—что? Баба дура, а он того... бабу в грех ввел... ему и грех-то!

Куприян потупился еще больше.

— Заладил: грех!—презрительно отозвался Васька.—Знаем мы.

— Вот и не знаешь...

— Лошадей краденых сбывать да конокрадов укрывать тоже, чай, грех?..

Гунявый помолчал.

— То особь дело,—спокойно возразил он.—Лошадь—животная, а то баба...

— Ну, и баба тоже особь дело,—хихикнул Васька.—На то они и созданы, значит... У нас на фабрике, что девчонка ни поступит, уж я того... Я по этой части ходок...

— Эх... заводская твоя душа, пропащая!—с острою укоризною прогудел сквозь усы Гунявый и, повернувшись к Куприяну, сказал:

— Ты бабу-то брось... Пошалил, сатану потешил, сейчас брось! Забьет ведь Егор бабу-то...

— Я что ж...—с тоской нерешительно пробормотал Куприян.

— Почто ж смущаешь бабу?—строго спросил Гунявый.

— Да я...

— Испортил бабу... солдатку...

Васька захихикал.

— Такой уж ей предел положен, потому солдатка. Солдатке сам бог велел.

— Бог?—величаво и презрительно переспросил Гунявый.—Ты-то, заводский, бога понимать можешь?

— Ну, чай, и ты не больше моего смыслишь в боге-то?

— Я-то смыслю. А вы почто баб смущаете?.. Смутьяны прокляты...

Гунявый закашлялся и умолк. Потом он встал и, шаркая босыми ногами, полез на печь.

Все утихло. Сверчок верещал по стенам, с тихим шелестом проворно бегали тараканы.

Куприян долго сидел у стола, свесив голову и о чем-то думая.

— Вась... а, Вась...—позвал он.

Васька не отвечал.

— Васька!—громче позвал Куприян.

— Чего?—сонно отозвался Васька.

— Я того...—смущенно заговорил Куприян,—говорят, господа, ежели муж, значит, альбо жена...

Куприян путался, мучительно подыскивая выражения.

— Ну?

— Так могут, значить, развод... а там опять жениться на ком хошь...

— Так то господа!—отозвался Васька.

— А у мужиков нельзя?—спросил Куприян неуверенным голосом.

— Оно, может, по закону и можно, только, сказывают, оченно денег много надо.

— Кому?—удивился Куприян.

— Кому?.. Попам, известно!—усмехнулся Васька.

— А много?

— Да уж у тебя не найдется. Господа—и те не все могут...

— Значит, нельзя?—упавшим голосом спросил Куприян.

— Известно.

С печи послышался хриплый голос Гунявого:

— Еще чего захотел!

— А по закону ж можно...

— Так то по закону!—возразил Васька, встряхнув головой.

Куприян посидел еще, помолчал, потом тяжело вздохнул и стал укладываться на лавку.

Тараканы бегали, Гунявый кряхтел на печи, сверчок верещал испуганно и однообразно.

Воздух в избе становился все гуще и тяжелее от скученных в тесноте людей, животных и от мокрой одежды.

XI

Около волостного правления стояла тройка почтовых лошадей, потряхивая головами и перезванивая бубенчиками.

Приехали исправник и становой ловить конокрадов, слухи о безнаказанных похождениях которых дошли, через посредство газет, до губернатора.

Губернатор был новый и неопытный человек, а потому дело показалось ему в такой серьезной форме, что он взволновался и в тот же день дал предписание о немедленной поимке конокрадов.

Исправник, старый служащий на этой должности, великолепно знал и раньше о кражах лошадей и своевременно принимал меры, т. е. делал соответствующие предписания становым, а те препровождали их урядникам. Но особенно никто не беспокоился, потому что лошадей крали только крестьянских, и это всеми

считалось за обычное неизбежное зло. Уездное начальство думало, что все мужики—понемножку конокрады, и потому смотрело сквозь пальцы. И теперь оно, в лице исправника, становых и урядников, беспокоилось больше о точном выполнении губернаторского предписания, чем о действительной поимке конокрадов.

Исправник сидел в волостном правлении и толковал со становым о том, как бы устроить так, чтобы перегнать конокрадов в другой уезд и таким образом сбыть их с шеи без особых хлопот. Решено было начать облаву по дерновскому лесу, который примыкал к границе уезда и в котором, как донес урядник, умолчавший о встрече с Куприяном, видели обоих конокрадов.

— Оцепим мы лес с трех сторон, да и выжмем их в Спасский уезд,—решил исправник.

В предписании губернатора был еще пункт об открытии, буде возможно, укрывателей, но об этом исправник даже не заговаривал, потому что знал полную невозможность это сделать среди мужиков, боявшихся конокрадов пуще чорта.

Пока собиралась облава, для которой сгонялись мужики не только деревенские, но и двух соседних сел, Тарасовки и Рябовки, исправник от нечего делать курил папиросу и разговаривал о карточной игре со становым приставом, тучным и рябым человеком с большими усами.

Толстый писарь Исаев, как-будто ставший тоньше, пыхтя и потея, терся возле начальства и поминутно выскакивал на крыльцо, высматривая облаву. Урядника не было: он ускакал со старшиной в Тарасовку за народом, хотя это было излишне и могло сделаться без

его личного участия. Но он усердствовал в виду присутствия начальства.

Толпа между тем уже собралась у пожарного сарая и глухо шумела. Дерновские мужики все были в сборе. Были раньше прибывшие рябовские мужики, которые и стояли своей толпой, не смешиваясь с дерновскими.

Несмотря на то, что мужики сдерживались, опасаясь прогневить начальство, стон стоял в воздухе и прерывался иногда хриплой и крикливой бранью, которая, впрочем, сейчас же смолкала.

В толпе царило не то страшное, не то неприятное настроение. Хотя все прекрасно понимали, что облава и поимка конокрадов необходима и делается для их же пользы,—мужики не сочувствовали этому делу. С одной стороны, они боялись красного петуха в виде мести конокрадов, а с другой,—не верили в возможность их поимки.

Тот самый столяр Семен, который встретил Куприяна и говорил с ним, потому что был выпивши, а потом сидел, по распоряжению писаря, в холодной, считал своим долгом вышучивать и облаву и начальство, в особенности писаря.

— Как же, изловишь!—ехидно кричал он высоким и резким голосом.—Чорта с два! И не такие ловили, да руки коротки... Наш толстопузый-то разве изловит?..

Близ стоящие засмеялись. Но высокий и толстый мужик, один из богатеев села, Федор Степанов, осадил Семена:

— Что, пустеха, брешешь,—презрительно сказал он, стоя боком к Семену,—народ смущаешь?.. Смотри ты...

Семен сконфузился.

— Я что, я ничего, а только, что... чтобы потом не плакаться... Поймать не поймаем, а только осерчают,

да еще подпалят... Тогда что?—с торжеством закончил он, уже наступая на Федора Степанова.

— А что ж,—презрительно спросил Федор,—так их и оставить? Пусть лошадок уводят... Так, что ли?..

— Семену-то ничего! Он не обедняет,—сказал насмешливо высокий мужик, Касьян Рыжий.

Все засмеялись над Семеном.

Семен обиделся и разозлился. Наскакивая на Касьяна Рыжего чуть не со слюной у рта, он закричал:

— Молчал бы уж лучше... У самого, окромя краденой дуги, ничего нет, а тоже...

— Кто украл-то, ты видел?—угрожающе подвинулся к нему Рыжий.—Какая дуга?

— А то нет...

— Нет, ты скажи: видел?—лез на него Рыжий. Семен струсил, потому что Касьян Рыжий был вдвое сильнее его, а Семен вообще был мужик хотя задорный, но трусливый.

— Отстань... ты...

— Брось,—презрительно посоветовал Касьяну Федор Степанов,—пустеха, известно...

— Нет, пусть он скажет,—не унимался Рыжий, налезая с кулаками на окончательно струсившего Семена.

— Брось, говорю!—повторил Федор.

Но Семен, отретировавшись в толпу, опять стал кричать:

— А по-моему, такое дело: своим судом, значит.

— То есть как?

— Да так... чтобы другим не повадно, взять да колом... во... по башке!

— И грех баишь!—отозвался один из мужиков, начетчик и ханжа, Романик Никита, тоненьким и испуганным голоском.

— А что на них смотреть?

— Пустое говоришь...

Но в толпе заговорили сначала несмело, а потом все громче и возбужденнее те мужики, у которых пропали лошади и которые поэтому были злы на конокрадов.

— Нет... что ж, он дело говорит... что на них смотреть?..

— В куль да в воду,—мрачно сказал один из чужих, тарасовских, мужиков, высокий и суровый кузнец с черным корявым лицом.

— Известно,—загалдела толпа,—а то что же это... никакой возможности... раззор...

— Ну, что, мужики, толкуете?—мягким и сонным голосом возражал последний пропойца и бедняк в селе, Фома Болото, босой, огромный и пьяный мужик, с пухлой и добродушной рожей.

— Такое дело выходит... Али ждать, покелева всех лошадей уведут?—мрачно спросил тарасовский кузнец.

— Зачем ждать,—добродушно возразил пьяненький Фома,—а только бить зачем? Пущай живут...—и он махнул рукой с таким добрым и пьяным видом, что вокруг засмеялись.

За то, чтобы не делать конокрадам ничего дурного, помимо облавы, стоял еще Никита Романик да Мозявый, который слезливо подмаргивал подслеповатыми глазами, но больше молчал. Были и еще такие, что советовали оставить замысел покончить с конокрадами своим судом, но большинство кричало, что так им и надо.

— Собаке—собачья смерть!

Но никто не упоминал о предстоящей облаве, потому что никто в нее не верил и смотрел на нее, как на пустое дело, затеянное по прихоти начальства.

Между тем подошли толпою мужики из Тарасовки и приехал старшина с урядником. Писарь доложил исправнику, что облава готова. Исправник, не переставая разговаривать с приставом, надел шинель и шапку; то же сделал и пристав, и все вместе вышли на крыльцо.

Как только их увидели, шапки одна за другой быстро исчезли и обнажили сотни рыжих, черных, седых, плешивых, лохматых и иных голов. Шум быстро затих, и все с некоторым страхом всколыхнулись, надвинулись на волость и стали.

Исправник со становым сели в бричку, старшина с урядником—в другую, запряженную парой. Писарь, облачившись в пальто и большой картуз на вате, взмостился на беговые дрожки с его собственной толстой рыжей кобылой, возле которой путался чалый жеребенок.

Тройка исправника двинулась, позвякивая колокольчиком, за ней тронулись остальные подводы, а сзади повалила серая масса зипунов и лаптей, изредка перемешанных огромными сапогами. Многие из мужиков так и пошли без шапок.

Вся толпа повалила, как стадо, размешивая густую грязь, по дороге к лесу.

XII

В деревне остались очень немногие, а в том числе пьяный Фома Болото, у которого умерла в этот день жена, и Мозявый, потихоньку улизнувший по задам домой.

Фома, пошатываясь, пошел к попу договариваться о похоронах, а Мозявый пробрался, все по задам, к хате Федора Гунявого, который тоже не пошел в облаву и даже не ходил на сходку к волостному правлению.

Он сидел на обрубке дерева, посреди двора, и большим топором тесал подпорки. Увидав Мозявого, он насупил свои густые брови, воткнул топор в бревно и встал, заложив пальцы за тесемочку, которой был подпоясан.

— Чего ты?—спросил он неприветливо.

Мозявый заморгал слезящимися глазками.

— Я того, значит...

— Чего?

— Что как теперь мужички решили, так я упредить, значит.

Гунявый насупился еще больше, подозрительно уставился на Мозявого и еще суровее прогудел:

— Ты насчет чего?

— Чтобы, значит, Куприяна... Купрю, то есть, упредить,—пролепетал Мозявый, который почему-то боялся Гунявого и всегда терялся в его присутствии.

Гунявый помолчал, что-то сообразил и сказал мягче:

— Мужички, говоришь, решили? Миром, что ли?

— Во-во,—обрадовался ободренный Мозявый.

— Насчет Куприяна?

— Его самого... Чтобы, значит, ежели начальство не того, так чтобы самим, значит.

Гунявый стал серьезен, насупился и покачал головой.

— Ишь ты, вот дело какое!.. Так... А кто? Не Егор?

— Не... Семен столяр, опять же Рыжий и другие прочие, которые...

— Так, так... Упредить надо.

Гунявый помолчал, стоя во весь рост и заложив руки за поясок. Мозявый нерешительно мял шапку и не знал, уйти ему или оставаться.

— Ушли уж?—спросил Гунявый.

— С час времени будет.

— То-то, слышал, будто стадо пошло,—насмешливо прогудел Гунявый.

— Идем, что ль,—добавил он и пошел, твердо ступая огромными лаптями, в избу. Мозявый засеменил за ним, продолжая нещадно мять свою шапку.

Васька и Куприян сидели в избе на лавке. На столе стояла почти полная бутылка водки и вяленая рыба в деревянной чашке.

Куприян был скучен, и лицо у него было убитое, печальное, с тоскливыми слезами в расширенных глазах.

«Известно, не своей охотой,—думал он,—а я вон что... ей и так горько, а тут и я разобидел! И что оно со мной поделалось, точно бог ум отнял?»

Время от времени он наливал водку в стаканчик толстого стекла и медленно опрокидывал его в рот. И чем больше он пил, тем становился скучнее и мрачнее.

Васька был трезв и трусил. Он не мог спокойно усидеть на месте, все прислушивался и судорожно потирал худые колени.

Гунявый и Мозявый вошли в избу, перекрестились на иконы. Мозявый остался у дверей, а Федор сел на лавку, подложил под себя руки.

— Садись,—мотнул он головой Мозявому.

Мозявый вздохнул, поморгал глазками и сел у самых дверей.

— Слышь, Купря,—заговорил Гунявый, точно из бочки,—вот он сказывал, что вышло миром решение, чтобы своим судом...

Васька позеленел.

— Как так?—пролепетал он.

Куприян поднял голову.

— Врут, собаки,—мрачно и медленно проговорил он,—я им не батька дался... руки коротки.

Гунявый покачал головой.

— Ну, брат, у мира руки длинные, а ты лучше послушай, что я тебе скажу: перевали в тот уезд. Будя тут, пошалили и будет. А то неравно...

Куприян рассердился.

— Что неравно? Не им, сиволапым, на меня руки наложить. Коли ежели что, я им такого огонька подпущу, что ну!..

Мозявый испуганно перекрестился.

— Известно,—поддержал, приободрившись, Васька,— ишь расхрабрились, лапотники! У нас это живо...

— Молчи, шалый,—презрительно оборвал Гунявый.— Ты, Купря, как знаешь, а мой совет: уходи от греха... неравно...—продолжал он.

Куприян махнул рукой.

— Там видно будет,—сказал он.—Водки, дядя, хочешь?—спросил он у Мозявого.

Мозявый стыдливо усмехнулся, осклабляя желтые корешки зубов.

— Пей,—сказал Куприян,—и я выпью... Гуляю, дядя!

Они выпили. Мозявый положил шапку подмышку, осторожно стал колупать корявыми пальцами сухую рыбу, а Куприян выпил еще стаканчик и захмелел. Ему хотелось пить, чтобы забыть Матрену и утишить чувство ревности и стыда, которое не давало ему покоя.

— А нет ли, дедушка, водки еще?—спросил он.

— Будет тебе,—усмехнулся Гунявый.

— Гулять хочу... дай водки...

— Нету водки и послать некого—все ребята разбежались.

Куприян помолчал, свесив голову.

— Ну, нет так нет... Васька, идем за водкой...

Мозявый захихикал.

— Право, пойдем,—настаивал Куприян,—вот и дядя пойдет... Пойдешь, дядя?

Мозявый переступал с ноги на ногу.

— Я что ж.

— Ну, и ладно... Пойдем, Васька...

Васька подумал, что если не пойти, то, чего доброго, Куприян спьяна натворит и не таких глупостей, а если пойти, то можно будет потом и уговорить его удрать из села. К тому же Васька, узнав, что облава и начальство ушли, перестал трусить, и к нему вернулось все его нахальство.

— Что ж, пойдем,—осклабился он.

Федор Гунявый покачал головой, но ничего не сказал.

XIII

Около винной лавки сидело человек пять мужиков, стариков, не годившихся в облаву. С ними был и Егор Шибаев, который постоянно теперь торчал у «монопольки». Дома ему не сиделось, на Матрену он не мог смотреть без злобы и сожаления о своих мечтах, а вид маленького Федьки приводил его в бешенство. Поэтому он каждый день за всякий пустяк бил жену, а потом уходил и напивался пьян.

К облаве он не примкнул, потому что боялся, как бы мужики не стали смеяться над ним, что он, мол, пошел жениного хахаля ловить.

Теперь он, уже достаточно выпивши, рассказывал старикам про Питер.

— Неужели и царя видал?—спрашивал его лысенький скорняк Битюгов, очень любопытный и разговорчивый человек.

— Вот как тебя, милый человек!—с пьяной важностью отвечал Егор Шибаев, и только-что хотел что-то рассказать, как к лавке подошли Куприян, Мозявый и Васька.

Куприян не знал Егора, Шибаев не знал Куприяна, так что они не обратили друг на друга никакого внимания.

Зато Васька и Мозявый опешили.

«Ишь ты,—подумал Васька,—кажись, влопались».

Мозявый струсил, стал моргать глазами и испуганно оглядываться.

Мужики же нисколько не удивились, увидав Куприяна: они так и думали, что он совсем не там, где его ловит начальство. Но никто из них не сказал ни слова.

— Старичкам почтение,—весело сказал Васька.

Мужики степенно подняли шапки.

— Водочкой балуетесь?—продолжал Васька, соображая, что не надо им давать времени сказать что-либо Егору.

— Сам, чай, видишь,—неприветливо ответил Егор Шибаев.—Так вот, братцы мои, когда стояли мы на карауле во дворце...

— В самом дворце?—изумился Битюгов и от восхищения потер ладонью свою лысину, вспотевшую от выпитой водки.

— В самом,—важно подтвердил Егор Шибаев.

Мозявый дернул Куприяна за рукав.

— Купря, а, Купря...

— Чего тебе?

— Пойдем...

Мозявый помялся.

— Егор тут,—пробормотал он, трусливо моргая глазками.

Куприян побледнел, а потом густо покраснел и впился глазами в Егора. Губы у него задрожали. Сначала он чуть было не бросился на Шибаева и уже сжал кулак, но потом сдержался, криво усмехнулся и, переваливаясь, подошел к Егору.

— Здравствуйте,—насмешливо сказал он,—любопытно послушать про дворец.

Васька почесал затылок.

«Ну, будет каша!»—подумал он.

Мозявый совсем струсил и собрался дать тягу.

— Садись, слушай, коли не шутишь,—важно ответил Куприяну Шибаев.

Куприяна всего передергивало. Он покусывал усы и быстро поглядывал по сторонам...

— Чего шутить,—сказал он, садясь так близко к Егору, что тот должен был подвинуться,—мы шутить не умеем, это ваше дело шутить, солдатское...

Егор Шибаев недоумело посмотрел на Куприяна...

— Чего городишь?—строго спросил он.

— Да я так,—поглядывая по сторонам, сквозь зубы ответил Куприян,—говорю, вы, солдаты-то, шутники, а мы серые мужики...

— Да ты пьян, что ль?—нахмурившись, заметил Егор Шибаев.

— Коли и пьян, так не на твои деньги, солдат!— грубо ответил Куприян.

Егор Шибаев посмотрел на всех, и по их лицам заметил, что дело не спроста. Он внимательнее пригляделся к Куприяну и вспомнил его лицо, хотя и не видел его много лет.

Он побагровел, и глаза у него сделались круглые.

— Ты... чего лезешь?—пробормотал он, сжав свои огромные кулаки.

Куприян быстро исподлобья посмотрел на него.

— А того...—задорно ответил он.

Егор Шибаев помолчал, все более багровея.

— Ну, миленькие, оставь... чего тут,—вмешался Битюгов, в смущении потирая лысину.

Васька, с своей стороны, оттер плечами Куприяна.

— Ну, ты, солдат, не сердись... лопнешь,—нахально заметил он Егору.

Егор взглянул на него угрюмыми глазами, одним толчком отшвырнул его в сторону и с поднятыми кулаками бросился на Куприяна.

— Стой... стойте, дьяволы!—закричали мужики.

Куприян увернулся от удара и вдруг, коротко, но страшно сильно размахнувшись, ударил Егора по лицу кулаком.

— Эх!—злобно крякнул Васька.

Егор Шибаев залился кровью, хлынувшей у него из носу, споткнулся и сел на землю, ударившись плечами о стену.

— Не лезь!—коротко выговорил Куприян.

Он стоял, широко расставив ноги и тяжело дыша, и злобно смотрел на Егора.

Егор поднялся, шатаясь.

— Ну, постой...—пробормотал он, утирая пальцами льющуюся из носу кровь.

— Ведь говорил — не лезь, солдат! — ехидствовал Васька со стороны.

Егор сжал кулаки, но не двинулся с места.

— Пойдем, Купря, вишь, он ошалел с твоего угощения... пойдем!—приставал Васька.

— Ну, ты тоже, Чалка, смотри!—пробормотал Битюгов.

— Чего смотреть?—злорадно переспросил Васька.— Что вас семеро, а нас двое... ерои! Это, видно, не во дворце стоять...

Егор Шибаев порывисто двинулся к нему, но Куприян быстро загородил ему дорогу. С минуту они бешено смотрели друг на друга, потом Егор отодвинулся, грозя кулаком.

— Я тебя, разбойник, научу... ты у меня... подожди.

— Что?

— Братцы,—тонким голосом обратился Егор к мужикам,—что ж вы стоите... а ну-ка его!..

Мужики мялись.

— Дубьем бы их,—пробормотал Битюгов.

— Молчи, старый хрыч,—заметил Васька,—а то мы за это дубье-то сосновыми щепочками твои сараи подпалим...

— Конокрад проклятый!..

— Что ж вы, братцы!—жалобно воскликнул Егор.

Мужики угрюмо молчали.

— Пойдем, Купря,—издевался Васька,—больше от них ничего не будет... одному нос расквасил—и довольно,—все удовлетворились. Пойдем!

Куприян усмехнулся.

— Пойдем,—согласился он, не спуская глаз с Егора.

Они пошли.

— Вот ужо будет вам, разбойники!—крикнул им вслед Битюгов.

— А вам уж и было!—смеялся Васька.

Егор Шибаев погрозил им кулаком.

— Нос-то утри, солдат!—крикнул ему Васька.

Они опять вернулись к Гунявому.

— Наделали делов!—сказал Васька, встряхивая волосами.

Гунявый хмуро их выслушал, заложив руки за поясок.

— Так,—сказал он,—вишь, что грех с человеком делает!.. Эх!.. Были люди, а теперь на...

Куприян смутился.

— Что уж тут...

Гунявый молчал.

— Вот что, теперь у меня вам оставаться нельзя.

— То-то и есть,—сокрушенно вздохнул Васька.

— Щей похлебайте, да и айда в лес! А то к вечеру вся облава сюда нагрянет. Нажили беду...

— И чорт его дернул связаться!—укоризненно проговорил Васька.

Они вошли в избу.

— Анютка тут толчется, с девчонкой моей,—сообщил Куприяну Гунявый.

Девочка в красном платке была в избе. Увидев Куприяна, она подбежала к нему.

— Дяденька Куприян, а и что я тебе скажу...—звонко заговорила она.

— А что?—обрадовался Куприян и покраснел.

Девочка поднялась на цыпочки и громко сказала ему на ухо:

— Тетенька Матрена велела приттить, беспременно велела приттить.

— Когда?—неровным голосом спросил Куприян.

— Завтра по вечеру... на огород... Беспременно велела приттить.

— Ладно, приду...

— Беспременно,—повторила девчонка;—а теперь я пойду...

— Иди.

— Пойду,—и Анютка заскакала из избы на одной ножке, а за ней с криком погналась вся детвора Гунявого.

Гунявый достал из печки миску щей и ложки.

— Ешьте да идите с богом,—сказал он.

XIV

Когда Куприян и Васька вышли, уже смеркалось.

Облава еще не воротилась, и на улице было пустынно и темно.

На повороте в соседний проулок Куприян и Васька налетели на какое-то большое и мягкое тело, лежавшее поперек дороги. Васька едва не упал и схватился за забор.

— А, чорт!—выругался он.

Потом, приглядевшись при слабом свете сумерек, ухмыльнулся и сказал:

— Ишь, надрызгался!

Куприян остановился.

— Кто?

— Фома,—весело скаля зубы, объявил Васька и зачем-то принялся тормошить пьяного.

— Брось,—сказал Куприян.

Пьяный захрипел и забормотал.

— Мы с ним кумовья,—весело пояснил Васька и, схватив пьяного за плечо, крикнул:

— Кум, чорт, вставай! Шапку потерял!..

Пьяный заворочался.

— Вре...—пробормотал он.

— Смешной мужик,—замотал головой Васька.—Пра, потерял... вставай!

Пьяный помолчал, соображая.

— И то... встану,—прохрипел он.

Фома поднялся на руки, потом встал на колени, покачнулся и с размаху сел опять. Васька залился радостным смехом. Фома посмотрел на него тупо и глупо, потом улыбнулся и весело прохрипел:

— Баба померла!

— Чего?—спросил Васька с недоумением.

Фома, придерживаясь за забор, поднялся на ноги, в портках и оборванной ситцевой рубахе, громадный, всклокоченный и босой, и, покачиваясь во все стороны, повторил:

— Баба померла.

— Твоя, что ль?—спросил Куприян.

Фома засмеялся.

— Не чужая... Двадцать годов жили... Померла.

Все трое замолчали. Васька поглядел на бледное небо, нерешительно улыбнулся и посмотрел на Куприяна.

— Чего померла?—спросил Куприян.

Фома покачнулся, икнул и махнул рукой.

— Смерть пришла... нутро сожгло!..

— Так. А ты чего ж надрызгался?

Фома вдруг всхлипнул и покачнулся так сильно, что ухватился за Куприяна.

— Я, братяга, пьян... это ты... того... пьян! Потому, как померла... один я, брат, таперича!

Фома тряхнул головой с неестественно ухарским видом.

— Померла... ну, я и выпил... ты пойми... один, как палец, ну и...

Фома жалостно улыбнулся, ласково глядя Куприяну в глаза, и сказал:

— Чижало!

Куприян подумал.

— Дохтура отчего не позвал?

Фома тяжело махнул рукой.

— Я звал, фершал был... Да разве супротив бога!.. Купря, друг, поднеси,—неожиданно присовокупил он.

— И так хорош!—отозвался Васька.

— Будет,—строго сказал Куприян и добавил,—когда померла?

— Вчерась.

— Похоронил?

— Н-е, поп не велел...

— Почему?

Фома сделал усилие, чтобы сообразить.

— А того... Я ему говорю: померла... А он, батька то есть, мне: подожди!

Куприян удивился.

— Что ты мелешь, пьяная башка!

— Чего мелю? Ничего не мелю... Попу в город на ярмарку ехать, а тут я... то-есть старуха! Подожди, говорит, приеду—тогда.

Васька захихикал:

— Ловко! Ай да поп!.. Подожди... Вышла от попа рызолюция, чтоб не помирала баба, пока поп с ярмарки не приедет... Ловко!

Куприян нахмурился.

— А ты что ж?

— Я? Я ничаво... что ж я? Поп—известно, а я серый мужик, ну... А потом в избе жуть берет, ну, я и

того...—Фома выразительно икнул.—А между прочим дух от нее... чижало...

Куприян сумрачно помолчал.

— Ну, прощай, кум!—сказал Васька.

— Ну и прощай, коли так!..—добродушно ответил Фома, покачиваясь и икая.

Они разошлись. Двое пошли вниз к реке, а огромная, лохматая фигура Фомы долго чернела на косогоре, шатаясь и размахивая руками, на фоне бледной зеленоватой зари.

— Поп, известно, поп, а я мужик... серый...—бормотал Фома, пока не свалился под забором в жидкую и липкую грязь.

XV

Куприян и Васька, цепляясь за мокрые тонкие ветви вербы и скользя по размокшему глинистому скату, спустились к реке.

Вода текла медленно-медленно, и от нее несло сыростью и холодом. Небольшие волны тихо поплескивали под ногами и чуть-чуть пенились. Прошлогодний тростник, обломанный и придавленный половодьем, низко стлался над темной глубиной и жалобно поскрипывал, точно говоря:

— Холодно, братцы.

Тучи нависли совсем низко, и казалось, вот-вот пойдет дождь, медленный, тягучий. Наверху берега безнадежно мотались по ветру чахлые, тоненькие кустики лозы.

Васька поежился.

— Ишь жуть,—пробормотал он.

Другого берега не было видно, и казалось, что черная, неумолчно плещущая вода сливается там, на середине, с темным и тяжелым небом.

— Где ночевать будем?

— Да тут и заночуем,—равнодушно ответил Куприян.

Васька повел плечами.

— Чего?

— Да... так...

Куприян насмешливо на него поглядел.

— Ну, пойдем к Федору...

— Сцапают.

— Ну, так и болтать нечего...

Куприян потоптал ногами, выбрал место посуше и сел.

Васька почесал затылок и опустился рядом.

Оба молчали, глядя на темную гладь реки, и жались друг к другу, стараясь защищаться от ветра, порывами гнавшего волны вдоль берега, порой обдавая их мелкими, как пыль, холодными брызгами, сорванными с верхушек волн.

Васька скоро начал дремать, согнув спину. Куприян долго смотрел на реку пристальным и неподвижным взглядом и думал о чем-то.

Вдруг он пошевелился.

— Поп-то...

Васька очнулся.

— Чего?

— Говорю, поп-то...

— Да-а,—протянул Васька, опять начиная дремать.

Ветер рванул с особенной силой, так что сухой тростник зазвенел долгим, слабым и тоскливым звоном.

— Так, значит, поп на ярмарке?—сказал Куприян.

Васька опять поднял голову.

— Не иначе, что так... Сам видел, утром один ехал.

— На одной, али на паре?

— На одной...

Васька сморщился, как бы что-то соображая, и вдруг прищелкнул пальцами.

— Ну, и ловко! В самый раз...

Он приподнялся и оскалил зубы.

— Идем, что ли?—спросил Куприян.

— Конечное дело... другого такого случая—жди!..

Куприян встал, поправил шапку и полез обратно на скат, хватаясь за ветви и скользя.

Васька карабкался за ним.

— Чорт знает, как это самому невдомек... Ловко!

Они вылезли наверх и притаились, как два голодные волка, высматривая дорогу. Сейчас же за выгоном начинались плетни и заборы, а за ними чернелись и пропадали в темноте темные кучи строений с ободранными, голыми остовами крыш.

Ветлы и березы уныло раскачивали над ними голыми верхушками с долгим, непрестанным шумом. Тишина была мертвая, только где-то, по ту сторону села однообразно позвякивал колокольчик, да далеко-далеко слабо тявкала собака.

Куприян и Васька двинулись обратно через выгон, зорко осматриваясь по сторонам. Прошли мимо огородов, мимо изб с черными слепыми окнами и вышли на площадь, посреди которой слабо белела в темноте церковная ограда.

— А может, поп вернулся? — заметил вполголоса Васька.

— Нет... должно, нет,—возразил так же тихо Куприян,—в окнах светится... должно, к ночи ждут.

Поповский дом, белый, с железной крышей, стоял рядом с большим лавочным амбаром. В одном окне его слабо светил огонь и видны были ситцевые занавески на окне и два горшка с цветами.

Куприян и Васька подошли к воротам.

— Собаки есть?—спросил Куприян.

— Должна быть, коли за попом не убегла...

— Ты стукни...

Васька слабо постучал в забор.

Со двора никто не отозвался.

— Должно, нет,—заметил Васька и поднялся на лавочку возле ворот.

— Не видать.

— Лезь!—шопотом сказал Куприян.

Васька ловко и бесшумно поднялся над забором, посидел наверху, чутко прислушиваясь, и легко спрыгнул вниз. Щеколда тихо звякнула, и калитка отворилась.

Куприян вошел во двор.

Двор был большой, поросший травой и чистый.

Они тихо, крадучись, прошли мимо дома к конюшне. Васька попробовал рукой.

— На замке!—сообщил он.

Куприян в свою очередь пощупал замок, достал из кармана маленький ломик, заложил в петлю и нажал. Замок не поддался. Куприян нажал сильнее, что-то затрещало, и запор со звоном обрушился вниз.

— Эх, чорт!..—пробормотал Куприян.

Васька вздрогнул и оглянулся. Оба замерли, повернувшись к дому. Там было попрежнему темно и тихо; в крайнем окне слабо брезжил свет.

— Дома один старый поп... батька молодого, заштатный... Он, чай, и глухой уже,—совсем старый!—прошептал Васька.

Куприян отворил дверь. Изнутри пахнуло теплым навозом и послышалось ласковое пофыркивание лошади, не видной в темноте.

Васька остался у дверей.

Все было тихо. Ветер слабо и глухо шумел у церкви в верхушках лип. В окне у попа мерцал огонек. В конюшне осторожно позвякивала уздечка, и лошадь, почуяв незнакомого, пугливо фыркала и перебирала ногами по мягкому навозу. Куприян точно утонул в темноте.

Васька смотрел, смотрел, глаза у него расширились и заслезились от напряжения.

— Скоро?—шепнул он в темноту.

— Сейчас,—тихо донеслось оттуда.

Копыта лошади застучали по деревянному мосту; темнота точно заколыхалась, и вдруг из нее вынырнула фигура Куприяна, а за ним большая голова лошади, пугливо прядущей ушами.

— Гнедая,—радостно сказал Васька,—эта много лучше той... Недавно купил поп-то, по всему селу хвастался!..

Куприян зло ухмыльнулся.

— Так ему и надо... Пущай теперь и он подождет...

— Чего?—с недоумением переспросил Васька.

— Лошадку пусть подождет... Фомке приказал ждать-то?..

Васька захихикал.

— Одначе, куда ее?—спросил Куприян.

— К цыгану... Трофиму... больше некуда.

Куприян подумал.

— Двигай ты, а у меня тут того... дело есть.

— Опять насчет бабы?

Куприян неохотно пробормотал что-то.

Васька ухмыльнулся и пожал плечами.

— Чудасия!..

— Ну, ладно,—недовольно прервал Куприян,—сдашь коня Трофиму, дешево не отдавай—конь добрый, а сам к ночи на завтра назад... беспременно.

— Как найду?—спросил Васька, схватив лошадь за гриву и взваливаясь на нее животом.

Лошадь тяжело и покорно вздохнула, пугливо глядя своими кроткими большими глазами.

Куприян погладил ее по морде.

— Гунявого спросишь, знать будет.

— Ну, ладно... Пущай!

Куприян отступил. Васька тронул лошадь, и она, легко перебирая ногами, двинулась через двор к воротам. Куприян пошел за нею и снизу смотрел на темный силуэт Васьки, отчетливо вырисовывавшийся на небе.

— Лошадь добрая,—повторил Куприян.

Они поровнялись с крыльцом дома.

Дверь на крыльце скрипнула, и старческий голос, шамкая, спросил:

— Это ты, отец? Что поздно?

Васька инстинктивно дернул лошадь, и она быстро двинулась к воротам; но Куприян схватил ее за узду и придержал.

— Постой,—сказал он Ваське.

Тот только удивленно и испуганно на него покосился.

— Ты, что ль, отец?—повторил с крыльца старый поп.

— Я,—громко ответил Куприян,—счастливо оставаться, батюшка!

Васька опять испуганно тронул лошадь, но Куприян еще раз придержал ее.

— Ась?—спросил с крыльца поп.

— Ну, то же самое...—злорадно ответил Куприян.

— Что ты?—прошептал Васька.

— Мое дело,—огрызнулся Куприян.

Поп вгляделся и понял, в чем дело.

— Разбойники, вы что тут делаете?—дрожащим голосом закричал он.

— Лошадкой вашей попользовались, батюшка!—притворно ласково ответил Куприян.

— Ратуйте, ой!—кричал поп тоненьким напряженным голосом.

— Ну, ты, старый!—угрожающе цыкнул Куприян.

Васька дернул лошадь; она рысью вылетела за ворота и, повернув вдоль улицы, понеслась вскачь.

Куприян не трогался.

— Ты, батюшка, скажи отцу Ивану, что это ему за Фомкину бабу,—сипло проговорил он, подвигаясь к крыльцу,—пущай тоже подождет... лошади-то...

Поп отступил в сени и, захлопывая дверь, закричал еще громче и напряженней:

— Караул... люди... ратуйте!..

Куприян вышел за ворота, посмотрел вслед Ваське и побежал в противоположную сторону, к реке, слыша за собой голос старого попа и еще чей-то женский, отчаянно взывавший о помощи.

— Ратуйте!—раздавалось в молчании ночи.

По соседним дворам начали лаять собаки и послышались движения и голоса.

Куприян бежал по улице.

Возле волостного правления его внимание привлекли легкие позвякивания бубенчиков и освещенные окна.

Там сидели вернувшиеся с проводов исправника старшина, писарь и урядник. Они пили водку и засиделись.

Урядник собирался к утру выехать, и у волости стояли уже готовые лошади, не земские, а старшинские, которые старшина дал уряднику из уважения и потому, что земские лошади все были в разгоне.

Ямщик ушел в сени, а лошади стояли у крыльца, понурив головы и тихо встряхивая бубенцами.

Куприян, увидев их, на миг остановился, быстро влез в бричку, собрал вожжи и дернул лошадей с места во весь дух. Бубенцы дико и нестройно зазвенели, телега затряслась и затрещала.

Из волостного правления выскочили один за другим душ десять мужиков, писарь и урядник.

— А-ах, ты, боже мой!—ударил об полы старшина.

— Держи!—завопил писарь тоненьким голосом.

Урядник выхватил револьвер:

— Сто-ой, стой!—закричал он, прицелился дрожащими руками и выстрелил.

Куприян только пригнулся и еще шибче погнал лошадей, стоя в бричке на коленях, и, сам не зная зачем, только чувствуя какое-то светлое и бесшабашное чувство, заливавшее его грудь, крикнул во все горло:

— Ловите Куприяна-а!..

Урядник еще раз выстрелил.

Отовсюду выскакивали мужики, лаяли собаки, хлопали калитки.

— Держи!—взывал старшина, рысью несясь по улице.

Лошади вылетели за околицу и пошли забирать к лесу. Куприян уже не кричал, а только гнал и нахлестывал лошадей.

На селе лаяли собаки и криком кричало много голосов, мужских и бабьих.

Доскакав до лесу, Куприян остановил лошадей, соскочил с брички, подбежал к коням и снял бубенчики. Потом опять погнал что есть духу и скоро свернул с дороги в лес. Версты за три от дороги он загнал в чащу, остановил взмыленных, храпящих и шатающихся лошадей и, привязав их вожжами к дереву, побежал прочь от них по лесу.

XVI

Переночевав в яме, полной осыпавшихся листьев, Куприян целый день сидел в лесу, у болота, на условленном с Васькой месте.

День был солнечный и какой-то прозрачный. Солнце светило тихо и не грело, а только золотило желтые листья и паутину, длинными нитями протянувшуюся повсюду по траве, по опалым листьям, по деревьям. Легкие пряди ее тихо летали в воздухе, и казалось, что весь лес насквозь проткан золотыми нитями. Небо было ярко-голубое и тоже прозрачное. По временам высоко над лесом слышались какие-то звуки. Тогда Куприян подымал голову и видел чуть-чуть мреющую в голубом просторе стаю журавлей. Их заунывное курлыканье было единственным звуком, который слышал Куприян.

«Ишь ты,—думал Куприян,—летят... хорошее дело! Лети себе, куда хочешь... ни земли пахать, ни коней красть, ни податей платить... хорошо!»

Около полудня над болотом вышел волк и, чутко насторожившись, постоял по ту сторону просеки. Куприяну были видны его втянутые ребра и облезлые ляжки, на которых мотались клочки шерсти. Волк постоял,

понюхал и, высоко поджимая свои худые ноги, поскакал в чащу.

«Наш брат,—усмехнулся Куприян.—Тоже поймают—спуску не дадут... а вся вина, что жрать надо».

Куприяну стало грустно и скучно.

Он уже с тоской поглядывал в ту сторону, откуда должен был появиться Васька. Но там все так же неподвижной стеной стоял лес, медленно и безшумно роняя кружащиеся листья. Паутина продолжала тянуться золотыми нитями.

Куприян то ложился, то вставал.

Солнце стало клониться к западу, и по всему лесу протянулись косые стрелы от лучей. Над болотом стал мерещиться туман.

Наконец Куприян не выдержал и встал.

«Ну его к чорту!—с досадой плюнул он.—Этак и с голоду помрешь. Завяз где-то, чорт... жди его теперь».

Он помялся еще немного.

«Матрена наказывала к вечеру притти,—подумал он,—пора итти... пока доберусь».

Он вспомнил, как до приезда Егора он, бывало, вечером пробирался к Матрене в избу. И ему вдруг стало жаль, что уж не вернется это время. Потом он припоминал, как «жалела» его Матрена, и вспомнил, как он грубо с ней обошелся в последнюю встречу.

«И что это на меня нашло?.. Разве она чем виновата? Такая уж участь наша горькая... А, должно, в последнее мы с ней сегодня повстречаемся,—подумал Куприян.—После вчерашнего мне в село ни ногой... Старшина своей тройки не забудет, да и поп... Уходить надо! Двинем с Васькой под Одест. Васька говорит, места вольные. А там—когда опять вернусь?.. Может, и не вернусь, а коли и приведется,—забудет баба-то».

Куприян тряхнул головой и покривился.

«Хоть попрощаться-то хорошенько...»

Солнце как-то вдруг погасло в лесу; сразу стало холодней, и туман явственно потянул с болота.

«Не дождаться Васьки»,—подумал Куприян, потоптался в нерешительности и вдруг быстро и твердо направился по знакомой тропке к селу.

XVII

Матрена целый день была сама не своя.

Утром к ней забежала солдатка Палашка и, вызвав ее на огород, чтобы не слыхал Егор, поведала ей с прикрасами все ночные события.

— И такой он, Куприян, отчаянной жизни человек,— тараторила Палашка,—сам скачет по улице, сам и кричит: «Ловите Куприяна!» Старшина теперь его живьем бы съел, а поп чуть, говорят, не помер... Отчаянный!..

У Матрены в сердце так сразу и захолонуло.

Первая мысль у нее была послать к Куприяну, чтобы не приходил сегодня. Когда Палашка ушла, она вышла на улицу выглядывать Анютку. Анютка, игравшая с девочками около церковной ограды, сама увидела ее издали и прискакала на одной ножке, болтая локтями.

— Здравствуй, тетка Матрена!—просюсюкала она.

Матрена боязливо оглянулась вдоль по улице.

— Куприяна видела?—тихо спросила она.

— Вчерась видела.

— Сказала?

— Сказала. Обещал беспременно... «Скажи,—говорит,—приду».

Матрена еще раз оглянулась по улице.

— Ты бы, Анютка, сбегала до него. Скажи, чтоб не приходил.

Анютка вытаращила глаза.

— Чтоб не приходил?—переспросила она.

— То-то ж. Скажи, Матрена говорила, чтоб не ходил, а то мужики очень серчают, так чтоб худо ему не было. Скажешь?

— Скажу.

— Ну, беги...

— Сичас,—просюсюкала девчонка и проворно затопала босыми пятками в избе Гунявого.

Матрена вздохнула, поглядела ей вслед и пошла в избу.

Егор с утра ушел к винной лавке, где он теперь был постоянно. Маленький Федька спал в чулане. Матрена месила тесто и плакала.

Начала она плакать так, сразу, сама не зная отчего. Стало на сердце тяжело, и слезы закапали в тесто.

Она боялась за Куприяна и в то же время жаль было ей не видеть его. И мысли у нее все были грустные и безотрадные.

«Уйдет он, чай, теперь,—думала Матрена,—нельзя ему тут оставаться, а я одна останусь...»

Матрена заплакала сильней.

— Ни от кого-то я ласки не увижу... Егор только водку пить да за волосы таскать... Пошла бы да и утопилась, коли б не Федька. Федьку жалко... И ему не жить: забьет Егор. Вчера как толкнул-то!.. Ку-упря мой... желанный!—всхлипнула она громко.

Под окном кто-то осторожно стукнул.

Матрена выглянула.

— Нету дядиньки Куприяна,—просюсюкала Анютка.

У Матрены опять захолонуло в сердце.

— Как так?

— Дедушка Федор говорит—и ночевать не приходил: с вечера ушел и не приходил.

Матрена молчала.

— А у винной, тетенька, мужики крича-ат,—сообщила девчонка,—все дяденьку Куприяна поминают, грозятся страшно!.. Я мимо бегла, так подслушала... И дядинька Егор тамотка...

— Пьяный?—машинально спросила Матрена.

— Не... только сердитый такой, что и-и!..

Матрена опустилась на лавку и потупилась.

— Ну, что ж, я пойду,—сказала Анютка,—я, тетенька Матрена, к лавке сбегаю, послушаю... таково мужики стра-ашно грозятся, у-у!..

— Иди,—прошептала Матрена.

Анютка убежала.

Целый день Матрена места себе не находила. Иногда она выходила на крыльцо и прислушивалась к голосам мужиков, горланивших у винной лавки.

Егор не приходил до вечера.

К вечеру Матрена чисто убрала избу, уложила Федьку и, накинув на голову большой платок, вышла на огород.

XVIII

Куприян был уже под осиной.

Он пробрался задами и никого не встретил, кроме Фомы Болото, который, пьяный и лохматый, попался ему на выгоне.

Он узнал Куприяна, но ничего не сказал и, шатаясь, пошел своей дорогой.

Было еще рано и совершенно светло, но светло каким-то обманчивым светом: вблизи было все видно, как днем, издали сливалось в общую массу.

— Здравствуйте, Куприян Васильевич,—застенчиво проговорила Матрена, подходя к нему.

— Мотря,—тихо ответил Куприян,—не серчаешь, желанная?

Матрена вспыхнула и расцвела.

— Не... не серчаю я...

Куприян ее обнял.

— Вам, Куприян Васильевич, грех меня обижать,—заговорила Матрена,—потому я вас оченно почитаю и всегда...

— Я это понимаю, а только горько мне, так-то наше дело выходит,—ответил Куприян грустно.

— Вам теперь на село ходить нельзя, Куприян Васильевич... оченно мужики серчают.

— Пущай,—махнул рукой Куприян,—я их не очень-то боюсь; а что мне уйти отсюда следует, так это верно.

Он тряхнул головой.

На глазах у Матрены показались слезы.

— Куда же вы уйдете?—спросила она.

— Под Одест Васька зовет... Да я бы пошел, если бы не такая наша доля... чтобы в разлуке.

— От бога все, Куприян Васильевич,—со слезами в голосе вздохнула Матрена.

— Да уж там... А так жить душа не стерпит...

Оба молчали.

Небо все больше и больше темнело и зеленело с одного края.

— Не поминай, значит, лихом!—сказал Куприян.

Матрена заплакала.

— Бог вам на помощь, Куприян Васильевич, а я вас всегда... Может, когда вспомните, дедушке Федору письмо для меня пришлите...

Куприян отвернулся.

— Когда же вы?..

— Сегодня ночью и двинемся,—неровным голосом ответил Куприян.

У Матрены ноги подкосились. Она присела на бугорок и сильнее заплакала.

— Ну, что же ты... Мотря! Ты не плачь,—заговорил Куприян.—Может, еще и свидимся.

— Нет уж,—прошептала Матрена.

В это время ворота двора сильно скрипнули.

Матрена и Куприян сразу подняли головы.

От дома по дорожке бежал Егор Шибаев с толстой жердью в руках.

— Ой, боже мой!—вскрикнула Матрена, закрывая лицо руками.

Куприян съежился и оглянулся вокруг.

XIX

Фома, шатаясь и ругаясь, побрел с выгона по селу.

Около винной лавки его окликнул Семен.

— Эй, Фома... шапку пропил!—закричал он.

Фома остановился.

— Похоронил, что ль, старуху?—спросил Семен.

— Не...—пробормотал Фома.

Мужики засмеялись.

— Впрок солить ее хочешь, что ли?—глупо зубоскалил Семен.

Фома тупо улыбнулся.

— Негодящий мужик,—вздохнул лысенький Битюгов.

— Народ,—отозвался Егор,—у него жена померла, а он натрескался... пьянчуга!..

Фома вдруг обиделся.

— Ну, ты, солдат,—с пьяным задором отозвался он,—не на твои деньги пью, так тебе какое дело?

— Ну, проваливай,—строго возразил Егор Шибаев.

— Чего проваливай,—не унимался Фома,—а до моей жены тебе дела нет... померла, так не твоя печаль... Ты за своей смотри.

Егор Шибаев встал.

— Ну, ну!..—угрожающе проговорил он.

Битюгов придержал его за рукав.

— Плюньте вы на него... известно, пьяный человек болтает, сам не знает...

— Нет, знаю,—угрюмо возразил Фома.

— Что ты знаешь?—багровея и приступая к нему, прохрипел Егор.

— А то и знаю, что к твоей бабе Куприян-конокрад пошел и сейчас там.

— Что врешь, пьяная голова?—вступился Касьян Рыжий.

— Ничего не вру... сам видал сейчас... на задах встретил. Прямо к нему на огород попер.

Егор Шибаев посинел.

— Братцы,— тоненьким голоском вдруг заговорил он,—подсобите...

Фома покачивался и ухмылялся.

— Поди, поди... он тебе еще нос расквасит,— насмешливо бормотал он.

— А и то, мужики, что ж ему спущать-то!—поддержал Касьян Рыжий.

— Переломать ему ребра, чтоб знал, как коней уводить.

— К начальству приставим!

— Иди, что ль!..

— Вали!

— Держи его!—закричал уже кто-то пьяным голосом.

Мужики повалили к избе Егора, по дороге выдергивая палки из плетней.

— Заходи из Семенова огорода!—командовал Битюгов.

— Ладно, не учи,—отвечали мужики, разделяясь на две партии. Одна часть пошла через двор Егора, другая повалила Семеновым огородом.

Когда Егор Шибаев увидел издали Куприяна с женой, у него потемнело в глазах, и он рысью побежал к ним по огороду.

Куприян сразу увидел опасность и огляделся вокруг.

Егор, с налитыми кровью глазами и перекошенным ртом, тяжело бежал по дорожке.

— А...—только мычал он.

За ним бежали Битюгов и Семен.

— Держи!—кричали они Егору.

Куприян вдруг бросился навстречу Егору и со всей силы ударил его сапогом в живот.

— Ой-ой!—закричал Егор плачущим голосом, роняя палку и сгибаясь в три погибели.—Держи-и!..

Битюгов налетел на Куприяна, но поскользнулся и упал. Семен попятился назад.

— Беги, Купря... ой, господи!—голосила Матрена.

Куприян бросился бежать по огороду, прыгая через грядки.

«Эх, хоть бы Васька...»—подумал он.

Наперерез ему бежали мужики из Семенова огорода.

— Упустили... держи!—кричали они.

Куприян бежал изо всех сил, слыша, как сзади бегут Битюгов и Егор, оправившийся от удара.

«Не догонят»,—задорно подумал Куприян.

Но в это время что-то ударило его по ногам и попалось под ногу. Куприян споткнулся и упал, едва успев подумать:

«Пропал!..»

— Вот так... держи!—крикнул Касьян Рыжий, бросивший ему под ноги палку.

В ту же минуту Куприян вскочил на ноги, но сзади на него навалился Егор.

Куприян хватил его локтем в лицо, но страшный удар по голове сшиб его самого с ног. У него все закружилось в глазах. Падая, он ударился лицом о чье-то колено, вскочил и опять упал, вцепившись пальцами в чей-то зипун. Удары посыпались на него градом. Кто-то со всей силы ударил его тяжелым сапогом в грудь, и что-то горячее хлынуло у него изо рта. Куприян закричал тоненьким голоском и, выпустив захваченную полу зипуна, встал на четвереньки, чувствуя, как кровь течет у него по лицу и заливает глаза.

«Голову разбили...»—смутно мелькнуло в его сознании, и он снова упал.

Сквозь рев, удары, ругательства и сопение возившихся с ним мужиков он услышал еще голос, как ему показалось, Федора Гунявого, но на голову ему обрушилась с страшной силой какая-то гора, и земля попала ему в рот...

Над ним образовалась спутанная куча зипунов, лаптей, сапогов, поднимающихся и опускающихся кулаков...

Федор Гунявый, Мозявый, сотский Шпрунь и другие мужики действительно бежали со двора, от церкви, услышав пронзительный крик о помощи Матрены и

рев пьяных, бешеных голосов. Им удалось растащить мужиков, возбужденных, красных и потных, с оборванными полами и бородами, но Куприян лежал ничком, подогнув голову, и уже не шевелился. Волосы его слиплись от крови и грязи.

Мужики, тяжело дыша, смущенные и испуганные стояли вокруг.

— Ишь ты,—недоумело пробормотал Касьян Рыжий.

— Ах ты, грех-то какой!—ударил об полы Битюгов, оторопело рассматривая убитого.—Как же это так?

— Звери, не люди,—горько пробормотал Гунявый.

Вечером Васька узнал об этом и весь вечер плакал навзрыд, а потом напился и стал грозиться сжечь село.

— Один конец!—сквозь зубы кричал он.—Куда пойдешь? Где она жисть-то?

— Молчи, заводский!—спокойно и сурово сказал Гунявый.

1902

УЖАС

I

По обыкновению весь вечер Ниночка провела у старичков Иволгиных. Ей было хорошо, весело у них и потому, что у старичков было светло и уютно, и потому, что от молодости, радости и надежд, наполнявших ее с ног до головы, ей везде было весело. Все время она болтала о том, как удивительно ей хочется жить и веселиться.

Часов в одиннадцать она собралась домой, и провожать ее пошел сам старичок Иволгин.

На дворе было темно и сыро. От реки, невидимой за темными, смутными силуэтами изб и сараев, слитых в одну и призрачную, и тяжелую черную массу, дул порывистый, сырой и упругий ветер, и слышно было, как грозно и печально гудели вербы в огородах.

На реке что-то сопело, медленно ползло с тягучим нарастающим шорохом, и вдруг рассыпалось с страшным звоном, треском и всхлипыванием.

— Лед тронулся,—сказал Иволгин, с трудом шагая против ветра.

Ветер рвал и мотал полы его шинели и юбку Ниночки и откуда-то брызгал в лицо мелкими холодными каплями.

— Весна идет!—весело и звонко, как все, что говорила, ответила Ниночка.

И действительно, казалось, что во мраке ночи кто-то идет по реке, по воздуху, по ветру. Идет властный, могучий, теплый и сырой.

— Вот скоро вы и домой!—сказал Иволгин, только для того, чтобы сделать приятное милой девушке, такой молодой, такой веселой, доброй и нежной, всегда возбуждавшей в его старом сердце особенное и теплое, и радостное, и грустное чувство.

— Да, теперь, слава богу, скоро уже!—отворачиваясь от ветра, прокричала Ниночка, и голос ее радостно и сладко вздрогнул.

Они прошли темную и мокрую улицу и повернули на площадь. Там было пусто и веяло холодом, как из погреба. У ограды церкви еще лежал талый снег и смутно белел в сероватой мгле. За церковью, едва видной из темных и голых деревьев, точно черными костями шуршащих верхушками, выдвинулся большой кирпичный, с голыми углами, дом и взглянул прямо им в глаза двумя яркими освещенными, зловещими от общей тьмы, окнами.

— А, кто-то приехал,—с любопытством сказала Ниночка.

Они дошли до ворот, заглянули во двор, темный и глухой, откуда дохнуло в лицо теплым мокрым навозом, и остановились под крыльцом школы.

Ниночка протянула руку. Иволгин дружески пожал ее маленькие нежные пальцы своей старой ладонью и сказал:

— Спокойной ночи, маленькое счастье!

Надвинув ушастую фуражку на уши и торопливо перебирая палкой, он пошел назад, оглянулся на окна,

мелькнул согнутой спиной в полосе их яркого света и ушел в серую ветренную мглу.

Ниночка торопливо поднялась на крыльцо и постучалась в темное окно. Кто-то вышел из ворот и, тяжело шагая по лужам, подошел снизу к крыльцу.

— Это ты, Матвей?—спросила Ниночка.—Ключ у тебя?.. Кто приехал?..

— Я, барышня,—сипло и хрипло ответил черный человек.

— У тебя ключ?

— Тут...

Матвей, скрипя ступеньками, поднялся на крыльцо, протиснулся мимо Ниночки и открыл дверь. Тихо скрипнув, она тяжело осела в черную тьму. Запахло хлебом.

— Кто приехал?—опять спросила Ниночка.

— Следователь с доктором, да становой... В Тарасовке мертвое тело объявилось...

Ниночка ощупью прошла сени, вошла в классную и долго искала спичек.

— Куда я их всегда засуну?..

Матвей стоял где-то в темноте и молчал.

Ниночка нашла спички и зажгла лампу. Слабый свет, дрожа и замирая, расплылся по комнате, уставленной похожими на гробы партами.

— Мне, барышня, надо за лошадьми на пошту итти и чтоб понятых в Тарасовку тоже...

— Ночью?—удивилась Ниночка, стоя перед ним с лампой.

Матвей повел шеей и вздохнул.

— Вы бы, барышня, лучше к батюшке, что ли, пошли, а то дюже пьяные. Орут, спать вам не дадут, гляди.

— Ничего,—ответила Ниночка,—а разве очень пьянствуют?

— Да, известно,—не то с досадой, не то с завистью неохотно ответил Матвей и опять вздохнул.— Целый вечер без передыху пили... Вы бы, пра, к батюшке... А то это у них на цельную ночь...

— Ничего,—опять ответила Ниночка.

Матвей неодобрительно помолчал.

— Ну, так я пойду, значит.

Ниночка проводила мужика, заперла за ним дверь на засов, прошла в классную и ушла с лампой в свою комнату.

И сейчас же из-за запертой и завешанной ковром двери, которая отделяла комнату Ниночки от комнаты «для приезжающих чиновников», она услышала громкий, совсем пьяный смех, звон стекла и скрипение дивана. Из-под двери сильно тянуло табаком и еще чем-то тяжелым и горячим.

Ниночка отворила форточку, с любопытством оглянулась на дверь и, наставив ухо, прислушалась.

— Ладно, ладно... знаем мы вас!.. А сам, небось, давно уж зондировал...—кричал кто-то грубым и неприятным голосом.

— Тише, ты!—захлебываясь пьяным и тупым смехом, сказал другой.

И все трое захохотали так, что дверь задрожала.

— Нет, ей-богу, господа, всего только один раз...

Ниночке вдруг стало отчего-то обидно и тяжело, хотя она ничего и не поняла. Смущенно и нерешительно она отошла к столу.

«И правда, лучше бы остаться ночевать у Иволгиных»,—пугливо и брезгливо подумала она.

За стеной кричали, шумели, двигали стульями и иногда, казалось, начинали драться, как дикие звери в клетке.

Ниночка старалась не слушать. Она задумчиво сидела у стола, смотрела на огонь лампы и думала:

«А еще говорят, что образование смягчает человека... Наши мужики не стали бы так орать... Ведь знают же они, что я здесь... Нет, скверный человек от образования становится еще сквернее... точно он нарочно все это делает».

Потом она стала думать, что к концу апреля уже можно будет уехать.

«Хоть бы уже скорее... устала!»

И Ниночка бессознательно делала усталое, скучное лицо, но вместо того ей представлялось что-то веселое и светлое, впереди мелькали какие-то интересные лица, открывался какой-то широкий и яркий простор, и губы ее тихо и радостно улыбались потемневшим задумчивым глазам.

Кто-то вдруг дробно и отчетливо постучал в дверь.

Ниночка вздрогнула и подняла голову.

— С... сударыня,—так близко, точно в этой комнате, громко прокричал кто-то,—нельзя ли у вас с... свечечкой одолжиться?.. У нас лампа тухнет.

Ниночка застенчиво улыбнулась, как будто ее мог видеть говоривший, и так же застенчиво ответила:

— Ах, пожалуйста...

Она встала, торопливо порылась в комоде, достала свечу и подошла к двери. Задвижка была на ее стороне, Ниночка отодвинула ее, чуть-чуть приотворила дверь и просунула в щелку руку.

— Вот возьмите, пожалуйста.

— Тыс-сяча бл-а-дарностей, сударыня...—неестественно вежливо и пьяно путаясь, проговорил тот же голос, и Ниночке показалось, что он расшаркался, но свечи не брал. Ниночка держала руку за дверью и смущенно двигала свечой. Ей послышалось, как-будто кто-то хихикнул, и вдруг почувствовала, что вблизи ее руки гадко, тайно и молчаливо делается что-то. Но прежде чем она успела сообразить что-нибудь, потная пухлая рука взяла свечу, с фривольной любезностью слегка прижав кончики пальцев Ниночки к скользкому, холодному стеарину.

— Мерси, мерси, сударыня,—торопливо и еще более неестественно проговорил тот же голос.

— Не стоит, право,—машинально ответила Ниночка и втянула руку обратно.

В соседней комнате как-будто затихло. Слышалось только смутное, сдержанное гудение.

Ниночка успокоилась, села на кровать, устало вздохнула и стала раздеваться. Она сняла башмаки, юбку и кофточку и осталась сидеть в одной рубашке и длинных черных чулках, с голубыми резиновыми подвязками. Плотно обтянутые черным ноги казались мило маленькими и детски нежными, руки, тоненькие и круглые, наивно блестели. Она стала причесываться на ночь: выбрала шпильки на колени, начала плести косу.

— Сударыня,—опять раздался за дверью голос,—мы пьем чай... может, вы желаете с нами чашечку?

Голос был тот же пьяный, неестественно галантный, но что-то новое, беспокойное послышалось в нем: казалось, что при каждом слове у говорившего жадно и тревожно раздувались ноздри.

— Нет, спасибо!—испуганно ответила Ниночка, хватаясь за одеяло.

Голос умолк, и наступила тишина. Одну секунду казалось, что все молчит, но потом в форточку стало слышно далекое шуршание и сопение на реке. Ветер рванул ставню и прогудел по крыше, откуда посыпалось что-то и с стеклянным звоном разбилось внизу. Должно быть, сорвалась ледяная сосулька.

Нина тихо, почти крадучись, будто стараясь спрятаться, легла и натянула на себя одеяло до самого подбородка. Глаза у нее округлились, и с непонятным, но холодным ужасом, не моргая, смотрели на дверь, а в голове, точно вспуганные птицы, быстро и странно кружились мысли:

«Надо бежать... Хоть бы Матвей пришел...»

Но вместо того, чтобы бежать, она боялась пошевельнуться, крепче притягивая к подбородку одеяло судорожно зажатыми пальцами и стараясь себя успокоить:

«Чепуха, пьяные... что они могут сделать?.. Не посмеют же они войти...»

Ей казалось, что это так просто и несомненно, но в эту же минуту она уже чувствовала приближение чего-то невероятного, нелепого, но ужасного.

За дверью было тихо.

— Ну да... а задвижку-то, небось, оставила...—страшным тихим шопотом прошептал кто-то близко-близко, точно над самым ухом Ниночки. И от этого шопота, ужасного именно тем, что он был еле-еле слышен, а она услышала его так, точно кто-то прокричал пронзительно и громко, смертный страх ударил в голову Ниночки.

— А чем мы рискуем?..—вошел в ее ухо тот же острый шопот, и в ту же минуту послышался странный, осторожный и зловещий шорох. Как будто за ковром кто-то тихо, чуть дыша, пробовал отворить дверь.

Все хлынуло и закружилось в голове Ниночки, страшный животный ужас охватил ее тело и душу, какая-то острая и яркая мысль об ужасной, невероятной бессмыслице и о неизбежности осветила, казалось, весь мир, и как-будто кто-то бросил ее. Ниночка вскочила и стала возле кровати, полуголая, маленькая и остро-красивая, как зверек.

Ковер тихо зашевелился, и из-за него, в тени, выступила и стала какая-то неопределенная и тяжелая тень.

— Кто... что вам!.. Уйдите, я закричу!..—проговорила Ниночка жалким, дрожащим голосом.

Тень вдруг качнулась, шагнула, и большой красный, тяжелый человек не то упал, не то вошел в комнату. И сейчас же за ним выдвинулась другая тень и третья.

— А... мы пришли... поблагодарить вас за свечку... и... вообще... может быть, вам скучно... такая прекрасная девица и вдруг...—нелепо и страшно заговорил человек, и по его круглым и жирным, лишенным человеческого выражения глазам Ниночка увидела и поняла, что он пьян и еще что-то, последнее и неизбежное уже. И, метнувшись, как ущемленная, она дико и остро закричала:

— Помогите!!

— Тсс... ты!—испуганно свистнул кто-то.

Потом огромный, тяжелый и горячий навалился на нее и всем телом придавил поперек кровати.

II

Они сразу отрезвели, когда все было кончено, и они пресытились, и тогда весь ужас содеянного предстал перед ними, холодный и растерянный.

На дворе уже серело, лампа тухла, в комнате было душно и гадко. Подушки валялись на полу, одеяло было сбито в ногах. Вместо рубашки на Ниночке были одни лохмотья, и она лежала голая, вся в ссадинах и синяках, извивалась, билась, плакала и кричала, и была уже не красива, а жалка и страшна, может быть, даже омерзительна.

Бледный, длинный становой, в одной рубашке и рейтузах, держал ее на кровати, навалившись поперек всем телом, и зажимал ей рот. Доктор и следователь стояли возле, нелепо толклись на месте. Руки у них вздрагивали, глаза мутно ширились, лица странно серели в сумраке утра.

— Послушайте, голубушка... ведь теперь уже все равно... не воротишь... Послушайте... Ведь уже все равно теперь, поймите...—твердили все трое, перебивая друг друга разом, трусливо и растерянно замолкая.

Но Ниночка, в которой уже не было ничего прежнего, мягкого, нежного, милого, а только жалкое, изуродованное, грязное, извивалась в руках станового, рвалась и, безумно закатив глаза, кричала.

— Что с ней теперь делать?!—с отчаянием и трусливой злобой сквозь зубы проговорил следователь.

На деревне уже слышался неопределенный отдаленный шум. Под самым окном три раза громко и бодро прокричал петух.

— А!..—пронзительно крикнула Ниночка, вырвав рот из-под руки станового, и вдруг его лицо исказилось страшной животной злобой. С беспощадной уверенной силой он схватил ее за лицо и страшно сжал, скомкал, так, что слюна и кровь облепили его пальцы. С секунду они смотрели друг другу в глаза, в упор,

как бы сливаясь в один острый взгляд, и страшен был этот взгляд и нечеловечен.

— А ну, ну... зак-крич-чи!—с бессмысленным торжеством прошипел он.

III

Было ясное, солнечное утро. От домов и заборов еще лежали длинные мокрые тени, а там, где светило солнце, ослепительно сверкали лужицы и затоптанные в мерзлую грязь соломинки блестели, как золотые. На школьном дворе было уже пусто, и виднелись только ровные следы колес, оставшиеся на мокрой земле. В комнате для приезжающих была сдвинута вся мебель, кроме дивана, аккуратно и твердо стоявшего поперек двери, валялись бутылки, мутные стаканы, куски размокшего отвратительного пепла, растоптанные окурки. Было странно думать, что здесь были люди. За дверью, в комнате Ниночки, было тихо и неподвижно, и, казалось, ее плотно запертые половинки, как крепко стиснутые зубы, молчаливо хранят тайну.

Часов до одиннадцати возле крыльца школы толпились мальчишки и девчонки, гонялись друг за другом, толкались, дрались и звонко кричали, будто стая воробьев. А в одиннадцать часов наступила внезапная, тревожная и зловещая тишина. Кто-то, тяжело и отчетливо ступая ногами, с страшной вестью пробежал по улице, и улица ожила. Все зашевелилось, со всех сторон, точно из пустоты, появлялись и бежали к школе люди, черные, испуганные и кричащие. Прибежал старый Иволгин, толстый старшина и урядник. Дверь отворили, и в тихую, навсегда, казалось, замолкшую, печальную комнату Ниночки шумно ворвались люди с чужими, испуганно-любопытными глазами.

Было тут тихо и печально и говорило молчаливым скорбным языком о неведомом, страшном конце жизни. Все было прибрано, видимо, наскоро и неумело, чужими руками; мебель была расставлена в слишком резком порядке, кровать убрана, как давно брошенная и забытая, платье Ниночки сложено на стуле чересчур аккуратно, лживо. И пахло в комнате чуть заметным, почти неуловимым, но страшно неподвижным запахом.

Ниночка в чистой белой рубашке, с еще не разгладившимися складочками и еще пахнущей мылом, висела в углу комнаты на вешалке, с которой было снято все платье. Тоненькие руки, уже зеленоватые и беспомощные, висели вдоль тела, ноги в черных чулках с голубыми подвязками неестественно выгнулись, точно мучительно стремясь к земле, а голова была закинута назад, огромная, раздутая, синяя, с нечеловеческими стеклянными глазами, с шершавым синим языком, горбом вставшим в мертвом, холодном рту, с застывшей грязно кровавой пеной на синих губах и с выражением ужаса и боли, уже непонятных, невообразимых живому человеку.

Дико кричал старик Иволгин, безумно кричали, бестолково говорили, точно внезапно сошедшие с ума, люди, ходил по улице тяжелый слышимый вздох и расплывался в сплошной черной массе народа, навалившегося на крыльцо. Не было конца и меры ужасу и омерзению и росла ищущая месть.

IV

Становой, следователь и доктор приехали на другой день к вечеру не вместе, а порознь. Было еще светло, но тени уже стали вытягиваться, и в них забелел

тоненький хрустящий ледок. Из волости пошли в школу, вокруг которой было уже пусто и стояли только двое безличных десятских с яркими бляхами. Чиновники молча поднялись на крыльцо и вошли в школу. Толстый, пухлый доктор тяжело дышал и бестолково шевелил пальцами, как придавленное животное царапает землю; худой, высокий становой шел впереди, и лицо у него было твердое, как камень, решительное и уверенное; а следователь держался в стороне, и тоненькая белая шея под его маленьким нахальным лицом с закрученными светлыми усиками ежилась и втягивалась в плечи.

Становой первый вошел в комнату и прямо подошел к трупу Ниночки, неподвижно и холодно сквозившему сквозь простыню. Одну секунду он смотрел ей прямо в страшное мертвое лицо, потом отвернулся и глухо, железным голосом сказал:

— Тащи...

Оба десятские проворно бросили шапки за дверь и, осторожно топоча лаптями, подошли к кровати. Руки у них дрожали, и ужас, и жалость видны были даже на согнутых, напряженных спинах, но дыхание их было тупо и покорно.

— Живее,—с тем же глухим и привычно твердым голосом сказал становой.

Мужики засуетились. Черные ножки дрогнули, поднялись и беспомощно опустились вниз. Из-под локтя, покрытого грубой, рыжей, как земля, дерюгой, выпала бледная зеленоватая ручка и свесилась к полу.

— Выноси на двор, в сарай...

Мужики двинулись, стали, опять двинулись и, перехватывая руками, понесли вон что-то, казалось, страшно тяжелое и хрупкое.

И когда черные ножки, странно вытягиваясь вперед, выдвинулись из дверей школы на крыльцо, тот же тяжелый подавленный вздох ужаса и недоумения пошел по улице, вдруг осветившейся сотнями широко открытых глаз.

— Разгоните народ,—быстро и с ужасом, задыхаясь, проговорил доктор над ухом станового.

Становой выпрямился. Лицо у него стало властное и холодное, и громким голосом он крикнул:

— Вы еще чего тут?.. Расходись, марш!..

Толпа молча зашевелилась, поежилась, колыхнулась и стала.

— Расходись, расходись!—вдруг нестройно и пугливо закричали урядник и десятские, махая на толпу руками.

Ниночку уже донесли до сарая, и там опустили на подмерзлый твердый помост. Маленькая мертвая головка тихо качнулась и замерла.

Один из десятских, русый и бледный, пугливо перекрестился.

Становой мельком взглянул на него и машинально сказал:

— Ступай вон... Зови понятых.

Лицо мужика съежилось, как будто ушло куда-то внутрь, и тупой страх микроцефала выступил на его лице из-за светлой и прозрачной жалости.

V.

После вскрытия доктор и следователь молча сидели в волостном правлении. На дворе уже стояла беззвездная ночь и черно смотрела в окно. В темной прихожей, казалось, кто-то стоял и слушал.

— Ах, боже мой, боже мой!—тихо вздрогнул доктор, скручивая папироску толстыми, как-будто позабывшими, как это делается, пальцами.

Следователь быстро взглянул на него и заходил по комнате.

Обоим было невыносимо страшно и казалось невозможно смотреть друг другу в глаза. В отяжелевших головах, ставших вдруг огромными и болезненно-пустыми, как у сумасшедших, воспоминания проносились скачками и зигзагами. Они были бесформенные, но острые, как ножи.

— Ах, боже мой, боже мой!—тоскливо вздыхал доктор, умоляя о жалости, и ему хотелось развести руками, скорбно ударить себя в голову и плакать.

А следователь быстро ходил из угла в угол, все скорее и скорее, и похоже было на то, будто он старается от кого-то убежать. За ним неотступно скрипел пол,—кто-то невидимый, казалось, гонялся за ним. В круглой и гладко остриженной белой голове его, как мыши, стремительно бегали черненькие мысли и торопливо искали выхода. Вздохи доктора раздражали его. Ему казалось, что вздыхать нечего и некогда, а надо теперь одно: выкручиваться. Холодная мысль о маленькой погибшей женщине стояла в темном углу его мозга, неподвижная и ненужная.

— Ах, боже мой!—вздыхал доктор.

Бешенство овладело следователем. Ему казалось, что эти тяжелые вздохи виснут на его мысли, и, юркие, изворотливые, они бессильно ползают и кружатся на одном месте. Он быстро повернулся и, выкатив маленькие прозрачные, как студень, глаза, бешено крикнул:

— Что вы ноете? Какого чорта, в самом деле!..

Вдруг одна черненькая и юркая мысль выскочила и засверкала в его глазах обманчивым, неверным светом.

— Сам заварил кашу, а теперь и хнычет, как старая баба...—с страшным и зловещим выражением проговорил он, не глядя в глаза доктору.

Доктор понял и побагровел. Огромное круглое лицо его стало красно и блестяще, как раздутый шар. На всю комнату было слышно, как коротко и трудно задышал он.

— Что?.. Я?.. Все я?—отрывистыми толчками, медленно поднимаясь на коротких ногах, заговорил он.

— Конечно, вы!—бешено встряхнув головой и лязкнув зубами, рванулся ему навстречу следователь.

Лампочка пугливо зашаталась на столе, и зеленый колпак, предостерегая, жалобно задребезжал. Свет падал вниз, на расставленные ноги и судорожно сжатые кулаки, а лица были в тени, и только глаза тускло и страшно блестели.

— Я?—переспросил доктор и подавился с хрипом и визгом.

— Вы, вы, вы!—пронзительно и дико закричал следователь.

— А кто первый сказал?—прохрипел доктор.

— Я в шутку сказал, а вы первый вошли!

— А кто бил по голове, по голове?.. Я?..

— А кто сказал, что нам бояться нечего?

Они стояли друг против друга, с искаженными в страшные гримасы лицами и потерявшими иное, кроме страха и ненависти, выражение круглыми глазами, и выкрикивали нагие и уродливые, как фантомы, обвинения. В их потерявшихся душах и помутившихся

разумах как-будто один невыносимо пронзительный голос, взывающий ради спасения:

— Не я, не я... он, он, он!..

Было похоже на то, как лезут друг другу на плечи, душат и колотят по головам попавшие внезапно в душный и узкий колодезь, полный страдания и страха.

Дверь стукнула, и, пугаясь звука, они сжались, побледнели и замолчали.

Вошел становой. На нем была холодно-серая шинель с блестящими пуговицами, твердая шашка. Лицо казалось каменным и глаза—металлическими. И весь он—серый и твердый.

Он подошел к столу, оперся на него руками и сказал, глядя в стену между ними:

— Сейчас начнем дознание...

И, не видя, но чувствуя, как они побледнели, он скривил на сторону губы и проговорил:

— А славно провели ночку... Жаль, дура попалась. Ну, ничего.

Он насмешливо посмотрел по очереди на того и другого и сурово, меняя голос, прибавил:

— Как бы там ни было, а нам не пропадать же из-за бабы... Надо выкручиваться. Что ж?.. Вот я сейчас узнал, что двое мужиков видели, как сторож Матвей Повальный выходил ночью из школы... А?..

— Ну, что ж?..—беззвучно спросил доктор.

И опять черная юркая мысль выскочила в мозгу следователя. В горле у него вххлипнуло что-то радостное.

— Вот и спасение!.. Изнасилования не будет, будет грабеж... Грабеж понятнее и не так громок!.. Понимаете?.. Сторожа сбить с толку не трудно, я берусь... А изнасилования не надо...

— Ага...—как-будто прислушиваясь к чему-то отдаленному и вытянув длинную жилистую шею, протянул становой.

А следователь торопливо, брызгая слюной и с безумной быстротой бегая глазами, шептал и хватался за рукав серой шинели.

По мере того, как он говорил, чтобы свалить все на сторожа, толстый, вздутый доктор как-будто слабел и раскисал. Новый ужас,—еще ужас!—вставал перед ним, облеченный в трусливую, рвущуюся речь, и доктору казалось, что он не вынесет. И когда следователь замолчал, доктор грузно и бессильно опустился на стул, ударив локтями о стол, и, закрыв лицо толстыми пухлыми пальцами, глухо проговорил:

— Да ведь это... Господи, что же это такое?

Становой медленно повернул к нему неподвижное железное лицо.

— А что ж делать?—холодно спросил он.

— Да ведь за это каторга... За нас невинный человек пойдет!

На личике следователя все сильнее и сильнее разыгрывалось что-то безудержно дикое, какой-то исступленный восторг спасшегося зверя.

— Ну, так что же?—твердо и жестоко, так спокойно, как самое обычное, сказал становой.

— Это невозможно... я не могу!—простонал доктор, еще крепче прижимая пальцы к лицу.

— Как это—не могу!—взвизгнул следователь.

— Нет, не могу...—не открывая лица, покачал головою доктор. И голос у него был скорбный, подавленный и глухой:—Не могу...

— А мог?!—крикнул следователь.

— То... не знаю как... случилось... Ну, что ж... А этого не могу!..—так же глухо возразил доктор.

— А, не можете? А в каторгу на двенадцать лет... а?—с бесконечной ненавистью и кошачьим торжеством, нагибаясь к самому его уху, спросил следователь.— А жена, а семья... а?

Доктор быстро оторвал руку от красного, мокрого, вспухшего лица, неподвижно посмотрел на него мутными, безумными глазами и, вдруг упав головой на стол, визгливо заплакал и застонал.

— Боже мой, боже мой... что же это такое? Что же это такое?..

Голова его прыгала и ездила на краю стола, как большой мягкий пузырь.

— Да уймите его...—с холодным презрением сказал становой, отходя от стола.—Что тут дурака ломать... Не понимаю...

Доктор начал захлебываться, а потом стало казаться, будто он начинает громко и страшно хохотать.

Следователь пугливо бросился за водой, тыкал стучащий стакан в мокрые зубы доктора и трусливо твердил:

— Перестаньте... Ну, что это вы?.. Ну, поиграли с девочкой... пьяны были... На нашем месте и всякий то же самое сделал бы... Что, мы ей смерти хотели, что ли? Выпейте воды... Перестаньте... Не кричите... Ну, вышло так, что же делать...

Становой вдруг не то застонал, не то засмеялся. Следователь испуганно повернулся к нему, и одно мгновение что-то странное показалось ему: точно все сошли с ума и он сам, и по черепу у него прошла судорожная дрожь. Становой рванулся с места, вышиб у него из рук стакан, со звоном ударившийся об пол,

и, с бешеной силой схватив доктора за плечи, прокричал:

— Замолчи... тебе говорят, сволочь паршивая!.. Убью!!

Доктор трясся в его руках, как-будто голова его отрывалась от тела, и беспомощно лепетал:

— Я п... поним... маю... п... пустите... я ни-ч-че-го...

VI

Еще с вечера невидимая и неслышимая, ползущая тайно, из уст в уста, пошла во все стороны тяжелая молва о злодеянии. Было совсем глухо и тихо, но в этой мертвой тишине отчаянный крик, казалось, летел от человека к человеку, и в душах становилось больно, страшно, и тяжелое, кошмарное рождалось возмущение. Оно таилось в глубине и как-будто уходило все глубже и глубже, но вдруг, неизвестно никому, как и где, точно крикнул в толпе какой-то панический голос, оно вырвалось наружу, вспыхнуло и покатилось из края в край. На рассвете рабочие на бумагопрядильной фабрике и на ближайшей железной дороге побросали работы и черными кучками поползли через поля в деревню.

— Сами убили да сами и суд вели,—заговорил тяжелый, глухой голос, и в его шопоте стало нарастать что-то огромное, общее, грозное, как надвигающаяся туча.

Оно росло с сокрушающей силой и стремительной быстротой. И в своем стихийном движении увлекало за собой все потаенное, задавленное, вековую обиду. Казалось, тень маленькой замученной женщины, в детских черных чулках с наивными голубыми подвязками,

воплотила вдруг в себе что-то общее, светлое, молодое, милое, бесконечно и безнадежно задавленное и убитое. Не хотелось верить, не хотелось жить, и ноги сами собой шли в ту сторону, как на зов погибающего голоса, сами собой принимали грозное и отчаянное выражение.

Когда рано утром десятские вынесли некрашеный гроб на улицу, огромная, точно в черном омуте крутящаяся толпа уже запрудила всю улицу. Она молча расступалась перед медленно плывущим по воздуху желтым ящиком. Никто не знал, что надо делать, и мучительно всматривался в желтую крышку, под которой, казалось, затаилось напряженное, молчаливое отчаяние. Было тихо, но где-то сзади, вдали, уже глухо и тяжело ворочался какой-то мерный, нарастающий подземный гул.

Белое небо уже стало прозрачным, и иней призрачно белел на крышах, на земле, на заборах. Одинокая звезда на востоке бледнела тонко и печально. Черная толпа, медленно свивая черные кольца, тронулась и поползла за гробом по тихой длинной улице. Было так чисто, прозрачно и изящно вверху, в небе, и так беспокойно-грубо внизу, на черной земле! Гроб быстро донесли до церкви и медленно стали заворачивать к погосту.

Кто-то пронзительно и настойчиво закричал. Иволгин, без шапки, седой и дикий, бежал за гробом и, махая костлявыми руками, кричал:

— Стой, стой!..

Гроб как-будто сам собою остановился и нерешительно закачался на месте. Иволгин добежал. Седые пучки его волос торчали во все стороны, и старые глаза его пучились над искривленным ртом.

— Куда?!—закричал он, задыхаясь и хватаясь за гроб.—Назад!.. Убили и концы в воду?!.. Врете, мерзавцы!.. Назад!.. Это мы еще посмотрим, как...

Толпа глухо загудела, и похоже было гудение на растущий прибой.

— Господин Иволгин, за эти слова вы и ответить можете... очень просто!—угрожающе закричал урядник и протиснулся между ним и гробом.—Неси, ребята, неси!..

Иволгин машинально ухватился за его руку и судорожно шевелил трясущимися губами, дико пуча обезумевшие глаза.

— Да вы меня не хватайте!—с силой выдернул у него руку урядник, и голос его прозвучал оскорбленно и уверенно.

Но Иволгин так же молча и машинально ловил его за локоть и, как-будто молча, бормотал что-то судорожно, по-рыбьи открывая и закрывая рот.

— Пустите!—с бешенством крикнул урядник.

— Они убили... сами убили...—наконец пробормотал Иволгин,—а вам... грех... ведь вы знаете...

— Что я знаю?—странно, как-будто озлобясь на что-то, преувеличенно дерзко закричал урядник.—Чего там... Ваше дело?.. Десятский, бери его!..

Русый и бледный мужик робко взял Иволгина за руку.

— Братцы, что ж это такое?—прокричал кто-то в толпе с скорбным недоумением.

— Пусти, чего хватаешься!.. Убивцы!.. Робята, не давай хоронить... Прокурора... А-а... Не давай!—нестройно и негромко закричали голоса, и вдруг двинулось, отлило и опять подалось вперед.

Урядник закричал что-то изо всех сил, но только дикой нотой вошел в хаос ревущих голосов. Гроб порывисто закачался и быстро опустился вниз, на дно толпы.

VII

На другой день, к полудню, вызванные по телеграмме, данной со станции железной дороги, приехали исправник и становой.

Вся деревня с утра гудела и дрожала. Гроб одиноко стоял в церкви, и на его желтой крышке мутно отсвечивало солнце.

Толстый исправник грузно и властно слез с брички и негромко, но твердо и коротко буркнул становому:

— Ипполит Ипполитович, распорядитесь, чтобы понятых и чтоб сейчас же закопать.

А сам короткими и твердыми шагами пошел к церкви. Вся паперть и весь церковный двор был покрыт черной молчаливой толпой. Прошли десятские, прошел становой и урядник. Слышно было, как гулко и нестройно топотали их ноги по каменному полу церкви. Потом они опять вышли, и желтая крышка гроба показалась в черной дыре дверей и закачалась в воздухе, высоко над толпой.

— Живо поворачивайся!—торопливо и властно говорил исправник, угрюмо и зорко кося глазами по сторонам.

Молча, как автомат, толпа сдвинулась и насела на паперть. Гроб стал.

— Расходись!—выступая вперед, крикнул исправник.

— Как это—расходись?! Убили, да и расходись... ловко!—ответил кто-то из толпы.

Иволгин, седой и аккуратный, с беленьким крестиком на серой шинели, вежливо и решительно выступил навстречу исправнику.

— Позвольте,—сдержанно и тихо начал он, близко нагибаясь к исправнику,—раз голос народа указывает на...

— Что-с?—быстро поворачивая голову к нему, спросил исправник и гневно нахмурился.

— Я говорю, что убийцы нам всем известны... нельзя допустить, чтобы это ужасное дело...

Исправник коротко и неверно взглянул ему в глаза и сейчас же отворотился.

— Позвольте... Это не ваше дело!.. Кто вы такой?.. Потрудитесь удалиться.

Он мягко, но решительно отстранил стоявшего на дороге Иволгина.

— Осторожней!—вдруг бешено и страшно крикнул Иволгин, с силой отшвыривая его руку прочь.

Исправник съежился и внезапно побледнел.

— Потише, потише, вы...—чуть слышно и не глядя на Иволгина, пробормотал он.—Неси, ребята...

Было долгое, томительное молчание и неподвижность. Гроб тихо качался на паперти.

— Ребята,—бледнея все больше и больше, закричал исправник тонким, напряженным голосом,—знаете вы, что делаете?.. За это отвечать надо! Пропусти... Следствие выяснило виновника... суд рассудит, а вы отвечать будете...

— Судить... рассудит... Следствие! Го-го-го!—как-будто весело и голосисто закричали в толпе.—Ловкачи!.. Нет, брат, ходи мимо!.. Го!..

— Пропустить!—вдруг теряясь, чересчур громко и неровно крикнул исправник.—Это еще что тут?..

— А то!—крикнул Иволгин, опять прорываясь к нему.—Вы думаете, на вас суда нет?.. Так врешь, подлец!.. Вот тебе суд!

Исправник молча исподлобья оглянулся кругом и ступил ногой назад. И вся толпа, как завороженная, двинулась за ним.

— Ипполит Ипполитович,—растерянно проговорил исправник.

Высокий, серый становой уверенно шагнул мимо него к Иволгину, и на его стальном лице было твердое, холодное, как-будто чего-то еще не понимающее выражение.

Как раз в ту минуту, когда становой и урядник схватили Иволгина, высокий и худой мастеровой с длинным и бесцветным лицом вдруг изменился в лице и, бешено опустив зрачки, ударил корявым и грузным кулаком прямо в лицо становому.

— Убивец!!.—простонал он.

Брызнула кровь, и что-то болезненно и противно хряснуло. Становой качнулся, но на ногах устоял. Его твердое лицо стало безобразным, но не выразило ни ужаса, ни боли, а одно безумное, удивленное, какое-то звериное бешенство. Он коротко и хрипло заревел и, изогнувшись, как кошка, бросился на мастерового. С минуту они простояли обнявшись, потом закачались и разом рухнули вниз, гремя и звеня по ступенькам паперти.

И тут все мучительно охнуло и завертелось. Страшный, бледный призрак разгрома встал над толпой, и его бледный ужас отразился на замелькавших в дикой свалке лицах.

— А ну... Бей, ребята!—прокричал кто-то тонким, веселым и страшным голосом.

Исправник и старшина бежали рядом по грязной земле, по талому снегу, по холодной брызгающей в лица воде. Бежали, хрипя и задыхаясь, грязные, оборванные, с разбитыми страшными лицами, и были похожи на каких-то огромных, безобразных зайцев, режущих поле напрямик, не разбирая дороги. Далеко сзади, с уханьем и свистом, врассыпную бежала толпа.

VIII

Ночью по темной и грязной дороге, выходящей из мрака и уходящей во мрак, вползала в деревню огромная, тяжелая масса. Ничего нельзя было разобрать в ней, но слышно было, как предостерегающе фыркали лошади, дробно и многозвучно шлепали по земле подковы и, со скрежетом, чуть слышно позванивало оружие. Не было видно ни лиц, ни движений, и казалось, что идет одна сплошная грозная сила.

Войска стали на площади. На улице было тихо и пусто, только взбудораженные собаки выли и лаяли по дворам. Кой-где в темных, таинственных окнах мрачно засвечивались огоньки и сейчас же гасли.

Часть солдат неуклюжими однообразными силуэтами спешилась и вошла в ограду церкви. Потом вынесли из мрака темный ящик и быстро понесли его кругом смутно белевшей ограды на погост. Было тихо.

И долго было тихо, пока не настал серый и тревожный день.

Днем по главному шоссе от фабрики, на которой не курились и стояли, как огромные потухшие свечи, мертвые трубы, опять потянулись черные кучки мрачных и зловещих людей. Прилегающие к площади улицы,

казалось, рождали их черные силуэты. Они липли друг к другу, росли и расплывались по площади, как густые пятна пролитого на снег черного масла. Бледные, напряженные лица сходились и расходились, поворачивались друг к другу и смотрели на солдат с странным, углубленным выражением.

Половина площади у церкви была запружена сплошной черной толпой. На ограде церкви торчали люди. На сваленных возле ограды бревнах и досках кишела пестрая и в то же время однообразная масса голов.

По другую сторону площади было попрежнему пусто и тихо. Там неподвижно длинной полосой стояли конные солдаты, и ряд их каменных, непроницаемых лиц был обращен к толпе. Они сидели однообразно и неподвижно, и только лошади махали головами да расхаживали впереди какие-то серые люди, никому не известные, странно блестящие на серой земле и серых заборах.

Потом эти люди прошли к лошадям и быстро, уверенно поднялись на седла. Раздался одинокий возглас, и длинная полоса солдат разом заколебалась, тронулась и с громом и звоном рысью двинулась через площадь на толпу.

Толпа зашевелилась. Одинокие крики изумления и ужаса порвали тишину, и вся черная масса с диким криком и визгом полезла назад на бревна, на ограду церкви. Огромные лошади круто взмахивали головами и, упираясь, надвигались на людей. Сзади толпы, с ограды, засвистали и закричали. Высокий, худой мастеровой вприпрыжку побежал от церкви навстречу лошадям и высоким голосом закричал:

— Наши, сюда! Наши, сюда!..

И один по одному побежали назад огромные черные люди.

— Бей, бей!—закричали они нестройно и страшно.

Все смешалось, как в кошмаре. В воздухе засвистали палки, камни, замелькали руки и закрутились ополоумевшие багровые лица с дикими глазами. Слышался уже не крик, а какая-то каша из хрипения, визга, жестких ударов по чему-то живому и глухих, тяжелых падений. И вдруг раздался стихийный, торжествующий рев. Вдали, на конце площади, виднелись казаки, но уже не правильной серой полосой, а разрозненными жалкими кучками. А в них неуклонно и страшно все летели и летели тяжелые и круглые камни.

— Наша взяла!—прокричал высокий человек и улыбнулся детской радостью и торжеством.

— Гляди!..—тихо и внятно сказал кто-то в толпе.

На той стороне площади медленно и мерно развертывалась длинная серая полоса, и отчетливо было видно, как отбивали торопливый и мерный такт сотни ног. Сразу все стихло, и на площади опять встал какой-то молчаливый и бледный призрак.

— Не смеют, пугают!—робко и недоумело заговорили в толпе.

Что-то светлое, правдивое и казавшееся таким простым и естественным, бессильно заметалось, стараясь уверить сжавшиеся сердца.

— Братцы... как же так?.. Что же теперь?..—спросил высокий мастеровой упавшим жалким голосом.

И вслед за тем что-то ударило в землю и небо. Серые люди куда-то исчезли и затянулись полосой легкого и сизого дыма...

IX

К вечеру разошлись тучи и выглянуло солнце. На улицах было пусто, и только куры тихо бродили по дороге да возле церкви, трусливо поджимая хвосты, бегали и нюхали землю собаки. Было тихо и страшно, и, казалось, над землей, между замершей и затаившейся жизнью и глубоким, свободным голубым небом стояла какая-то невидимая мертвая, давящая сила.

В сарае, при волости, на помосте лежали рядами неподвижно мертвые люди и смотрели вверх остановившимися навсегда белыми глазами, в которых тускло блестел вопрошающий и безысходный ужас...

1905

ЧИТАТЕЛЬ! Сообщите Ваш отзыв об этой книге по адресу:
Москва, центр, Ильинка, 15, Изд-во „Земля и Фабрика“, БПК.
Ваш отзыв будет использован Издательством.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

От Издательства 5

Смерть Ланде 9

Кровавое пятно 156

Куприян 197

Ужас 292

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL
10000386333